



ДЖОЗЕФ
КОНРАД

Сердце тьмы
и другие повести

АЗБУКА-КУЛАСЬКА

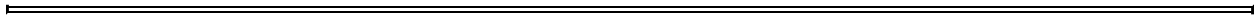
LITRU.RU

Annotation

Джозеф Конрад принадлежит к числу писателей, чьими произведениями зачитывались не только простые смертные, но и будущие собратья по перу - несколько поколений литераторов от Джека Лондона и Эрнеста Хемингуэя до Уильяма Фолкнера и Грэма Грина учились у него искусству композиции, лапидарной емкости описаний, выразительной музыке фраз. Действие многих произведений Конрада происходит на суше, однако в полной мере талант писателя раскрылся в книгах, которые посвящены морю. "Сердце тьмы", "Тайфун" и "Фрейя Семи Островов", вошедшие в этот сборник, - классика жанра, который можно назвать "метафизической морской повестью".

- [Джозеф Конрад](#)
 - [Сердце тьмы](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [Тайфун](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [Фрейя Семи Островов](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)

- [5](#)
- [6](#)



Джозеф Конрад

Сердце тьмы

Яхта «Нелли» покачнулась на якоре — паруса ее были неподвижны — и застыла. Был прилив, ветер почти стих, а так как ей предстояло спуститься по реке, то ничего другого не оставалось, как бросить якорь и ждать отлива.

Перед нами раскрывалось устье Темзы, словно вход в бесконечный пролив. В этом месте море и небо сливались, и на ослепительной глади поднимающиеся с приливом вверх по реке баржи казались неподвижными; гроздя обожженных солнцем красноватых парусов, заостренных вверху, блестели своими полированными шпринтовками. Туман навис над низкими берегами, которые словно истаявали, сбегая к морю. Над Грейвсэндом легла тень, а дальше, вглубь, тени сгущались в унылый сумрак, застывший над самым большим и великим городом на земле.

Капитаном и владельцем яхты был директор акционерной компании. Мы четверо дружелюбно на него поглядывали, когда он, повернувшись к нам спиной, стоял на носу и смотрел в сторону моря. На всей реке никто так не походил на типичного моряка, как он. Он был похож на лоцмана, который для моряков олицетворяет собою все, что достойно доверия. Трудно было поверить, что его профессия влекла его не вперед, к этому ослепительному устью, но назад — туда, где сгустился мрак.

Как я уже когда-то говорил, все мы были связаны узами, какие налагает море. Поддерживая нашу дружбу в течение долгих периодов разлуки, эти узы помогали нам относиться терпимо к рассказам и даже убеждениям каждого из нас. Адвокат — превосходный старик — пользовался, вследствие преклонного своего возраста и многочисленных добродетелей, единственной подушкой, имевшейся на палубе, и лежал на единственном нашем пледе. Бухгалтер уже извлек коробку с домино и забавлялся, возводя строения из костяных плиток. Марлоу сидел скрестив ноги и прислонившись спиной к бизань-мачте. У него были впалые щеки, желтый цвет лица, прямой торс и аскетический вид; сидя с опущенными руками и вывернутыми наружу ладонями, он походил на идола. Директор, убедившись, что якорь хорошо держит, вернулся на корму и присоединился к нам. Лениво обменялись мы несколькими словами. Затем молчание спустилось на борт яхты. Почему-то мы не стали играть в домино. Мы были задумчивы и пребывали в благодушно-созерцательном настроении. День безмятежно догорал в ослепительном блеске. Мирно сверкала вода;

небо, не запятнанное ни одним облачком, было залито благостным и чистым светом; даже туман над болотами Эссекса был похож на сияющую и тонкую ткань, которая, спускаясь с лесистых холмов, прозрачными складками драпировала низменные берега. Но на западе, вверх по течению реки, мрак сгущался с каждой минутой, как бы раздраженный приближением солнца.

И наконец, незаметно свершая свой путь, солнце коснулось горизонта и из пылающего, белого превратилось в тусклый красный шар, лишенный лучей и тепла, как будто этот шар должен был вот-вот угаснуть, пораженный насмерть прикосновением мрака, нависшего над толпами людей.

Сразу изменился вид реки, блеск начал угасать, а тишина стала еще глубже. Старая широкая река, не тронутая рябью, покоилась на склоне дня после многих веков верной службы людям, населявшим ее берега; она раскинулась невозмутимая и величественная, словно водный путь, ведущий к самым отдаленным уголкам земли. Мы смотрели на могучий поток и видели его не в ярком сиянии короткого дня, который загорается и угасает навеки, но в торжественном свете немеркнущих воспоминаний. И действительно, человеку, который с благоговением и любовью, как принято говорить, «отдал себя морю», нетрудно воскресить в низовьях Темзы великий дух прошлого. Поток, вечно несущий свою службу, хранит воспоминания о людях и судах, которые поднимались вверх по течению, возвращаясь домой на отдых, или спускались к морю, навстречу битвам. Река служила всем людям, которыми гордится нация, — знала всех, начиная от сэра Фрэнсиса Дрейка и кончая сэром Джоном Франклином; то были рыцари, титулованные и нетитулованные, — великие рыцари — бродяги морей. По ней ходили все суда, чьи имена, словно драгоценные камни, сверкают в ночи веков, — все суда, начиная с «Золотой лани» с круглыми боками, которая набита была сокровищами и после визита королевы выпала из славной легенды, и кончая «Эребом» и «Ужасом», стремившимися к иным завоеваниям и так и не пришедшими назад. Река знала суда и людей; они выходили из Дэтфорда, из Гринвича, из Эрита — искатели приключений и колонисты, военные корабли и торговые капитаны, адмиралы, неведомые контрабандисты восточных морей и эмиссары, «генералы» Восточного индийского флота. Те, что искали золота, и те, что стремились к славе, — все они спускались по этой реке, держа меч и часто — факел, посланцы власти внутри страны, носители искры священного огня.

Солнце зашло, сумерки спустились на реку, и вдоль берега начали

загораться огни. На тинистой отмели ярко светил маяк Чепмен, поднимающийся словно на трех лапах. Огни судов скользили по реке — великое перемещение огней, которые приближались и удалялись. А дальше, на западе, чудовищный город все еще был отмечен зловещей тенью на небе — днем отмечало его сумрачное облако, а ночью — багровый отблеск под сверкающими звездами.

— И здесь тоже был один из мрачных уголков земли, — сказал вдруг Марлоу.

Из нас он был единственным, кто все еще плавал по морям. Худшее, что можно было о нем сказать, это то, что он не являлся типичным представителем своей профессии. Он был моряком, но вместе с тем и бродягой, тогда как большинство моряков ведет, если можно так выразиться, оседлый образ жизни. По натуре своей они — домоседы, и их дом — судно — всегда с ними, а также и родина их — море. Все суда похожи одно на другое, а море всегда одно и то же. На фоне окружающей обстановки, которая никогда не меняется, чужие берега, чужие лица, изменчивый лик жизни скользят мимо, завуалированные не ощущением тайны, но слегка презрительным неведением, ибо таинственным для моряка является только море — его владыка, — море, неисповедимое, как сама судьба. После рабочего дня случайная прогулка или пирушка на берегу открывает моряку тайну целого континента, и обычно моряк приходит к тому заключению, что эту тайну не стоило открывать. Рассказы моряков отличаются простотой, и смысл их как бы заключен в скорлупу ореха. Но Марлоу не был типичным представителем моряков (если исключить его любовь сочинять истории), и для него смысл эпизода заключался не внутри, как ядрышко ореха, но в тех условиях, какие вскрылись благодаря этому эпизоду: так благодаря призрачному лунному свету становятся иногда видимы туманные кольца.

Замечание его никому не показалось странным. Это было так похоже на Марлоу. Его выслушали в молчании. Никто не потрудился хотя бы проворчать что-нибудь в ответ. Наконец он заговорил очень медленно:

— Я думал о тех далеких временах, когда впервые появились здесь римляне, тысяча девятьсот лет назад... вчера... Свет, скажете вы, загорелся на этой реке во времена рыцарей? Да, но он был похож на пламя, разлившееся до равнины, на молнию в тучах. Мы живем при вспышке молнии — да не погаснет она, пока движется по орбите наша старая Земля! Но вчера здесь был мрак. Представьте себе настроение командира красивой... как они называются?.. ах да!.. триремы в Средиземном море, который внезапно получил приказ плыть на север. Он едет сушей, спешно

пересекает земли галлов и принимает командование одним из тех судов, которые, если верить книгам, строились сотней легионеров в течение одного-двух месяцев... Какими ловкими парнями были, должно быть, эти люди!.. Представьте себе, что этот командир явился сюда, на край света... Море свинцовое, небо цвета дыма, судно неуклюжее, как концертину, а он поднимается вверх по реке, везет приказы, или товары, или... что хотите. Песчаные отмели, болота, леса, дикари... очень мало еды, пригодной для цивилизованного человека, и нет ничего, кроме воды из Темзы, чтобы утолить жажду. Здесь, нет фалернского вина, нельзя сойти на берег. Кое-где виднеется военный лагерь, затерявшийся в глуши как иголка в стоге сена. Холод, туман, бури, болезни, изгнание и смерть — смерть, притаившаяся в воздухе, в воде, в кустах. Должно быть, здесь люди умирали как мухи. И все-таки он это вынес. Вынес молодцом, не тратя времени на размышления, и только впоследствии хвастался, быть может, вспоминая все, что пришлось ему перенести. Да, то были люди достаточно мужественные, чтобы заглянуть в лицо мраку. Пожалуй, его поддерживала надежда выдвинуться, попасть во флот в Равенне, если найдутся в Риме добрые друзья и если пощадит его ужасный климат. И представьте себе молодого римлянина из хорошей семьи, облеченного в тогу. Он, знаете ли, слишком увлекался игрой в кости и, чтобы поправить свои дела, прибыл сюда в свите префекта, сборщика податей или купца. Он высадился среди болот, шел через леса и на какой-нибудь стоянке в глубине страны почувствовал, как глушь смыкается вокруг него, ощутил биение таинственной жизни в лесу, в джунглях, в сердцах дикарей. В эти тайны не могло быть посвящения. Он обречен жить в окружении, недоступном пониманию, что само по себе отвратительно. И есть в этом какое-то очарование, которое дает о себе знать. Чарующая сила в отвратительном. Представьте себе его нарастающее сожаление, желание бежать, беспомощное омерзение, отказ от борьбы, ненависть...

Марлоу умолк.

— Заметьте... — заговорил он снова, поднимая руку, обращенную к нам ладонью, и походя в этой позе, со скрещенными ногами, на проповедующего Будду, одетого в европейский костюм и лишенного цветка лотоса. — Заметьте: никому из нас эти чувства не доступны. Нас спасает сознание целесообразности, верное служение целесообразности. Но этим парням не на что было опереться. Колонизаторами они не были. Боюсь, что административные их меры были направлены лишь на то, чтобы побольше выжать. Они были завоевателями, а для этого нужна только грубая сила, — хвастаться ею не приходится, ибо она является случайностью, возникшей

как результат слабости других людей. Они захватывали все, что могли захватить, и делали это исключительно ради наживы. То был грабеж, насилие и избиение в широком масштабе, и люди шли на это вслепую, как и подобает тем, что хотят помериться силами с мраком. Завоевание земли — большей частью оно сводится к тому, чтобы отнять землю у людей, которые имеют другой цвет кожи или носы более плоские, чем у нас, — цель не очень-то хорошая, если поближе к ней присмотреться. Искушает ее только идея, идея, на которую она опирается, — не сентиментальное притворство, но идея. И бескорыстная вера в идею — нечто такое, перед чем вы можете преклоняться и приносить жертвы.

Марлоу прервал свою речь. Огни скользили по реке — маленькие огоньки, зеленые, красные, белые; они преследовали друг друга, догоняли, сливались, потом снова разъединялись медленно или торопливо. В сгущающемся мраке движение на бессонной реке не прекращалось. Мы смотрели и терпеливо ждали — больше нечего было делать, пока не окончится прилив; но после долгого молчания, когда он нерешительно сказал: «Думаю, вы, друзья, помните, что однажды я сделался ненадолго моряком пресных вод», — мы поняли, что до начала отлива нам предстоит прослушать одну из неубедительных историй Марлоу.

— Я не хочу надоедать вам подробностями, касающимися того, что случилось со мной лично, — начал он, проявляя в этом замечании слабость многих рассказчиков, которые частенько не знают, чего хочет от них аудитория. — Но чтобы понять, какое впечатление это на меня произвело, вы должны знать, как я туда попал, что я там видел, как поднялся по реке к тому месту, где впервые встретил бедного парня. То был конечный пункт, куда можно было проехать на пароходе, и там была кульминационная точка моих испытаний; когда я ее достиг, свет озарил все вокруг меня и проник в мои мысли; происшествие было довольно мрачное... и печальное... ничем особенно не примечательное... и туманное. Но каким-то образом оно пролило луч света.

Если вы помните, я тогда только что вернулся в Лондон после долгого плавания в Индийском и Тихом океанах и в Китайском море. Восток я принял в хорошей дозе — провел там около шести лет. Вернувшись, я бродил без дела, мешая вам, друзья мои, работать и врываясь в ваши дома так, словно небо поручило мне призвать вас к цивилизации. Сначала мне это очень нравилось, но спустя некоторое время я устал отдыхать. Тогда я начал присматривать судно — труднейшая, скажу я вам, работа. Но ни одно судно даже смотреть на меня не хотело. И эта игра мне тоже надоела.

Когда я был мальчишкой, я страстно любил географические карты. Часами я мог смотреть на Южную Америку, Африку или Австралию, упиваясь славой исследователя. В то время немало было белых пятен на Земле, и, когда какой-нибудь уголок на карте казался мне особенно привлекательным (впрочем, привлекательными были все глухие уголки), я указывал на него пальцем и говорил: «Вырасту и поеду туда». Помню, одним из таких мест был Северный полюс. Впрочем, я там не бывал и теперь не собираюсь туда ехать. Очарование исчезло. Другие уголки были разбросаны у экватора и во всех широтах обоих полушарий. Кое-где я побывал и... но не будем об этом говорить. Остался еще один уголок — самое большое и самое, если можно так выразиться, белое пятно, — куда я стремился.

Правда, теперь его уже нельзя было назвать неисследованным: за время моего отрочества его испещрили названия рек и озер. Он перестал быть неведомым пространством, окутанным тайной, — белым пятном, заставлявшим мальчика мечтать о славе. Он сделался убежищем тьмы. Но была там одна река, могучая, большая река, которую вы можете найти на карте, — она похожа на огромную змею, развернувшую свои кольца; голова ее опущена в море, тело извивается по широкой стране, а хвост теряется где-то в глубине страны. Стоя перед витриной, я смотрел на карту, и река очаровывала меня, как змея зачаровывает птицу — маленькую глупенькую птичку. Потом я вспомнил о существовании крупного коммерческого предприятия — фирмы, ведущей торговлю на этой реке. «Черт возьми! — подумал я. — Они не могли бы торговать, если б не было у них каких-нибудь судов, пароходов, которые ходят по этой реке! Почему бы мне не добиться командования одним из пароходов?» Я шел по Флит-стрит и не мог отделаться от этой мысли. Змея меня загипнотизировала.

Да будет вам известно, что эта торговая фирма находилась на континенте, но у меня есть множество родственников, проживающих на континенте, ибо жизнь там, по их словам, дешева и менее отвратительна, чем принято думать.

Со стыдом признаюсь, что я начал им надоедать. Уже в этом была для меня новизна. Как вам известно, таким путем я не привык действовать. Я шел всегда своей дорогой, шел самостоятельно туда, куда хотел идти. Раньше я не подозревал, на что я способен, но, видите ли, теперь я чувствовал, что должен туда попасть во что бы то ни стало. Итак, я им надоедал. Мужчины говорили: «Дорогой мой!» — и ничего не делали. Тогда — поверите ли? — я обратился к женщинам. Я, Чарли Марлоу, заставил женщин добывать для меня место. О Господи! Но я был одержим

навязчивой идеей. У меня была тетка, славная энтузиастка. Она мне написала: «Это будет очаровательно. Я готова для тебя сделать все, что угодно. Блестящая идея. Я знакома с женой одного видного администратора, человека, пользующегося большим влиянием...» и.т.д. и.т.д. Она готова была перевернуть небо и землю, чтобы раздобыть для меня место шкипера на речном пароходе, раз таково мое желание.

Конечно, место я получил — и очень скоро. Оказывается, фирму известили о том, что один из капитанов убит в стычке с туземцами. Таким образом, мне представился удобный случай, и тем сильнее захотелось мне туда поехать. Лишь много месяцев спустя, когда я сделал попытку разыскать останки убитого, мне сообщили, что ссора возникла из-за куриц. Да, из-за двух черных куриц! Датчанин Фрэслевен — так звали капитана — вообразил, что его обсчитали, и, сойдя на берег, начал дубасить палкой старшину деревушки. О, это меня несколько не удивило, хотя, по слухам, Фрэслевен был самым кротким и смирным созданием. Несомненно, так оно и было; но он, знаете ли, уже провел два года в служении благородной идее и, должно быть, чувствовал потребность так или иначе поддержать свое достоинство. Поэтому он безжалостно колотил старого негра на глазах устрешенной толпы туземцев, пока какой-то парень — кажется, сын старшины, — доведенный до отчаяния воем старика, не попытался метнуть копье в белого человека. Конечно, оно вонзилось между лопатками. Тогда все население в ожидании всевозможных несчастий устремилось в лес, а на пароходе Фрэслевена тоже началась паника, и пароход отчалил; насколько мне известно, командование взял на себя механик. Впоследствии никто, видимо, не позаботился об останках Фрэслевена, пока я не явился и не занял его места. Я не мог предать дело забвению, но, когда мне представился наконец случай повстречаться с моим предшественником, трава, проросшая между ребрами, была достаточно высока, чтобы скрыть скелет. Все кости остались на своем месте. После его падения никто не прикасался к сверхъестественному существу. И деревня была покинута; черные подгнившие хижины покосились за упавшим частоколом. Поистине, бедствие постигло деревню. Население исчезло. Охваченные ужасом мужчины, женщины и дети скрылись в зарослях и так и не вернулись. Мне неизвестно, какая судьба постигла кур. Однако я склонен думать, что они достались служителям прогресса. Как бы то ни было, но благодаря этому славному подвигу я получил место раньше, чем начал по-настоящему надеяться на получение его.

Я метался как сумасшедший, чтобы поспеть вовремя; не прошло и сорока восьми часов, как я уже переплывал канал, чтобы явиться к моим

патронам и подписать договор. Через несколько часов я прибыл в город, который всегда напоминает мне гроб повапленный. Несомненно, это предубеждение. Я без труда разыскал контору фирмы. То было крупнейшее предприятие в городе, и все, кого бы я ни встречал, одинаково отзывались о нем. Фирма собиралась эксплуатировать страну, лежащую за морем, и извлекать из нее сумасшедшие деньги.

Узкая и безлюдная улица, густая тень, высокие дома, бесчисленные окна с жалюзи, мертвое молчание, трава, проросшая между камнями, справа и слева величественные ворота, огромные массивные двери, оставленные полуоткрытыми. Я пролез в одну из этих щелей, поднялся по лестнице, чисто выметенной, не застланной ковром и наводящей на мысль о бесплодной пустыне, и открыл первую же дверь. Две женщины — одна толстая, другая худая — сидели на стульях с соломенными сиденьями и что-то вязали из черной шерсти. Худая женщина встала и, не переставая вязать, двинулась с опущенными глазами прямо на меня; я уже хотел посторониться, уступая ей дорогу, словно она была сомнамбулой, но как раз в этот момент она остановилась и подняла глаза. Платье на ней было гладкое, как чехол зонтика; не говоря ни слова, она повернулась и повела меня в приемную. Я назвал свое имя и осмотрелся по сторонам. Посередине стоял сосновый стол, вдоль стен выстроились простые стулья, а в конце комнаты висела большая карта, расцвеченная всеми цветами радуги. Немало места было уделено красной краске — на нее во всякое время приятно смотреть, ибо знаешь, что в отведенных ей местах люди делают настоящее дело, — много было голубых пятен, кое-где виднелись зеленые и оранжевые, а пурпурная полоса на восточном берегу указывала, что здесь славные пионеры прогресса распивают славное мартовское пиво. Но не в эти края собирался я ехать — мне предназначено было желтое пространство. В самом центре. И река была здесь — чарующая, смертоносная, как змея. Брр!..

Открылась дверь, показалась седовласая голова секретаря. Он посмотрел на меня сочувственно и костлявым указательным пальцем поманил в святилище. Там было мало света; посередине расположился тяжелый письменный стол. За этим монументом сидел кто-то бледный и толстый, одетый в сюртук. Великий человек собственной своей персоной! Поскольку я мог судить, ростом он был пять футов шесть дюймов, а в кулаке своем держал несколько миллионов. Кажется, мы обменялись рукопожатием, он что-то пробормотал и остался доволен моим французским языком. *Von voyage.*^[1]

Секунд через сорок пять я снова очутился в приемной в обществе

сострадательного секретаря, который с унылым и сочувственным видом дал мне подписать какую-то бумагу. Кажется, я, помимо прочих обязательств, дал обещание не разглашать коммерческих тайн. Ну что ж, я и не собираюсь это делать...

Я начал чувствовать себя неловко. Как вы знаете, я не привык к таким церемониям, а в воздухе было что-то зловещее. Казалось, меня приобщили к какому-то тайному и не вполне честному заговору, и я был рад выбраться отсюда. В первой комнате две женщины лихорадочно что-то вязали из черной шерсти. Приходили люди, и младшая из них сновала взад и вперед, показывая им дорогу. Старуха же сидела на своем стуле. Ее ноги в матерчатых туфлях упирались в ножную грелку, а на коленях у нее лежала кошка. На голову она надела что-то накрахмаленное, белое, на щеке виднелась бородавка, а очки в серебряной оправе сползли на кончик носа. Она посмотрела на меня поверх очков. Этот беглый, равнодушный, спокойный взгляд смутил меня. Вошли двое молодых людей с глуповатыми веселыми физиономиями, и она окинула их тем же бесстрастным и мудрым взглядом. Казалось, ей все известно и о них, и обо мне. Я смутился. В ней было что-то жуткое, роковое. Впоследствии я часто вспоминал этих двух женщин, которые охраняют врата тьмы и словно вяжут теплый саван из черной шерсти; одна все время провожает людей в неведомое, другая равнодушными старческими глазами всматривается в веселые глуповатые лица. Ave, старая вязальщица черной шерсти! Morituri te salutant.^[2] Немногие из тех, на кого она смотрела, увидели ее еще раз...

Оставалось еще нанести визит доктору. «Простая формальность», — успокоил меня секретарь, казалось деливший со мною мои горести. Вскоре какой-то молодой человек, в шляпе, надвинутой на левую бровь, — клерк, решил я, ибо должны были быть здесь и клерки, хотя дом казался безмолвным, как город мертвых, — спустился с верхнего этажа и повел меня дальше. Одет он был неопрятно и небрежно, рукава куртки были запятнаны чернилами, широкий, пышный галстук красовался под подбородком, который формой своей походил на носок старого сапога. Для визита к доктору было еще слишком рано, и потому я предложил ему пойти чего-нибудь выпить. Он сразу развеселился. Когда мы уселись перед рюмками вермута, он начал восхвалять дела фирмы, а я выразил свое удивление по поводу того, что он не собирается туда проехаться. Тотчас же он стал сдержанным и холодным.

— «Я не так глуп, как это кажется», сказал Платон своим ученикам, — произнес он сентенциозно, допил с решительным видом свой вермут, и мы встали.

Старик доктор пощупал мне пульс, думая, видимо, о чем-то другом.

— Так-так... прекрасно, — пробормотал он, а затем, вдруг оживившись, попросил разрешения измерить мой череп. Несколько удивленный, я дал свое согласие; тогда он извлек какой-то инструмент, напоминавший калиберный кронциркуль, и снял мерку спереди, сзади и со всех сторон, заботливо отмечая результаты измерений. Доктор был небритым маленьким человечком в поношенном сюртуке, похожем на длиннополый кафтан; на ногах у него были туфли, и он произвел на меня впечатление безобидного идиота.

— В интересах науки я всегда прошу разрешения измерить черепа тех, кто туда отправляется, — сказал он.

— И вы делаете то же, когда они возвращаются? — спросил я.

— О, мне больше не приходится с ними встречаться, — заметил он. — А кроме того, перемены происходят внутри.

Он улыбнулся с таким видом, словно мило пошутил.

— Итак, вы туда едете. Замечательно. И очень интересно.

Он бросил на меня испытующий взгляд и сделал еще какую-то отметку.

— Бывали ли случаи помешательства в вашей семье? — осведомился он деловито. Я рассердился:

— Этот вопрос вы тоже задаете в интересах науки?

— С научной точки зрения, — сказал он, не обращая внимания на мое раздражение, — любопытно было бы наблюдать там, на месте, психическую переменную, происходящую в индивидууме, но...

— Вы психиатр? — перебил я.

— Каждый врач должен быть им — до известной степени, — невозмутимо ответил этот оригинал. — У меня есть одна теория, которую вы, господа, отправляющиеся в эти страны, должны мне помочь доказать. Моя страна пожнет плоды, владея такой прекрасной колонией, и я хочу внести свою долю. Богатство я предоставляю другим. Простите мне эти вопросы, но вы — первый англичанин, какого мне пришлось наблюдать...

Я поспешил его заверить, что отнюдь не являюсь типичным англичанином.

— А то бы я не стал с вами так разговаривать, — добавил я.

— То, что вы говорите, довольно глубокомысленно и, по всей вероятности, неверно, — сказал он со смехом. — Раздражения избегайте еще в большей степени, чем солнцепека. Прощайте. Как это вы, англичане, говорите? Goodbye. Ах да, goodbye. Прощайте. На тропиках прежде всего нужно сохранять спокойствие... — Он многозначительно поднял

указательный палец. — Du calme, du calme.^[3] Прощайте.

Теперь мне оставалось только попрощаться с моей превосходной теткой. Она торжествовала. Я выпил у нее чашку чая — то была последняя чашка приличного чая на многие-многие дни! В комнате, которая, действуя успокоительно, отвечала всем требованиям, какие вы предъявляете к гостиней леди, мы долго и мирно беседовали у камина. Во время этой конфиденциальной беседы выяснилось для меня, что я был рекомендован жене высокого сановника (и скольким еще лицам — одному Богу известно!) как существо исключительно одаренное — счастливая находка для фирмы! — как один из тех людей, которых вам не всякий день приходится встречать. А ведь я-то собирался командовать дешевеньким речным пароходом, украшенным грошовой трубой! Выяснилось также, что я буду одним из работников с прописной, видите ли, буквы. Что-то вроде посланника неба или апостола в меньшем масштабе. То было время, когда обо всей этой чепухе распространялись и устно, и в печати, а славная женщина, наслушавшись таких речей, потеряла голову. Она толковала о «миллионах несведущих людей и искоренении ужасных их обычаев», и кончилось тем, что я почувствовал смущение. Я рискнул намекнуть, что, в конце концов, фирма поставила себе целью собирать барыши.

— Вы забываете, милый Чарли, что по работе и заработок, — весело отозвалась она. Любопытно, до какой степени женщины далеки от реальной жизни. Они живут в мире, ими же созданном, и ничего похожего на этот мир никогда не было и быть не может. Он слишком великолепен, и, если бы они сделали его реальным, он бы рухнул еще до заката солнца. Один из тех злополучных фактов, с которыми мы, мужчины, миримся со дня творения, дал бы о себе знать и разрушил всю постройку.

Затем тетка меня поцеловала, попросила носить фланелевое белье, писать почаще, дала еще кое-какие наставления, и я ушел. На улице я — не знаю почему — почувствовал себя шарлатаном. Странное дело: принимая какое-либо решение, я привык через двадцать четыре часа ехать в любую часть света, размышляя при этом не больше, чем размышляет человек, собирающийся перейти через улицу, но теперь я на секунду, не скажу — поколебался, но как бы боязливо приостановился перед этим самым обычным путешествием. Чтобы объяснить вам свое состояние, скажу, что секунду-другую я чувствовал себя так, словно ехал не в глубь континента, но собирался проникнуть к центру Земли.

Я отплыл на французском пароходе, который заходил во все жалкие порты, какие у них там имеются, с единственной, поскольку я мог судить, целью высадить в этих портах солдат и таможенных чиновников. Я

смотрел на берега. Созерцание берегов, мимо которых проплывает судно, имеет что-то общее с размышлениями о тайне. Берег тянется перед вашими глазами, улыбающийся или нахмуренный, влекущий, величественный, или жалкий и скучный, или дикий, но всегда безмолвный и в то же время как бы нашептывающий: «Приди и разгадай!» Здесь берег был расплывчатый, словно еще недоделанный, однообразный и угрюмый. Граница бескрайних зарослей — темно-зеленых, почти черных, обрамленных белой пеной прибоя — тянулась прямо, как по линейке, вдоль сверкающего синего моря, подернутого ползучим туманом. Яростно жгло солнце, земля, казалось, светилась и испускала пар. Кое-где за белой полосой прибоя виднелись серовато-белые пятна и развевающийся над ними флаг. То были старые поселки, основанные несколько веков назад, но по сравнению с девственным пространством в глубине континента были они с булавочную головку.

Мы продвигались медленно, останавливались, высаживали солдат, снова отправлялись в путь, высаживали таможенных чиновников, которые должны были взимать пошлину в цинковых сараях, затерянных в этой глуши. Снова высаживали мы солдат, должно быть для того, чтобы они охраняли таможенных чиновников. Я узнал, что несколько человек утонуло в волнах прибоя, но, казалось, никто не придавал этому значения. Мы просто выбрасывали людей на берег и шли дальше. Каждый день мы видели все тот же берег, словно стояли на одном месте, но позади осталось немало портов — торговые станции — с такими названиями, как Большой Бассам или Маленький Попо; эти имена, казалось, взяты были из жалкого фарса, разыгрывавшегося на фоне мрачного занавеса.

Мое безделье, как пассажира, одиночество мое среди всех этих людей, с которыми у меня не было точек соприкосновения, маслянистое и сонное море, однообразный темный берег — словно преграждали мне путь к реальности вещей, заслоняя ее тягостной и бессмысленной фантасмагорией. Доносившийся изредка шум прибоя доставлял подлинную радость, словно речь брата. Это было что-то естественное, имеющее причину и смысл. Иногда лодка, отчалившая от берега, давала на секунду возможность соприкоснуться с реальностью. Гребцами в ней были черные парни. Издали вы могли видеть, как сверкали белки их глаз. Они кричали, пели; пот струйками сбегал по телу; лица их напоминали гротескные маски; но у них были кости и мускулы, в них чувствовалась необузданная жизненная сила и напряженная энергия, и это было так же естественно и правдиво, как шум прибоя у берега. Чтобы объяснить свое присутствие, они не нуждались в оправдании. Их вид действовал успокоительно. Я

чувствовал, что все еще нахожусь в мире непреложных фактов, но. это ощущение было мимолетно, — всегда что-нибудь его рассеивало.

Помню, однажды мы увидели военное судно, стоявшее на якоре у берега. Здесь не было ни одного шалаша, и тем не менее с судна обстреливали заросли. Видимо, в этих краях французы вели одну из своих войн. Флаг на мачте обвис, как тряпка; над низким корпусом торчали жерла длинных шестидюймовых орудий; маслянистые, грязные волны лениво поднимали и опускали судно, раскачивая его тонкие мачты. Вокруг не было ничего, кроме земли, неба и воды, однако загадочное судно обстреливало континент. Бум!.. грохнуло одно из шестидюймовых орудий, мелькнуло и исчезло маленькое пламя, рассеялся белый дымок, слабо просвистел маленький снаряд и... ничего не случилось. Ничего и не могло случиться. Что-то безумное было во всей этой процедуре, что-то похоронное и комедийное, и впечатление это не рассеялось, когда кто-то на борту серьезнейшим образом заверил меня, что где-то здесь, скрытый от наших глаз, находится лагерь туземцев. Их он назвал врагами!

Мы передали письма на это одинокое судно (я слышал, что люди на борту умирали от лихорадки — по три человека в день) и продолжали путь. Заглянули еще в несколько портов с названиями, заимствованными из фарсов. Там, в душном, насыщенном песком воздухе, каким дышат в жарких катакомбах, шла веселая пляска коммерции и смерти вдоль бесформенных берегов, окаймленных гибельными волнами прибоя, — словно природа старалась преградить дорогу незваным гостям. То же происходило на реках и в их устьях — там, где берега превращались в грязь, где илистые воды заливали искривленные мангровые деревья, которые, казалось, корчились перед нами в бессильном отчаянии. Нигде не делали мы длительных остановок, и не было отчетливых впечатлений, но постепенно мною овладевало неясное и томительное удивление. Это походило на однообразное скитание по стране кошмаров.

Только через тридцать дней увидел я устье большой реки. Мы бросили якорь против здания правительственных учреждений. Но работа ждала меня не здесь, а дальше, на расстоянии двухсот миль отсюда. Вот почему при первой же возможности я отправился в местечко, расположенное на тридцать миль дальше, вверх по течению реки.

Ехал я на маленьком морском пароходе. Капитан его, швед, зная, что я моряк, пригласил меня на мостик. Это был молодой человек с прилизанными волосами, худой, белокурый и мрачный; ходил он шаркая ногами. Когда мы отчалили от маленькой, жалкой пристани, он презрительно мотнул головой в сторону берега.

— Пожили здесь? — спросил он. Я отвечал утвердительно.

— Недурное сборище эти чиновники, не правда ли? — продолжал он с горечью, старательно выговаривая английские слова. — Любопытно, какую работу берут на себя люди за несколько франков в месяц. Я задаю себе вопрос, каково им приходится, когда они попадают в глубь страны.

Я сказал ему, что в самом непродолжительном времени надеюсь это узнать.

— Вот как! — воскликнул он и прошелся по мостику, шаркая ногами и зорко посматривая вперед. — Не очень-то будьте уверены... Недавно я вез одного человека, который дорогой повесился. Он тоже был швед.

— Повесился! Боже мой! Но почему? — вскричал я.

Капитан не сводил глаз с реки.

— Кто знает? Быть может, солнце его одолело... или эта страна.

Наконец река стала шире. Показались насыпи у берега, скалистый утес, дома на холме и другие строения с железными крышами, прилепившиеся к склонам холма или рассеянные среди рытвин. Над этой картиной разрушения стоял неумолчный шум, так как дальше, вверх по течению, были на реке пороги. Люди, большей частью чернокожие и нагие, копошились, словно муравьи. В реку врезалась дамба. Иногда ослепительный солнечный свет словно смывал всю эту картину.

— Вот где помещается ваша фирма, — сказал швед, указывая на три деревянных казарменного вида строения на склоне утеса. — Я отправлю туда ваши вещи. Четыре сундука? Отлично. До свидания.

Я наткнулся на котел, лежавший в траве, потом разыскал тропинку, которая вела на холм. Она извивалась, уступая место каменным глыбам, а также маленькой железнодорожной вагонетке, перевернутой колесами вверх. Одного колеса не было. Вагонетка казалась мертвой, похожей на скелет какого-то животного. Я нашел отдельные части машины и сваленные в кучу заржавленные рельсы. Слева группа деревьев отбрасывала тень, и там как будто двигались темные предметы. Я приостановился; тропинка была крутая. Справа затрубили в рог, и я увидел бегущих чернокожих. Раздался заглушенный гул, удар сотряс землю, облако дыма поднялось над утесом, и тем дело и кончилось. Вид скалы нимало не изменился. Они прокладывали железную дорогу. Утес несколько им не мешал, но, кроме этих бесцельных взрывов, никакой работы не производилось.

За моей спиной послышалось тихое позвякивание, заставившее меня оглянуться. Шестеро чернокожих гуськом поднимались по тропинке. Они шли медленно, каждый нес на голове небольшую корзинку с землей, а

тихий звон совпадал с ритмом их шагов. Черные тряпки были обмотаны вокруг их бедер, а короткий конец тряпки болтался сзади, словно хвостик. Я мог разглядеть все ребра и суставы, выдававшиеся, как узлы на веревке. У каждого был надет на шее железный ошейник, и все они были соединены цепью, звенья которой висели между ними и ритмично позвякивали. Новый взрыв и гул, донесшийся с утеса, напомнили мне военное судно, обстреливавшее берег. То был такой же зловещий шум, но при самой пылкой фантазии нельзя было назвать этих людей врагами. Их называли преступниками, и оскорбленный закон, подобно разрывающимся снарядам, явился к ним, словно необъяснимая тайна, с моря. Тяжело дышали эти худые груди, трепетали раздутые ноздри, глаза тупо смотрели вверх. Они прошли на расстоянии нескольких дюймов от меня, не глядя в мою сторону, с невозмутимым, мрачным равнодушием, свойственным несчастным дикарям. За этими первобытными созданиями уныло шествовал один из обращенных — продукт, созданный новыми силами. Он нес ружье, которое держал за середину ствола. На форменном его кителе не хватало одной пуговицы. Заметив на тропинке белого человека, он торопливо вскинул ружье на плечо. То была мера предосторожности: издали все белые похожи друг на друга, и он не мог решить, кто я такой. Вскоре он успокоился, лукаво ухмыльнулся, показывая большие белые зубы, и бросил взгляд на вверенное ему стадо, словно обращая мое внимание на свою высокую миссию. В конце концов, я тоже участвовал в этом великом деле, требовавшем проведения столь благородных и справедливых мер.

Вместо того чтобы подняться на холм, я свернул налево и стал спускаться. Мне хотелось, чтобы скрылись из виду эти люди, которых вели на цепи.

Как вам известно, меня нельзя назвать особенно мягкосердечным: мне случалось наносить удары и защищаться. Я отражал нападение, а иногда сам нападал — что является одним из способов защиты, — не особенно размышляя о ценности той жизни, на которую я посягал. Я видел демона насилия и демона алчности, но, клянусь небом, то были сильные, дюжие, красноглазые демоны, а распоряжались и командовали они людьми — людьми, говорю вам! Теперь же, стоя на склоне холма, я понял, что в этой стране, залитой ослепительными лучами солнца, мне предстоит познакомиться с вялым, лицемерным, подслеповатым демоном хищничества и холодного безумия. Каким он мог быть коварным, я узнал лишь несколько месяцев спустя на расстоянии тысячи миль от этого холма. Секунду я стоял уstraшенный, словно мне дано было предостережение.

Наконец я стал спускаться с холма, направляясь к группе деревьев.

Я обошел огромную яму, вырытую неведомо для чего на склоне холма. Это была не каменоломня и не песочная яма, а просто дыра. Быть может, существование ее объяснялось филантропическим желанием придумать какое-нибудь занятие для преступников. Затем я чуть не упал в рытвину, узкую, словно щель. Туда свалены были дренажные трубы, привезенные для поселка. Не осталось ни одной трубы, которая не была бы разбита. Бессмысленное разрушение! Наконец я приблизился к деревьям, чтобы минутку отдохнуть в тени. Но не успел я войти в тень, как мне почудилось, что я вступил в мрачный круг ада. Пороги были близко, и неумолчный однообразный стремительный шум слышался в унылой роще, где ни один лист не шевелился; что-то таинственное было в этом шуме, который, казалось, вызван был головокружительным полетом Земли в пространстве.

Черные скорченные тела лежали и сидели между деревьями, прислоняясь к стволам, припадая к земле, полустертые в тусклом свете; позы их свидетельствовали о боли, безнадежности и отчаянии. Снова взорвался динамит на утесе, и земля дрогнула у меня под ногами. Работа шла своим чередом. Работа! А сюда шли умирать те, кто там работал.

Они умирали медленной смертью, это было ясно. Они не были врагами, не были преступниками, теперь в них не было ничего земного, — остались лишь черные тени болезни и голода, лежащие в зеленоватом сумраке. Их доставляли со всего побережья, соблюдая все оговоренные контрактом условия; в незнакомой обстановке, получая непривычную для них пищу, они заболели, теряли работоспособность, и тогда им позволяли уползать прочь. Эти смертники были свободны, как воздух, и почти так же прозрачны. В тени деревьев я начал различать блеск их глаз. Потом, посмотрев вниз, я увидел около своей руки чье-то лицо. Черное тело растянулось во всю длину, опираясь одним плечом о ствол дерева; медленно поднялись веки, и я увидел огромные тусклые ввалившиеся глаза; какой-то огонек, слепой, бесцветный, вспыхнул в них и медленно угас. Этот человек казался молодым, почти мальчиком, но вы знаете, как трудно определить их возраст. Я ничего иного не мог придумать, как предложить ему один из морских сухарей моего славного шведа, — сухари были у меня в кармане. Пальцы медленно его сжали; человек не сделал больше ни одного движения, не взглянул на меня. Шея его была повязана какой-то белой шерстинкой. Зачем? Где он ее достал? Был ли это отличительный его знак, украшение или амулет? Или ничего не было с ней связано? На черной шее она производила жуткое впечатление — эта белая нитка, привезенная из страны, лежащей за морями.

Неподалеку от этого дерева сидели, поджав ноги, еще два костлявых угловатых существа. Один из этих двух чернокожих, с остановившимся, невыносимо жутким взглядом, уткнулся подбородком в колено; сосед его, похожий на привидение, опустил голову на колени, как бы угнетенный великой усталостью. Вокруг лежали, скорчившись, другие чернокожие, словно на картине, изображающей избиение или чуму. Пока я стоял, пораженный ужасом, один из этих людей приподнялся на руках и на четвереньках пополз к реке, чтобы напиться. Он пил, зачерпывая воду рукой, потом уселся, скрестив ноги, на солнцепеке, и немного спустя курчава его голова поникла.

Мне уже не хотелось мешкать в тени, и я поспешно направился к торговой станции. Приблизившись к строениям, я встретил белого человека, одетого столь элегантно, что в первый момент я его принял за привидение. Я увидел высокий крахмальный воротничок, белые манжеты, легкий пиджак из альпака, белоснежные брюки, светлый галстук и вычищенные ботинки. Шляпы на нем не было. Волосы, гладко зачесанные и напомаженные, разделялись посередине пробором. Своей большой белой рукой он держал зонтик на зеленой подкладке. Он был изумителен, а за ухом у него торчала ручка.

Я пожал руку этому чудесному призраку и узнал, что он был главным бухгалтером фирмы, а вся бухгалтерия велась на этой станции. По его словам, он вышел на минутку «подышать свежим воздухом». Это замечание показалось мне очень странным, ибо оно наводило на мысль об усидчивой работе за конторкой. Я бы не стал упоминать о бухгалтере, если бы он не был первым, кто назвал мне имя человека, неразрывно связанного с воспоминаниями об этом времени. Кроме того, я чувствовал уважение к парню. Да, я уважал его воротнички, его широкие манжеты, его аккуратную прическу. Правда, он был похож на парикмахерскую куклу, но, несмотря на деморализующее влияние страны, он заботился о своей внешности. В этом проявлялась сила характера. Его накрахмаленные воротнички и выглаженные манишки были своего рода достижением; впоследствии я не мог удержаться, чтобы не спросить, каким образом удалось ему этого добиться. Он чуть-чуть покраснел и скромно ответил:

— Я вымуштровал одну из туземных женщин на станции. Это было нелегко. Такая работа пришлась ей не по вкусу.

Таким образом, этот человек действительно сделал какое-то дело. А кроме того, он был предан своим книгам, которые содержались в образцовом порядке.

Зато на станции неразбериха была полная — вещи в беспорядке,

беспорядок в домах, путаница в головах. То и дело приходили и уходили вереницы запыленных негров с плоскими ступнями. Фабричные товары, скверные бумажные ткани, бусы и латунная проволока доставлялись в царство тьмы в обмен на драгоценную слоновую кость.

На станции мне пришлось провести десять дней — вечность! Я жил в хижине во дворе, но, спасаясь от хаоса, частенько заглядывал в контору бухгалтера. Это было дощатое строение, а доски так плохо были прилажены, что, когда бухгалтер склонялся над своей высокой конторкой, на него, от затылка до каблуков, ложились узкие полоски солнечного света.

Хотя большие ставни оставались закрытыми, в комнате было светло и жарко; враждебно жужжали крупные мухи, которые не жалили, но больно кололи. Обычно я усаживался на пол, а бухгалтер в своем безупречном костюме (и даже слегка надушенный) сидел на высоком табурете и писал без устали. Иногда он вставал, чтобы размять ноги. Когда однажды в комнату внесли на раскладной кровати больного (какого-то агента, занемогшего и доставленного сюда из глубины страны), бухгалтер выразил слабое неудовольствие.

— Стоны больного, — говорил он, — отвлекают мое внимание. В этом климате очень трудно сосредоточиться и не наделать ошибок.

Однажды он заметил, не поднимая головы:

— В глубине страны вы, несомненно, встретите мистера Куртца.

На мой вопрос, кто такой мистер Куртц, он ответил, что это один из первоклассных агентов, а заметив мой разочарованный вид, медленно произнес, кладя ручку на стол:

— Это замечательная личность.

Я стал задавать вопросы и выяснил, что мистер Куртц заведует одной из очень важных торговых станций в самом сердце страны слоновой кости.

— Он присылает сюда слоновой кости больше, чем все остальные станции, вместе взятые.

Бухгалтер снова взялся за перо. Больной чувствовал себя так скверно, что даже не стонал. Мирно жужжали мухи.

Вдруг послышался все нарастающий гул голосов и топот. Только что пришел караван. За дощатой стеной громко тараторили хриплые голоса. Все носильщики говорили одновременно, а из этого гула вырывался жалобный голос главного агента, который — в двадцатый раз за этот день — плаксиво повторял, что он умывает руки... Бухгалтер медленно встал.

— Какой шум! — сказал он. Тихонько прошел он по комнате, чтобы взглянуть на больного, и, возвращаясь на свое место, сообщил мне: — Он не слышит.

— Как! Умер? — спросил я, вздрогнув.

— Нет еще, — ответил он с величайшим спокойствием и мотнул головой, давая понять, что шум во дворе ему мешает. — Когда приходится вести бухгалтерские книги, доходишь до того, что начинаешь ненавидеть этих дикарей — смертельно ненавидеть.

На секунду он задумался, потом продолжал:

— Когда увидите мистера Куртца, передайте ему от меня, что здесь, — тут он бросил взгляд на свою конторку, — все идет прекрасно. Я не хочу ему писать: давая письмо нашим курьерам, вы никогда не знаете, в чьи руки оно попадет... на этой Центральной станции. — Он посмотрел на меня своими кроткими выпуклыми глазами и снова заговорил: — О, он далеко пойдет. Он скоро будет шишкой среди администраторов. Эти господа — я имею в виду правление в Европе — намерены его продвинуть.

Он вернулся к своей работе. Шум снаружи затих. Собираясь уйти, я приостановился в дверях. В комнате, где слышалось неумолчное жужжание мух, агент, которого собирались отправить на родину, лежал в жару и без сознания; бухгалтер, склонившись над столом, вносил в свои точные отчеты точные записи, а на расстоянии пятидесяти футов от двери виднелись неподвижные деревья рощи смерти.

На следующий день я наконец покинул станцию с караваном — с отрядом в шестьдесят человек. Нам предстояло пройти пешком двести миль.

Не стоит распространяться об этом путешествии. Тропинки, тропинки повсюду; сеть тропинок, раскинувшаяся по пустынной стране; тропинки в высокой траве и в траве, опаленной солнцем; тропинки, пробивающиеся сквозь заросли, сбегające в прохладные ущелья, поднимающиеся на каменистые холмы, раскаленные от жары. И безлюдье: ни одного человека, ни одной хижины. Население давно разбежалось. Ну что ж... если б толпа таинственных негров, носителей смертоносного оружия, вздумала странствовать по дороге между Дилем и Грейвсэндом, хватая за шиворот поселян и заставляя их тащить тяжелую ношу, я думаю, понадобилось бы немного времени, чтобы опустели все окрестные фермы и коттеджи. Но здесь и жилища тоже исчезли. Все-таки мы прошли через несколько покинутых деревень. Есть что-то трогательно-детское в развалинах стен из травы.

День проходил за днем; за моей спиной раздавался топот шестидесяти босоногих негров, и каждый тащил на себе шестидесятифунтовую ношу. Лагерь, стряпня, сон; потом снова поход. Иногда нам попадался носильщик, умерший в дороге и лежавший в высокой траве, а рядом с ним

валялась его палка и пустой сосуд из тыквы. Вокруг и над нами великое молчание. Часто в тихие ночи слышался далекий бой барабанов, то затихающий, то нарастающий, — звуки жуткие, манящие, призывные, дикие и, быть может, исполненные такого же глубокого значения, как звон колоколов в христианской стране.

Однажды нам повстречался белый человек в расстегнутом форменном кителе, расположившийся на тропинке со своей вооруженной свитой — тощими занзибарами, — парень очень гостеприимный и веселый, чтобы не сказать — пьяный. Он объявил, что следит за ремонтом дорог. Не могу сказать, чтобы я видел хоть какую-нибудь дорогу или какой-нибудь ремонт, но, пройдя три мили, я буквально наткнулся на тело пожилого негра, убитого пулей, попавшей ему в лоб; быть может, это и свидетельствовало о мерах, предпринятых для улучшения дорог; Со мной был спутник — белый; неплохой парень, но слишком жирный и обнаруживший досадную привычку падать в обморок всякий раз, когда мы поднимались по склону раскаленного холма и несколько миль отделяли нас от воды и тени. Раздражает, знаете ли, держать на манер зонтика вашу собственную куртку над головой человека, пока он не придет в чувство. Я не мог удержаться, чтобы не спросить его, для чего он, собственно, сюда приехал.

— Денег заработать, конечно. А вы что думали? — сказал он презрительно. Потом он заболел лихорадкой, и пришлось его нести в гамаке, подвешенном к шесту. Так как весил он больше двухсот фунтов, то я все время воевал с носильщиками. Они топтались на одном месте, разбегались, удирали по ночам... Настоящий мятеж! Как-то вечером я обратился к ним с речью на английском языке, сопровождая ее жестами, за которыми следили шестьдесят пар глаз, а на следующее утро мы отправились в путь, причем чернокожие, тащившие гамак, шли впереди. Час спустя я нашел в кустах всю поклажу — гамак, одеяла, стонущего человека. Тяжелый шест содрал бедняге кожу с носа. Парню очень хотелось, чтобы я кого-нибудь убил, но нигде не видно было даже тени носильщиков. Я вспомнил слова старого доктора: «С научной точки зрения любопытно было бы наблюдать там, на месте, перемену, происходящую в индивидууме». Я почувствовал, что во мне пробуждается научный интерес. Впрочем, все это к делу не относится.

На пятнадцатый день я снова увидел большую реку, и мы доковыляли до Центральной станции. Она расположена была у заводи, окруженной кустарником и лесом; станция была обнесена с трех сторон старой изгородью из тростника, а с одной стороны тянулась полоса вонючей грязи. Ворота не было — вместо них в изгороди зияла дыра; достаточно было

одного взгляда, чтобы понять: здесь всем распоряжается чахлый демон лени. Белые люди с длинными палками в руках лениво бродили между строениями, подходили, чтобы взглянуть на меня, а затем скрывались из виду. Один из них, дюжий вспыльчивый парень с черными усами, узнав, кто я такой, сообщил мне, не жалея слов и прибегая к ненужным отступлениям, что пароход мой покоится на дне реки. Я был как громом поражен. Что, как, почему? О, все «в порядке». «Сам начальник» при этом присутствовал. Все в полном порядке.

— Все держали себя превосходно... превосходно! Вы должны, — продолжал он, волнуясь, — сейчас же повидаться с начальником. Он ждет!

Тогда я не понял подлинного значения этой катастрофы. Думаю, что теперь я понимаю... хотя отнюдь не уверен. Когда я об этом размышляю, происшествие кажется мне слишком нелепым, чтобы быть естественным... А впрочем... но в тот момент я к этому отнесся просто как к досадной помехе. Пароход затонул. Два дня назад они, внезапно всполошившись, отправились на пароходе вверх по реке. Начальник торговой станции находился на борту, а кто-то вызвался исполнять обязанности шкипера. Не прошло и трех часов, как они наскочили на камни, сорвали дно, и пароход затонул около южного берега. Я задавал себе вопрос, что мне делать теперь, когда судно мое погибло. Выяснилось, что дела у меня будут выше головы, так как я должен был выудить из реки свой пароход. За это я принялся на следующий же день. Затем, доставив обломки на станцию, я взялся за починку, и на все это ушло несколько месяцев.

Любопытной оказалась первая моя встреча с начальником станции. Хотя в то утро я прошел пешком двадцать миль, он не предложил мне сесть. У этого человека была самая обыкновенная физиономия, манеры, голос. Роста он был среднего, сложен пропорционально. Пожалуй, в глазах его весьма обычного цвета было что-то необычно холодное, а взгляд его падал на вас острый и тяжелый, как топор. Но даже в такие минуты весь его вид, казалось, противоречил впечатлению, какое производил этот взгляд. Иногда губы его складывались как-то странно — было в этом что-то мимолетное, ускользающее: улыбка не улыбка, — я ее помню, но не могу объяснить. Она появлялась помимо его воли, через секунду после того, как он договаривал фразу, появлялась в конце его речи, словно печать, скрепляющая слова и делающая банальную фразу загадочной.

Он был самым обыкновенным торговцем и с ранних лет работал в этих краях. Его слушались, однако он не внушал ни страха, ни любви, ни даже уважения. В его присутствии люди ощущали неловкость. Вот именно! Не то чтобы недоверие, а просто неловкость. Вы не можете себе

представить, какое значение имеет такая... такая способность вызывать ощущение неловкости. Он не умел организовывать, проявлять инициативу или хотя бы поддерживать порядок. Это видно было по тому, в каком плачевном состоянии находилась станция. У него не было ни ума, ни образования. Почему же в таком случае занимал он этот пост? Быть может, потому, что он никогда не болел.

Он служил девять лет, получая отпуск через каждые три года. Могучее здоровье само по себе имеет большое значение там, где не выдерживает самый крепкий человек. Отправляясь на родину в отпуск, он устраивал торжественное празднество: так веселится, сойдя на берег, матрос; впрочем, сходство было только поверхностное. Это можно было угадать по тем словам, какие он бросал в разговоре. Ничего нового он не создал: он только поддерживал рутину — и этим дело ограничивалось. Но все-таки он был великим человеком, так как нельзя было угадать, чем можно обуздать его. Этого секрета он так и не выдал. Быть может, он ровно ничего собой не представлял. Такое поведение заставляло призадуматься, ибо там не было ничего, что могло бы его сдерживать.

Однажды, когда различные тропические болезни свалили с ног почти всех агентов на станции, он заявил, что «людям, сюда приезжающим, не следовало бы иметь никаких внутренних органов». Эту фразу он скрепил своей улыбкой — словно приоткрыл на секунду дверь в царство тьмы, у которой стоял на страже. Вам чудилось, что вы что-то разглядели, — но печать уже снова была наложена. Когда ему надоели обеденные ссоры, постоянно возникавшие между белыми из-за того, кому сидеть за столом на председательском месте, он приказал сделать огромный круглый стол, для которого пришлось выстроить специальный дом. В этом доме устроили столовую. Первое место было там, где он сидел; остальные места в счет не шли. Ясно было, что в этом он твердо убежден. «Учтивый», «неучтивый» — эти определения к нему не подходили. Он был флегматичен. Он разрешал своему «бою» — откормленному молодому негру с побережья — третировать белых нахально и дерзко у него на глазах.

Увидев меня, он тотчас же стал говорить. Я слишком замешкался в пути. Он не мог ждать. Пришлось поехать без меня. Нужно было посетить станции в верховьях реки. Времени и так уже прошло немало, и он не знал, кто умер, кто жив, в каком состоянии находятся дела и т.д. и т.д. На мое объяснение он не обратил ни малейшего внимания и, играя палочкой сургуча, несколько раз повторил, что положение «очень серьезно, очень серьезно». Ходят слухи, что одной из важнейших станций угрожает опасность и что начальник ее — мистер Куртц — болен. Он выразил

надежду, что слухи эти ложны. Мистер Куртц... Я был утомлен и нервничал. «Черт бы побрал Куртца!» — подумал я и перебил его, заявив, что о мистере Куртце мне говорили на побережье.

— А, значит, там о нем говорят, — прошептал он себе под нос. Потом стал меня уверять, что мистер Куртц — лучший его агент, исключительный человек и ценный работник для фирмы; таким образом, мне должно быть понятно его беспокойство. И он еще раз повторил, что очень взволнован. Действительно, он, все время ерзая на стуле, воскликнул: «Ах, мистер Куртц!» — сломал палочку сургуча и, казалось, был потрясен происшествием с пароходом. Затем он пожелал узнать, сколько времени мне понадобится, чтобы...

Я снова его перебил. Я, видите ли, был голоден, он не предложил мне есть, и теперь злоба меня душила.

— Как я могу сказать? — воскликнул я. — Я даже не видел затонувшего судна... несколько месяцев, должно быть.

Весь этот разговор казался мне таким бессмысленным.

— Несколько месяцев, — повторил он. — Ну что ж! Скажем, через три месяца можно будет отправиться в путь. Да, три месяца... этого достаточно.

Я вылетел из его хижины (он один занимал обмазанную глиной хижину с верандой), бормоча себе под нос свое мнение о нем. Болтун и идиот! Впоследствии я отказался от этих слов, ибо мне пришлось констатировать, что он с изумительной точностью определил срок, потребовавшийся для проведения работ.

На следующий день я взялся за дело и повернулся, так сказать, спиной к станции. Только таким образом, казалось мне, смогу я сохранить спасительную связь с реальными фактами. Все-таки иной раз мне приходилось оглядываться, и тогда я видел эту станцию и этих людей, бесцельно бродивших по залитому солнцем двору. Иногда я задавал себе вопрос, что все это значит. Они разгуливали со своими нелепыми длинными палками, словно толпа изменивших вере пилигримов, которые поддались волшебным чарам и обречены оставаться за гниющей изгородью. Слова «слоновая кость» звенели в воздухе, звучали в шепоте и вздохах. Можно было подумать, что они обращаются к ней с молитвами. Над ними, словно запах разлагающегося трупа, витал аромат нелепого хищничества. Ей-богу, в этом не было ничего похожего на реальную жизнь! А немая глушь, подступившая к этому расчищенному клочку земли, казалась мне чем-то великим и непобедимым, как зло или истина, терпеливо ожидающим конца этого фантастического вторжения.

Ах, эти месяцы!.. Но не буду на них останавливаться. Случались различные события. Как-то вечером соломенный сарай, где сложены были коленкоровые и ситцевые ткани, бусы и всякая всячина, внезапно загорелся, словно мстительное пламя вы рвалось из земли, чтобы истребить весь этот хлам. Я спокойно курил трубку, сидя около моего разбитого парохода, и видел, как они, освещенные заревом, прыгали и воздевали руки к небу. Усатый толстяк спустился к реке, держа в руке жестяное ведро, и стал меня уверять, что все «ведут себя превосходно, превосходно». Зачерпнув воды, он помчался назад. Я заметил, что ведро его продырявлено.

Медленно побрел я на станцию. Спешить было незачем. Сарай вспыхнул, словно коробка спичек, и ничего нельзя было поделать. Пламя рванулось к небу, заставив всех отступить, осветило все вокруг и съежилось. Сарай превратился в кучу ярко тлеющих углей. Неподалеку били какого-то негра. По слухам, он был виновником пожара. Как бы то ни было, но он отчаянно выл. Я видел позднее, в течение нескольких дней: он сидел в тени, совсем больной, и старался прийти в себя; потом он поднялся и ушел, и немые дебри снова приняли его в свое лоно.

Выбравшись из темноты к пожарищу, я очутился за спинами двух людей, которые вели беседу. Я услышал имя Куртца, затем слова: «Воспользоваться этим печальным случаем». Одним из собеседников оказался начальник станции. Я пожелал ему доброго вечера.

— Приходилось ли вам видеть что-либо подобное, а? Это невероятно, — сказал он и отошел.

Другой остался. Это был агент первого разряда, молодой, элегантный, сдержанный, с маленькой раздвоенной бородкой и крючковатым носом. С другими агентами он держал себя высокомерно, а те, со своей стороны, утверждали что начальник станции приставил его за ними шпионить. До этого дня я не обменялся с ним и несколькими словами. Сейчас у нас завязался разговор, и мы отошли от тлеющих развалин.

Он предложил мне зайти в его комнату, которая находилась в главном строении. Когда он зажег спичку, я увидел, что этот молодой аристократ не только пользуется туалетными принадлежностями в серебряной оправе, но и имеет в своем распоряжении свечу — целую свечу. В ту пору все считали, что только начальник станции имеет право пользоваться свечами. Глиняные стены были затянуты туземными циновками; копья, ассегаи, щиты, ножи были развешаны в виде трофеев.

Мне было известно, что этому человеку поручено делать кирпичи, но на станции вы бы не нашли ни кусочка кирпича, а он провел здесь больше

года... в ожидании. Кажется, для выделки кирпичей ему чего-то не хватало — не знаю чего... быть может, соломы. Во всяком случае, этого материала нельзя было здесь достать, и вряд ли его собирались прислать из Европы; таким образом, я не мог себе уяснить, чего, собственно, он ждет. Может быть, особого акта творения? Как бы то ни было, но все они чего-то ждали — все эти шестнадцать или двадцать пилигримов; честное слово, это занятие им нравилось, если судить по тому, как они к нему относились, но, насколько мне было известно, они до сих пор не дождались ничего, кроме болезней. Время они убивали ссорами и самыми нелепыми интригами. В воздухе пахло заговорами, но из этого, конечно, ничего не вышло. Заговоры были так же нереальны, как и все остальное, — как филантропические стремления фирмы, как громкие их фразы, их правление и работа напоказ. Единственным реальным чувством было желание попасть на торговую станцию, где можно раздобыть слоновую кость и, следовательно, получить проценты. Вот почему они интриговали, злословили и ненавидели друг друга, но никто не потрудился хотя бы пошевелить мизинцем. Есть, в конце концов, какая-то Причина, по которой люди позволяют одному украсть лошадь, тогда как другой даже поглядеть не смеет на недоуздок. Лошадь украдена. Ну что ж! Вор пошел напрямик. Быть может, он умеет ездить верхом. Но иной так посмотрит на недоуздок, что самый добродушный человек не вытерпит и даст пинка.

Я понятия не имел, почему ему вздумалось быть столь общительным, но, пока мы болтали, мне вдруг пришло в голову, что парень чего-то добивается — хочет из меня что-то вытянуть. Он все время заговаривал о Европе, о людях, которых я, по его мнению, должен был там знать, ставил наводящие вопросы о городе-гробе и т.д. Маленькие глазки его блестели, как кусочки слюды, хотя он и старался держать себя надменно.

Сначала я недоумевал, потом мне стало любопытно, что именно хочет он от меня узнать. Я не представлял себе, чем мог я его так заинтересовать, ибо в действительности ничего интересного во мне не было: меня лихорадило, а голова забита была мыслями об этом злополучном происшествии с пароходом. Забавно было видеть, как он сам себя сбивает с толку, принимая меня, очевидно, за бесстыдного плута. Наконец он потерял терпение и, чтобы скрыть свою досаду, зевнул. Я поднялся, и тут взгляд мой упал на маленький эскиз масляными красками на тонкой доске, изображающий закутанную женщину с завязанными глазами, которая держит в руке горящий факел. Фон был темный, почти черный. Женщина казалась величественной, и что-то зловещее было в ее лице, освещенном факелом.

Я приостановился, а он вежливо стоял подле меня, держа пустую бутылку из-под шампанского (медицинское снадобье) с воткнутой в нее свечкой.

На мой вопрос он ответил, что картина писана мистером Куртцем на этой самой станции больше года тому назад, пока он ждал okazji, чтобы добраться до своего поста.

— Скажите мне, пожалуйста, — попросил я, — кто такой этот мистер Куртц?

— Начальник Внутренней станции, — коротко ответил он, глядя в сторону.

— Благодарю вас, — со смехом отозвался я. — А вы выделяете кирпичи на Центральной станции. Все это знают.

Минутку он помолчал, потом произнес:

— Куртц — диковинка. Он посланец милосердия, науки, прогресса и черт знает чего еще. Для ведения дела, — начал он вдруг декламировать, — доверенного нам Европой, нам нужен великий ум, умение сострадать, устремленность к единой цели.

— Кто это говорит? — спросил я.

— Очень многие, — отозвался он. — Иные даже пишут об этом. И вот он является сюда — исключительная личность, как вам должно быть известно.

— Почему я должен это знать? — с удивлением перебил я.

Он не обратил на меня внимания.

— Да. Сегодня он стоит во главе лучшей станции, на следующий год он будет помощником начальника Центральной станции, еще два года — и... Но полагаю, вам известно, кем он будет через два года. Вы принадлежите к этой новой банде — банде служителей добродетели. Люди, которые прислали его сюда, рекомендовали также и вас. О, не отрицайте. Я не слепой!

Теперь все было ясно. Влиятельные знакомые моей славной тетушки произвели неожиданное впечатление на этого молодого человека. Я чуть не расхохотался.

— Значит, вы читаете секретную корреспонденцию фирмы? — спросил я.

Он не нашелся, что ответить. Это было очень забавно. Я сурово сказал:

— Вам придется распрощаться с этой привилегией, когда мистер Куртц будет начальником всех станций.

Неожиданно он задул свечу, и мы вышли. Взошла луна. Вяло бродили черные тени, поливая водой тлеющие угли, после чего раздавалось

шипение; облако пара поднималось в лунном свете; где-то стонал избитый негр.

— Как ревет эта скотина! — воскликнул неутомимый усатый парень, внезапно появляясь около нас. — Поделом ему! Преступление... наказание... готово! Безжалостно, безжалостно, но это единственный способ. Это положит конец всяким пожарам. Я только что говорил начальнику... — Тут он заметил моего спутника и сразу оробел. — Вы еще не спите? — пробормотал он с раболепной вежливостью. — Ну конечно! Это так естественно. Да! Опасность, волнение...

Он скрылся. Я пошел к реке, а тот последовал за мной. У самого моего уха раздался его злобный шепот:

— Сборище идиотов!

Видны были группы пилигримов, жестикулировавших, споривших. Некоторые все еще держали в руках свои посохи. Я думаю, они и спать ложились с ними. За изгородью виднелся лес, призрачный в лунном свете. Заглушая тихие шорохи и звуки, наполнявшие жалкий двор, молчание этой страны проникало в самое сердце, — тайна страны, ее величие и потрясающая реальность невидимой ее жизни. Где-то неподалеку слабо стонал избитый негр, а потом вздохнул так глубоко, что я поспешил отойти подальше. Я почувствовал, как чья-то рука скользнула под мою руку.

— Дорогой сэр, — сказал мой спутник, — я не хочу быть непонятым вами — вами, который увидит мистера Куртца гораздо раньше, чем буду иметь это удовольствие я. Мне бы не хотелось, чтобы он составил себе ложное представление о моем отношении.

Я дал выговориться этому Мефистофелю из папье-маше, и мне чудилось, что, если б я попробовал проткнуть его пальцем, внутри у него ничего бы не оказалось, кроме жидкой грязи. Он, видите ли, рассчитывал сделаться в скором времени помощником теперешнего начальника, и я понимал, что приезд этого Куртца очень беспокоит их обоих. Говорил он торопливо, и я не пытался его остановить. Я стоял, прислонившись плечом к своему разбитому пароходу, который лежал на берегу, словно скелет какого-то огромного речного животного. Запах грязи — первобытной грязи! — щекотал мне ноздри; перед глазами моими вставал величественный и безмолвный первобытный лес; блестящие пятна легли на черную гладь залива. Луна набросила тонкое серебряное покрывало на густую траву, на грязный берег, на стену переплетенной листвы, поднимавшуюся выше, чем стены храма, на могучую реку, — я видел сквозь темный прорыв, как она безмолвно катит свои сверкающие воды. Во всем было величие, ожидание, немота, а этот человек бормотал что-то о

себе. Видя это спокойствие на обращенном к нам лице необъятного пространства, я задавал себе вопрос: нужно ли видеть в этом призыв или угрозу? Кто мы, забравшиеся сюда?

Сможем ли мы подчинить эту немую глушь, или она не подчинится? Я чувствовал величие этой глуши, немой и, быть может, лишенной слуха» Что таилось в ней? Я знал — оттуда мы получали немного слоновой кости, а также слышал, что там обитает мистер Куртц. О да, о нем мне прожужжали уши! Однако я его представлял себе не лучше, чем если бы мне сказали, что там живет ангел или черт. Я этому верил так же, как вы можете верить, что есть живые существа на Марсе. Я знал одного шотландца-парусника, который был глубоко убежден, что на Марсе есть люди. Если вы его спрашивали, какой вид они имеют или как они себя держат, он робел и бормотал, что они «ходят на четвереньках». Достаточно вам было улыбнуться, чтобы он — шестидесятилетний старик — вступил с вами в драку.

Я еще не зашел так далеко, чтобы драться из-за Куртца, но уже готов был ради него пойти на ложь. Вы знаете: ложь я ненавижу, не выношу ее не потому, что я честнее других людей, но просто потому, что она меня страшит. Во всякой лжи есть привкус смерти, запах гниения — как раз то, что я ненавижу в мире, о чем хотел бы позабыть. Ложь делает меня несчастным, вызывает тошноту, словно я съел что-то гнилое. Должно быть, такова уж моя природа. Но теперь я готов был допустить, чтобы этот молодой идиот остался при своем мнении по вопросу о том, каким влиянием пользуюсь я в Европе. В одну секунду я сделался таким же притворщиком, как и все эти зачарованные пилигримы. Мне пришло в голову, что таким путем я могу помочь Куртцу, которого в то время я еще ни разу не видел. Для меня он был только именем. Человека, скрывавшегося за этим именем, я видел не лучше, чем видите вы. А видите ли вы его? Видите ли этот рассказ? Видите ли хоть что-нибудь?

Мне кажется, что я пытаюсь рассказать вам сон — делаю тщетную попытку, ибо нельзя передать словами ощущение сна, эту смесь нелепицы, удивления, недоумения и нарастающего возмущения, когда вы чувствуете, что стали добычей невероятного, каковое и является самой сущностью сновидения...

Марлоу на секунду умолк.

— ...Нет. это невозможно, невозможно передать, как чувствуешь жизнь в какой-либо определенный период, невозможно передать то, что есть истина, смысл и цель этой жизни. Мы живем и грезим в

одиночестве...

Он снова задумался, потом добавил:

— Конечно, вы, друзья, можете видеть сейчас больше, чем видел тогда я. Вы видите меня, которого знаете...

Сумерки сгустились, и мы — слушатели — едва могли разглядеть друг друга. Марлоу, сидевший в стороне, давно уже стал для нас невидимым, и мы слышали только его голос. Никто не произнес ни слова. Остальные, быть может, спали, но я бодрствовал. Я слушал, слушал, подстерегая фразу или слово, которое разъяснило бы мне смутное ощущение беспокойства, вызванное этим рассказом. И слова, казалось, не срывались с губ человека, а падали из тяжелого ночного воздуха, нависшего над рекой.

— ...Да, я не мешал ему говорить, — снова начал Марлоу, — не мешал думать что угодно о влиятельных особах, стоявших за моей спиной. Я это сделал! А за моей спиной не было никого и ничего! Ничего, кроме этого несчастного, старого, искалеченного парохода, к которому я прислонился, пока он плавно говорил о «необходимости для каждого человека продвинуться в жизни». «И вы понимаете, сюда приезжают не затем, чтобы глядеть на луну». Мистер Куртц был «универсальным гением», но даже гению легче работать с «соответствующими инструментами — умными людьми». Он — мой собеседник — не выделял кирпичей: не было материалов, как я сам прекрасно знаю; а если он выполнял обязанности секретаря, то «разве разумный человек станет ни с того ни с сего отказываться от знаков доверия со стороны начальства?»

Понятно ли мне это? Понятно. Чего же мне еще нужно?.. Клянусь небом, мне нужны были заклепки! Заклепки. Чтобы продолжать работу... заткнуть дыру. В заклепках я нуждался. На побережье я видел ящики с заклепками, ящики открытые, разбитые. Во дворе той станции на холме вы на каждом шагу натыкались на брошенную заклепку. Заклепки докатились до рощи смерти. Вам стоило только наклониться, чтобы набить себе карманы заклепками, — а здесь, где они были так нужны, вы не могли найти ни одной заклепки. В нашем распоряжении были листы железа, но нечем было их закрепить. Каждую неделю чернокожий курьер, взвалив на спину мешок с письмами и взяв в руку палку, отправлялся с нашей станции к устью реки. И несколько раз в неделю с побережья приходил караван с товарами: с дрянным глянцевитым коленкором, на который противно было смотреть, со стеклянными бусами по пенни за кварту, с отвратительными пестрыми бумажными платками. Но ни одной заклепки. А ведь три

носильщика могли принести все, что требовалось для того, чтобы спустить судно на воду.

Теперь мой собеседник стал фамильярным, но, кажется, мое сдержанное молчание наконец его раздосадовало, ибо он счел нужным меня уведомить, что не боится ни Бога, ни черта, не говоря уже о людях. Я ему сказал, что нимало в этом не сомневаюсь, но что в данный момент мне нужны заклепки и того же пожелал бы и мистер Куртц, если бы об этом знал. Письма отправляют каждую неделю...

— Дорогой сэр, — воскликнул он, — я пишу то, что мне диктуют! Я потребовал заклепок. Умный человек найдет способ...

Он изменил свое обращение: стал очень холоден и вдруг перевел разговор на гиппопотама; поинтересовался, не мешает ли он мне, когда я сплю на борту (ибо я не покидал парохода ни днем ни ночью). У этого старого гиппопотама была скверная привычка вылезать ночью на берег и бродить вокруг станции. В таких случаях пилигримы выходили на него толпой и стреляли из всех ружей, какие им попадались под руку. Некоторые караулили ночи напролет. Но вся энергия была израсходована даром.

— У этого животного должен быть какой-то амулет, защищающий его, — пояснил он мне, — но здесь это можно сказать только о животных. В этой стране ни один человек — вы меня понимаете? — ни один человек не имеет амулета, охраняющего его жизнь.

Он остановился, освещенный луной, тонкий горбатый нос был слегка искривлен, слюдяные глазки поблескивали, он вежливо пожелал мне спокойной ночи и удалился. Я видел, что он взволнован и заинтригован, и это сильно меня обнадежило. Было великим утешением, расставшись с этим парнем, повернуться лицом к моему влиятельному другу — разбитому, искалеченному, продырявленному горшку — пароходу. Я вскарабкался на борт. Судно задребезжало у меня под ногами, словно пустая жестянка из под сухарей Хентли и Палмера, отброшенная ногой в канаву; впрочем, судно было далеко не так прочно и изящно, но я столько над ним потрудился, что не мог не привязаться к нему. Судно давало мне возможность проверить в какой-то мере себя, испытать мои силы. Нет, работы я не люблю. Я предпочитаю бездельничать и мечтать о том, сколько чудесного можно было бы сделать. Я не люблю работы — никто ее не любит, — но мне нравится, что она дает нам возможность найти себя, наше подлинное «я», скрытое от всех остальных, найти его для себя, не для других. Люди видят лишь внешнюю оболочку и никогда не могут сказать, что за ней скрывается.

Я нисколько не удивился, увидав, что кто-то сидит на палубе, свесив

ноги за борт. Я, видите ли, подружился с несколькими механиками, которые жили на станции. Остальные пилигримы, конечно, их презирали... Должно быть, потому, что их манеры оставляли желать лучшего. На корме сидел надсмотрщик — котельщик по профессии, — хороший работник. Это был тощий, костлявый, желтолицый человек с большими внимательными глазами. Вид у него был озабоченный, череп голый, как моя ладонь; но волосы, выпадая, казалось, прилипли к подбородку и прекрасно привились на новом месте, так как борода его доходила до пояса. Он был вдовцом с шестью маленькими детьми (чтобы приехать сюда, он их оставил на попечение сестры) и питал страсть к голубям. О них он говорил с восторгом, как знаток и энтузиаст. После работы он частенько приходил ко мне из своей хижины, чтобы потолковать о своих детях и своих голубях. В рабочие часы, когда ему приходилось ползать в грязи под килем парохода, он обвязывал свою бороду чем-то вроде белой салфетки. К салфетке приделаны были петли, надевавшиеся на уши.

По вечерам он, присев на корточки, старательно стирал свою тряпку в заливчике, а потом торжественно вешал ее на куст для просушки.

Я хлопнул его по спине и крикнул:

— У нас будут заклепки!

Он поднялся на ноги, восклицая:

— Да что вы! Заклепки! — словно не верил своим ушам. Потом понизил голос: — Вы... а?

Не знаю, почему мы вели себя как сумасшедшие. Я приложил палец к носу и таинственно кивнул головой.

— Здорово! — закричал он и, подняв одну ногу, щелкнул пальцами над головой. Я стал отплясывать жигу. Мы прыгали по железной палубе. Оглушительно задребезжало старое судно, а девственный лес на другом берегу отозвался грохочущим эхом, прокатившимся над спящей станцией. Должно быть, кое-кто из пилигримов проснулся в своей хижине. В дверях освещенной хижины начальника показалась чья-то темная фигура; вскоре она скрылась, а затем, через секунду, исчез и просвет в дверях. Мы остановились, и тишина, спугнутая топотом наших ног, снова хлынула к нам из леса. Высокая стена растительности, масса переплетенных ветвей, листьев, сучьев, стволов, неподвижная в лучах луны, походила на стремительную лавину немой жизни, на вздыбившийся, увенчанный гребнем зеленый вал, готовый рухнуть в заливчик и смести с лица земли нас — жалких маленьких человечков. Но стена оставалась неподвижной. Издалека доносился заглушенный могучий храп и плеск, словно какой-то ихтиозавр принимал лунную ванну в великой реке.

— В конце концов, — рассудительно сказал котельщик, — почему бы нам не получить заклепок?

И в самом деле! Я не видел причины, почему мы могли бы их не получить.

— Они придут через три недели, — доверчиво сказал я.

Но они не прибыли. Вместо заклепок нас ожидало нашествие, испытание, кара. Отдельными группами стали являться посетители, и это продолжалось три недели. Впереди каждого отряда шел осел, который нес на своей спине белого в новом костюме и коричневых ботинках, раскланивавшегося на обе стороны с ошеломленными пилигримами. По пятам за ослом следовала толпа ворчливых, угрюмых негров с натруженными ногами. Палатки, походные стулья, цинковые ящики, белые коробки, темные тюки свалены были во дворе, и атмосфера тайны сгущалась над бестолочью станции. Пять раз повторялись эти вторжения; казалось, что люди беспорядочно обратились в бегство, прихватив с собой товары из бесчисленных складов мануфактуры и провианта, чтобы здесь — в глуши — поровну разделить добычу. Это было невообразимое скопление вещей, сами по себе они были хороши, но безумие человеческое придавало им вид награбленного добра.

Достойная компания называла себя экспедицией для исследования Эльдорадо, и я думаю, что члены ее были связаны клятвой хранить тайну. Однако разговоры их напоминали непристойную болтовню пиратов, — разговоры циничные, хищные и жестокие, но отнюдь не мужественные или смелые. Никаких серьезных намерений или предусмотрительности не было ни у одного из этой банды, и они, казалось, даже не подозревали, что это необходимо для работы. Единственным их желанием было вырвать сокровище из недр страны, а моральными принципами они интересовались не больше, чем интересуется грабитель, взламывающий сейф. Кто оплачивал расходы этой почтенной экспедиции — я не знаю, но во главе банды стоял дядя нашего начальника.

Внешне он походил на мясника из бедного квартала, и глаза у него были заспанные и хитрые. С надменным видом носил он на коротеньких ножках свой толстый живот и, пока его шайка отравляла воздух станции, не разговаривал ни с кем, кроме своего племянника. Можно было наблюдать, как эти двое целыми днями бродят вместе, погруженные в нескончаемую беседу.

Я перестал терзать себя мыслями о заклепках. Способность предаваться такому безумию более ограничена, чем вы себе представляете. Я послал все к черту и положился на волю судьбы. Времени для

размышлений у меня было сколько угодно, и иногда я подумывал о Куртце. Я не особенно им интересовался, но все же мне любопытно было узнать, достигнет ли вершины этот человек, вооруженный какими-то моральными принципами, и как он тогда примется за дело.

II

Как-то вечером, лежа плашмя на палубе своего парохода, я услышал приближающиеся голоса: оказывается, дядя и племянник прогуливались по берегу. Я снова опустил голову на руку и чуть было не задремал, как вдруг кто-то сказал, словно под самым моим ухом:

— Я безобиден, как маленький ребенок, но не терплю, когда мною командуют. Начальник я или нет? Мне приказано было отправить его туда. Это невероятно...

Я понял, что эти двое остановились на берегу у носа парохода, чуть-чуть пониже моей головы. Я не пошевелинулся: мне хотелось спать.

— Действительно, это неприятно, — проворчал дядя.

— Он просил правление прислать его сюда, — сказал племянник, — имея в виду показать, что он может сделать. Я получил соответствующие инструкции. Подумайте только, каким влиянием пользуется этот человек! Не ужасно ли это?

Собеседник подтвердил, что действительно это ужасно. Затем последовало еще несколько странных замечаний:

— Все может... один человек... правление... водит за нос... — Обрывки нелепых фраз, которые рассеяли мою дремоту. Я окончательно проснулся, когда дядя наконец произнес:

— Благодаря климату это затруднение может быть устранено. Он там один?

— Да, — отвечал начальник. — Он отправил ко мне своего помощника с запиской, составленной в таких выражениях: «Отошлите этого беднягу на родину и не трудитесь посылать мне таких субъектов. Я предпочитаю остаться один, чем работать с теми людьми, каких вы мне можете дать». Это было больше года назад. Можете вы себе представить такую наглость?

— А с тех пор он что-нибудь присылал? — проворчал дядя.

— Слоновую кость, — отрывисто бросил племянник. — Много слоновой кости... первосортной... чрезвычайно неприятно...

— А кроме слоновой кости? — прогудел дядя.

— Накладную, — ответил, словно из ружья выстрелил, племянник.

Последовало молчание. Речь шла о Куртце.

К тому времени сна у меня не было ни в одном глазу, но, лежа в удобной позе, я не имел намерения менять ее.

— Каким образом была доставлена сюда слоновая кость? — пробурчал

дядя, видимо очень раздраженный.

Тот объяснил, что она прибыла с флотилией каноэ, которую командовал английский клерк, полукровка, состоявший при Куртце. Куртц, видимо, сам намеревался ехать, так как в то время на его станции не осталось ни товаров, ни провианта, но, сделав триста миль, вдруг решил вернуться назад и отправился в обратный путь один в маленьком челноке с четырьмя гребцами, предоставив полукровке отвезти слоновую кость.

Казалось, племянник и дядя были поражены этим поступком и понять не могли его мотивов. Что же касается меня, то я как будто впервые увидел Куртца — увидел отчетливо: челнок, четыре гребца-дикаря и одинокий белый человек, внезапно повернувшийся спиной к Центральной станции, к мыслям об отдыхе, быть может — к мечтам о родине, и обративший лицо к дикой глуши, к своей опустошенной и унылой станции. Я не знал его мотивов. Может быть, он был просто славным парнем, который бескорыстно заинтересован делом. Эти двое ни разу не назвали его по имени, они говорили «тот человек». Полукровку, который, поскольку я мог судить, проявил величайшую осмотрительность и ловкость, исполнив это трудное поручение, они называли не иначе, как «тот негодяй». «Негодяй» доложил, что «тот человек» был тяжело болен и не совсем еще оправился... Собеседники отошли на несколько шагов и стали ходить взад и вперед мимо судна. Я слышал обрывки фраз: «Военный пост... доктор... двести миль... совсем один теперь... неизбежное промедление... девять месяцев... никаких вестей... Странные слухи...»

Они снова приблизились как раз в тот момент, когда начальник говорил:

— Нет никого, насколько мне известно, если не считать этого зловредного парня — кажется, странствующего торговца, — отбирающего у туземцев слоновую кость.

О ком это они теперь говорили? Я решил, что речь идет о человеке, который находится в округе Куртца и не заслуживает одобрения начальника.

— Мы не избавимся от недостойной конкуренции до тех пор, пока одного из этих парней не повесят для острастки, — сказал начальник.

— Правильно, — проворчал дядя. — Пусть его повесят! Почему не повесить? В этой стране можно сделать все, что угодно. Я тебе говорю: здесь — ты понимаешь? — здесь никто тебе не опасен. А почему? Потому что ты выносишь этот климат; ты их всех переживешь. Опасность в Европе; но перед отъездом я позаботился о том, чтобы...

Они отошли и заговорили шепотом; потом племянник повысил голос:

— Я не виноват, что произошла такая задержка. Я сделал все, что мог.

Толстяк вздохнул:

— Очень печально.

— Послушали б вы его нелепую и зловредную болтовню! — продолжал тот. — Он мне здорово надоел, пока был здесь. «Каждая станция должна быть как бы маяком на пути, который ведет к прогрессу; это не только центр торговли, но и центр гуманности, усовершенствования, просвещения». Представляете себе — какой осел! И он хочет быть начальником! Нет, это...

Тут он захлебнулся своим негодованием, а я чуть-чуть приподнял голову. Я и не подозревал, что они стоят так близко. Я бы мог плюнуть им на шляпы. Погрузившись в размышления, они уставились в землю. Начальник похлестывал себя прутиком по ноге; пронизательный его родственник поднял голову и спросил:

— Ты ни разу не болел с тех пор, как приехал из отпуска?

Тот вздрогнул:

— Кто? Я? О, я словно заколдован. Но остальные! Боже мой! Все больны. И умирают так быстро, что я не успеваю отправлять их на родину... Просто невероятно!

— Гм... так... — пробормотал дядя. — Ах, мой мальчик, на это и уповай!

Я видел, как он вытянул свою короткую, похожую на плавник руку и широким жестом указал на лес. заводь, грязь, реку, словно предательски взывал к притаившейся смерти, скрытому злу, глубокой тьме в сердце земли, обращенной к нам своим светлым солнечным ликом. Это было так жутко, что я вскочил и посмотрел на опушку леса, как будто ждал ответа на этот мрачный призыв к упованию. Вы сами знаете, какие нелепые мысли приходят иногда в голову. Но перед этими двумя людьми вставала величественная тишина, исполненная зловещего терпения, как бы дожидаящаяся конца фантасмагорического вторжения.

Они оба громко выругались — должно быть, от испуга, — затем, делая вид, что меня не замечают, направились к станции. Солнце стояло низко; они шли бок о бок и словно с трудом втаскивали на холм свои две чудовищные тени неравной длины, которые медленно волочились за ними по высокой траве, не приминая ни одной былинки.

Через несколько дней экспедиция Эльдорадо углубилась в безмолвные заросли, которые сомкнулись над ней, как смыкается море над нырнувшим пловцом. Много времени спустя пришла весть, что все ослы издохли. Мне неизвестно, какая судьба постигла менее ценных животных. Несомненно,

они, как и все мы, получили по заслугам. Справок я не наводил. В то время меня волновала надежда очень скоро увидеть Куртца. «Очень скоро» не нужно понимать буквально. Ровно через два месяца после того, как мы покинули бухту, пароход пристал к берегу ниже того места, где находилась станция Куртца.

Поднимаясь по этой реке, вы как будто возвращались к первым дням существования мира, когда растительность буйствовала на земле и властелинами были большие деревья. Пустынная река, великое молчание, непроницаемый лес. Воздух был теплый, густой, тяжелый, сонный. Не было радости в блеске солнечного света. Длинные полосы воды уходили в тьму затененных пространств. На серебристых песчаных отмелях гиппопотамы и аллигаторы грелись бок о бок на солнцепеке. Река, расширяясь, протекала среди заросших лесом островов. Здесь вы могли заблудиться, как в пустыне, и в течение целого дня наткаться на мели, пытаться найти проток. Казалось вам, будто вы заколдованы и навеки отрезаны от всего, что знали когда-то... где-то... быть может — в другой жизни. Бывали моменты, когда все прошлое вставало перед вами: это случается, когда нет у вас ни одной свободной минуты; но прошлое воплощалось в тревожном сне, о котором вы с удивлением вспоминали среди ошеломляющей реальности этого странного мира растений, воды и молчания. И в тишине этой жизни не было ничего похожего на покой. То было молчание неумолимой силы, сосредоточенной на неисповедимом замысле. Что-то мстительное было в этом молчании. Впоследствии я к нему привык и перестал обращать на него внимание, — у меня не было времени. Мне приходилось разыскивать протоки, интуитивно угадывать местонахождение мелей, высматривать подводные камни. Я научился стискивать зубы, когда судно проходило на волосок от какой-нибудь отвратительной старой коряги, которая могла отправить на дно ветхое наше корыто со всеми пилигримами. Днем я должен был выискивать сухие деревья, чтобы срубить их ночью и растопить на следующий день котлы. Когда человеку приходится уделять внимание вещам такого рода, мелочам, реальность — реальность, говорю вам — блекнет. Сокровенная истина остается скрытой — к счастью. Но все-таки я ее ощущал — безмолвную и таинственную, наблюдающую за моими обезьяньими фокусами так же точно, как наблюдает она за вами, друзья, когда вы кривляетесь — каждый на своем канате, — ради чего? Ради дешевого трюка...

— Старайтесь быть вежливым, Марлоу, — проворчал чей-то голос, и я понял, что во всяком случае еще один слушатель, кроме меня, не спит.

— Прошу прощения. Я позабыл, что наградой является сердечная

боль. И в самом деле, что нам награда, если фокус удался? Вы прекрасно проделываете свои фокусы, да и я справился недурно, ибо мне удалось не потопить судна при первом моем плавании. Этому я и по сей день удивляюсь. Представьте себе человека, который с завязанными глазами должен провести повозку по скверной дороге. Могу вам сказать, что я дрожал и обливался потом. В конце концов, для моряка непростительный грех — сорвать дно с судна, плавающего под его командой. Может, никто об этом не узнает, но вам этого не забыть. Удар в самое сердце. Вы о нем думаете, он вам снится, вы вспоминаете, просыпаясь ночью, много лет спустя, — и вас бросает то в жар, то в холод.

Я не утверждаю, что мой пароход все время плыл по воде. Не раз ему приходилось пробираться вброд, а двадцать каннибалов, барахтаясь в воде, подталкивали его. Дорогой мы завербовали этих парней в матросы. Славные ребята — каннибалы. С ними можно было работать, и о них я вспоминаю с благодарностью. В конце концов, они не поедали друг друга перед моим носом. Они прихватили с собой провизию — мясо гиппопотама, оно начало гнить, и противный запах, отравивший таинственные дебри, щекотал мне ноздри. Фу! Я и теперь еще чувствую этот аромат. На борту парохода находились начальник и три-четыре пилигрима с посохами. Иногда мы подходили к какой-нибудь станции, расположенной у самого берега, на границе с неведомым, и белые люди, выбегавшие из полуразвалившегося шалаша и жестикулировавшие радостно и удивленно, казались странными пленниками, которых удерживает здесь какое-то заклятие. Слова «слоновая кость» звенели в воздухе, а потом мы снова уходили в безмолвие, следовали за извилами реки, между высокими стенами, которые эхом отзывались на мощные удары большого колеса у кормы. Деревья, деревья, миллионы деревьев, массивных, необъятных, стремящихся ввысь; а у подножия их, придерживаясь берега, пробиралось маленькое закопченное паровое суденышко, словно ленивый жук, ползущий по полу между величественными колоннами. Вы чувствовали себя очень, маленьким покинутым, но это чувство не угнетало. В конце концов, как бы ни были вы малы, но грязный жук полз вперед, — а этого вы и добивались. Куда, по мнению? пилигримов, полз этот жук, я не знаю. Ручаюсь, что к какому-то месту, где они надеялись что-то получить. А для меня он полз к Куртцу, и только к Куртцу; но, когда паровые трубы дали течь, мы стали продвигаться очень медленно.

Лес расступался перед нами и смыкался за нашими спинами, словно деревья лениво вступали в воду, чтобы преградить нам путь назад. Все

глубже и глубже проникали мы в сердце тьмы. Здесь было очень тихо. Иногда по ночам за стеной деревьев раздавался бой барабанов и катился над рекой. До рассвета слышались слабые отголоски, словно парившие в воздухе над нашими головами. Был ли то призыв к войне, миру, молитве, — мы не могли угадать. Предвозвестниками рассвета спускались прохлада и тишина; дровосеки спали, догорали их костры; треск сучка заставлял нас вздрагивать. Мы были странниками на земле доисторических времен — на земле, которая имела вид неведомой планеты. Мы могли вообразить себя первыми людьми, завладевающими проклятым наследством, за которое нужно заплатить великими страданиями и непосильным трудом.

Но иногда за поворотом реки под тяжелой неподвижной листвой открывался вид на тростниковые стены и острые крыши из травы, слышались крики, топот, раскачивались черные тела, сверкали белки глаз, хлопали в ладоши черные руки. Пароход медленно продвигался мимо этих безумствующих и загадочных черных людей. Доисторический человек проклинал нас, молился нам, нас приветствовал... кто мог сказать? Нам недоступно было понимание окружающего; мы скользили мимо, словно призраки, удивленные и втайне испуганные, как испугался бы нормальный человек взрыва энтузиазма в сумасшедшем доме. Мы не могли понять, ибо мы были слишком далеки и не умели вспомнить; мы блуждали во мраке первых веков — тех веков, которые прошли, не оставив ни следа, ни воспоминаний.

Земля казалась не похожей на землю. Мы привыкли смотреть на скованное цепями, побежденное чудовище, но здесь... здесь вы видели существо чудовищное и свободное. Оно не походило на землю, а люди... нет, люди остались людьми. Знаете, нет ничего хуже этого подозрения, что люди остаются людьми. Оно нарастало медленно, постепенно. Они выли, прыгали, корчили страшные гримасы; но в трепет приводила вас мысль о том, что они — такие же люди, как вы, — мысль об отдаленном вашем родстве с этими дикими и страстными существами. Ужасно? Да, это было ужасно. Но если хватит у вас мужества, вы признаетесь, что жуткая откровенность этого воя пробуждает в вас слабый ответный отголосок, смутное ощущение скрытого его смысла — смысла, который может открыться вам, так далеко ушедшему от мрака первых веков. И в самом деле, разум человека на все способен, ибо он все в себя включает, как прошлое, так и будущее. В конце концов, что было в этом вое? Радость, страх, скорбь, преданность, доблесть, бешенство, — кто знает? — но истина была в нем, — истина, с которой сорвано покрывало веков.

Пусть глупец разевает рот и трепещет, но мужественный человек знает

и может смотреть без трепета. И человеческого в нем должно быть, во всяком случае, не меньше, чем в этих людях на берегу. Их правду он примет, если есть у него своя правда и врожденная сила. Принципы? Принципы не помогут. Это — оболочка, тряпки, которые слетят при первой же встряске. Нет, вам нужна разумная вера. В этом безумном вое звучит призыв. Ну что ж! Я его слышу, принимаю, но у меня тоже есть голос, и нельзя заставить меня умолкнуть. Конечно, глупец, наделенный робостью и утонченными чувствами, опасности не подвергается.

Кто там ворчит? Вы удивляетесь, почему я не сошел на берег и не принял участия в вое и пляске? Да, я этого не сделал. Утонченные чувства, скажете вы? К черту утонченные чувства! У меня не было времени. Я должен был возиться со свинцовыми белилами и полосами, оторванными от шерстяных одеял, накладывать повязки на эти протекающие трубы. Я должен был управлять судном, огибать коряги и во что бы то ни стало вести вперед наше старое корыто. Во всем этом достаточно было поверхностной реальности, чтобы спасти человека помудрее меня. А в промежутках мне приходилось следить за дикарем, исполнявшим обязанности кочегара. Это был усовершенствованный экземпляр: он умел растапливать котел. А находился он внизу, как раз подо мной. Смотреть на него было так же поучительно, как на разгуливающую на задних лапах собаку в штанах и шляпе с пером. Понадобилось всего несколько месяцев, чтобы обучить этого славного парня. Он косил глаза на манометр и водомер, всеми силами стараясь проявить свою неустрашимость, а ведь бедняга все еще носил на шее ожерелье из зубов; курчавые волосы его были выбриты так, что череп был как бы расписан узорами, и на каждой щеке красовалось по три шрама. Ему бы следовало хлопать в ладоши и плясать на берегу, а вместо этого он работал — раб, покоровшийся странному волшебству и набравшийся спасительных знаний. Он был полезен, так как его обучили. А знал он вот что: если вода в этом прозрачном сосуде исчезнет, то злой дух, обитающий в котле, почувствует великую жажду, разгневается, и страшно будет его мщение. Итак, он потел, подбрасывал дрова и с опаской следил за сосудом; экспромтом изобретенный амулет из тряпок привязан был к его руке, и плоский кусок отполированной кости величиной с карманные часы украшал его нижнюю губу. Медленно проплывали мимо лесистые берега, шумный поселок оставался позади, а мы ползли по безмолвной бесконечной реке, ползли к Куртцу. Но часто попадались коряги, обманчива и мелководна была река, а в котле как будто и в самом деле обитал угрюмый демон, и потому ни у кочегара, ни у меня не было времени предаваться размышлениям.

В пятидесяти милях ниже Внутренней станции мы увидели шалаш из камыша, меланхолический шест, на котором развевалось какое-то тряпье, некогда бывшее флагом, и аккуратно сложенную кучу дров. Для нас это было неожиданно. Мы пристали к берегу и на дровах нашли доску с полустертой надписью, сделанной карандашом. Расшифровав ее, мы прочли: «Дрова заготовлены для вас. Спешите. Подходите осторожно».

Далее следовала подпись, которую мы не могли разобрать, — во всяком случае, не «Куртц», какое-то более длинное слово. «Спешите». Куда? К верховьям реки? «Подходите осторожно». Мы не соблюдали осторожности. Но предостережение не могло относиться к тем местам, которые мы проехали. Что-то неладное было впереди. Но что? И велика ли опасность? Вот в чем вопрос. Мы сердито обсуждали нелепость такого лаконичного стиля. Заросли вокруг безмолвствовали и препятствовали нам заглянуть вдаль. Рваная занавеска из красной материи висела в дверях шалаша, уныло развеваясь перед нашими лицами. Жилище было покинуто, но, несомненно, здесь жил не так давно белый человек. В шалаше стоял грубый стол — доска на двух столбиках, в темном углу валялась куча хлама, а у двери я поднял книгу; она была без переплета, листы, захватанные пальцами, размокли и запачкались, но были любовно прошиты заново белой ниткой, еще не успевшей загрязниться. Необычайная находка! Книга называлась «Исследование некоторых вопросов по навигации» и написана была неким Тоуэром, Тоусоном или кем-то в этом роде, капитаном флота его величества. Довольно скучное произведение с диаграммами и отталкивающими столбцами цифр, изданное шестьдесят лет назад.

С величайшей нежностью обращался я с этой любопытной древностью, боясь, как бы она не рассыпалась в моих руках. На страницах книги Тоусон или Тоуэр весьма серьезно исследовал вопрос о сопротивлении материалов для судовых цепей и талей. Не очень занимательная книга, но достаточно было одного взгляда, чтобы оценить устремленность к цели, добросовестное старание правильно приступить к делу; вот почему эти скромные страницы, написанные столько лет назад, представляли не только профессиональный интерес. Простодушный старый моряк, толкующий о цепях и таях, заставил меня позабыть о зарослях и пилигримах и с восторгом почувствовать, что наконец-то попало мне в руки нечто несомненно реальное. Такая книга была удивительна сама по себе, но еще поразительнее были заметки на полях, видимо относившиеся к тексту. Я не верил своим глазам: заметки были зашифрованные! Да, эти знаки походили на шифр. Представьте себе

человека, который притащил такую книгу в эту глушь, изучал ее, делал заметки и вдобавок прибегал к шифру! Из ряда вон выходящая тайна!

Мне помешал какой-то шум; подняв глаза, я увидел, что куча дров исчезла, а начальник и все пилигримы, стоя на берегу, хором ко мне взывают. Я сунул книгу в карман. Уверяю вас, оторваться от книги мне было так же трудно, как распрощаться с верным старым другом.

Я пустил в ход искаленную машину.

— Должно быть, записку оставил этот проклятый торговец, этот пролаза! — воскликнул начальник Центральной станции, злобно оглядываясь на покинутый нами шалаш.

— Быть может, он — англичанин, — сказал я.

— Это его не спасет от беды, если он не поостережется, — мрачно пробормотал начальник.

С притворной наивностью я заметил, что в этом мире ни один человек не может почитать себя застрахованным от беды.

Здесь, в верховьях, течение было быстрее; пароход, казалось, находился при последнем издыхании; лениво разбивало воду кормовое гребное колесо, а я, затаив дыхание, прислушивался, ибо, по правде сказать, ждал с минуты на минуту, что оно остановится. Я как будто следил за последними вспышками угасающей жизни. Но все-таки мы ползли вперед. Иногда я высматривал какое-нибудь дерево впереди, чтобы измерить скорость нашего продвижения навстречу Куртцу, но неизменно терял его из виду раньше, чем мы к нему подходили. Терпения не хватало так долго смотреть на один и тот же предмет. Начальник проявлял великолепное спокойствие. Я бесновался, кипятился и рассуждал сам с собой, стоит ли мне откровенно поговорить с Куртцем. Но раньше чем я пришел к какому-либо выводу, меня осенила мысль, что и слова мои, и мое молчание, да и любой поступок не имеют, в сущности, никакого значения. Не все ли равно, что он знает и чего не знает? Не все ли равно, кто был начальником? Бывают иногда такие минуты просветления. Суть дела скрыта под поверхностью, недоступна мне, и мое вмешательство ничего не изменит.

К вечеру второго дня мы, по нашим расчетам, находились в восьми милях от станции Куртца. Я хотел продолжать путь, но начальник принял серьезный вид и сообщил мне, что плавание в этих местах сопряжено с опасностью, и так как солнце стоит низко, то лучше нам остаться здесь до утра. Кроме того, если считаться с предостережением, то благоразумнее будет подойти к станции не в сумерках и не в темноте, но при дневном свете. Это было вполне разумно. Чтобы сделать восемь миль, нам

требовалось около трех часов, а у поворота реки я мог разглядеть подозрительную рябь. Тем не менее эта отсрочка очень меня раздосадовала; безрассудная досада, ибо какое значение может иметь одна ночь после стольких месяцев?

Так как дров у нас было много, а начальник хотел соблюдать осторожность, то я бросил якорь посередине потока. Здесь река была прямая, узкая, с берегами высокими, как железнодорожные насыпи. Сумерки спустились к нам задолго до заката солнца. Быстро струилась вода, но на берегах все было неподвижно и безмолвно. Деревья, опутанные ползучими растениями, и кусты словно окаменели, и окаменела каждая веточка, каждый листик. Это был не сон, — такая неподвижность казалась неестественной, подобной трансу. Не слышно было ни единого звука. Мы удивлялись и готовы были заподозрить себя в глухоте; затем внезапно спустилась ночь и наградила нас также и слепотой. Около трех часов утра в реке всполошилась какая-то большая рыба, и от громкого плеска я подскочил, словно услышал выстрел из пушки.

Когда взошло солнце, на реке лежал белый туман, очень теплый, липкий и еще более непроницаемый, чем мрак. Он не рассеивался, он стоял вокруг, как прочная стена. Часов в восемь или девять он поднялся, как поднимается штора. Мельком увидели мы вздымающиеся к небу деревья, непроходимые заросли, маленький пылающий шар, нависший над лесом... все было неподвижно... и потом снова спустилась белая штора плавно, как по смазанным желобам. Я приказал отпустить якорную цепь, которую мы начали поднимать. Не успело замолкнуть заглушенное звяканье, когда раздался крик — громкий крик, — исполненный безграничной тоски, и медленно пронесся в густом тумане. Потом стих. Тогда поднялись жалобные вопли, дикие, негармоничные. От неожиданности волосы зашевелились у меня под фуражкой. Не знаю, какое впечатление это произвело на моих спутников; мне казалось, что туман разразился воплями, — так неожиданно раздался этот громкий и тоскливый вой, доносившийся как будто со всех сторон. Он достиг кульминационной точки, перейдя в невыносимо пронзительный визг, и оборвался внезапно, а мы застыли в нелепых позах и упорно прислушивались к молчанию, почти такому же жуткому, как эти крики.

— Боже мой! Что же это такое? — простонал под самым моим ухом один из пилигримов, маленький толстый человечек с песочными волосами и рыжими бакенбардами, облаченный в розовую пижаму, панталоны, заправленные в носки, и штиблеты на резинке. Остальные двое минуту сидели разинув рты, затем бросились в маленькую каютку и сейчас же

выскочили оттуда, испуганно озираясь по сторонам и держа наготове винчестеры. Мы могли разглядеть только пароход, очертания которого были стерты, словно он вот-вот должен был растаять, да туманную полосу воды, фута в два шириной, вокруг судна. Остального мира не было, ибо мы его не видели и не слышали. Его не было. Он исчез, растворился, и от него не осталось ни шепота, ни тени.

Я прошел на нос и приказал натянуть якорную цепь так, чтобы в случае необходимости можно было сразу поднять якорь и тронуться в путь.

— Нападут ли они? — раздался чей-то испуганный голос.

— Нас перебьют в этом тумане! — прошептал другой.

Лица подергивались от волнения, руки слегка дрожали, глаза не мигали. Любопытно было сравнивать выражение лиц белых людей и наших чернокожих матросов, которые были такими же пришельцами в верховьях реки, как и мы, хотя дома их находились на расстоянии каких-нибудь восьмисот миль отсюда. Белые выглядели не только взволнованными, но и оскорбленными таким возмутительным воем, а чернокожие были заинтересованы, держались настороже, но лица их были спокойны, и один или двое усмехались, натягивая якорную цепь. Несколько человек обменялись отрывистыми фразами, казалось разрешившими вопрос ко всеобщему удовольствию. Их главарь, молодой широкоплечий негр с раздутыми ноздрями и волосами, искусно завитыми в маслянистые колечки, стоял возле меня, задрапированный в какую-то темно-синюю материю с бахромой.

— Вот оно что! — сказал я, чтобы завязать разговор.

— Поймай их, — отозвался он, тараща налитые кровью глаза и поблескивая острыми зубами. — Поймай их. Отдай их нам.

— Вам? — переспросил я. — А что вы будете с ними делать?

— Съедем их! — коротко ответил он и, облокотившись на поручни, принял величественную позу и стал задумчиво всматриваться в туман. Несомненно, я бы ужаснулся, если б не пришло мне в голову, что он и его приятели, должно быть, очень голодны и что в продолжение последнего месяца голод их все усиливался. Они были наняты на шесть месяцев (не думаю, чтобы хоть один из них имел о времени такое же ясное представление, какое имеем мы, озирая позади себя бесчисленные века; они все еще пребывали в начале времен и не могли руководствоваться унаследованным опытом). Разумеется, поскольку контракт был составлен в соответствии с каким-нибудь шутовским законом, придуманным в низовьях реки, то никому и в голову не приходило поразмыслить о том, как они будут жить. Правда, они принесли с собой гнилое мясо гиппопотама, но его не

хватило бы надолго, даже если бы пилигримы не выкинули большую его часть за борт, вызвав возмущенный рев чернокожих матросов. Это походило на дерзкую расправу, но в действительности то была лишь мера самозащиты. Вы не можете вдыхать во сне или наяву во время еды запах гниющего гиппопотама, не рискуя расстаться при этом с жизнью.

Кроме того, чернокожие получали каждую неделю по три куска латунной проволоки — в каждом куске было около девяти дюймов; рассуждая теоретически, они должны были покупать в прибрежных деревнях провизию и расплачиваться этой ходячей монетой. Вы можете видеть, как теория оправдала себя на практике. Или деревень не было, или население встречало нас враждебно, или начальник, который так же, как и все мы, питался консервами и попадавшей иногда в наши руки старой козлятиной, не желал по непонятным мотивам останавливать пароход. Итак, мне неизвестно, какую пользу могли они извлечь из своего необычного жалованья, разве что они глотали эту проволоку или делали из нее крючки и удили рыбу. Но я должен сказать, что жалованье выплачивалось аккуратно и это делало честь крупной и почтенной торговой фирме.

Что же касается провизии, то я видел у чернокожих какие-то странные, отнюдь не съедобные на вид куски грязновато-лилового цвета, похожие на полусырое тесто; они заворачивали его в листья и иногда отщипывали по кусочку, но кусочки эти были такие маленькие, что о насыщении и речи быть не могло. Почему во имя всех гложащих демонов голода чернокожие не расправились с нами — их было тридцать, а нас пятеро — и не устроили себе хоть раз в жизни пиршества, я не понимаю и по сей день. Они были дюжими, здоровыми людьми, неспособными задумываться о последствиях, мужественными и сильными даже теперь, когда кожа их уже не лоснилась, а мускулы потеряли упругость. Я решил, что здесь мы имеем дело с каким-то сдерживающим началом — с одной из тех тайн человеческой природы, перед которой пасуют все догадки.

Я посмотрел на них с любопытством, но заинтересовало меня не то, что они в самом непродолжительном времени могли меня съесть. Впрочем, признаюсь, в ту минуту я как-то по-новому обратил внимание на болезненный вид пилигримов, втайне надеясь — да, надеясь! — что сам я выгляжу не таким... как бы это сказать?... не таким неаппетитным. Это была вспышка нелепого тщеславия, вполне гармонизировавшая с тем дремотным состоянием, в каком я пребывал все эти дни. Пожалуй, меня немного лихорадило. Человек не может жить, вечно следя за своим пульсом. Меня часто лихорадило, или то были приступы других болезней:

дикая глушь, перед тем как перейти в атаку — что и случилось впоследствии, — шутливо поглаживала меня своей лапой. Да, я смотрел на них с тем любопытством, с каким присматриваемся мы к людям; меня интересовали их импульсы, мотивы, способности, слабости, подвергнутые испытанию неумолимой физической потребностью. Обуздание! Разве могла быть речь об обуздании? Сдерживало ли их суеверие, отвращение, страх, терпение или какое-то примитивное понятие о чести? Но никакой страх не может противостоять голоду, никакое терпение не может с ним примириться, а отвращению не остается места, если мучит голод. Что же касается суеверий и так называемых принципов, то они отнюдь не надежнее соломинки, подхваченной вихрем.

Знаете ли вы муки голода, эту невыносимую пытку, знаете ли черные мысли и нарастающую ярость, какие приносит с собой голод? Я это знаю. Человеку нужны все его силы, чтобы достойно бороться с голодом. Легче вынести тяжелую утрату, бесчестье, гибель собственной души, чем такое длительное голодание. Печально, но это так! И ведь у них не было никаких оснований опасаться угрызений совести. Выдержка! С таким же успехом я мог ждать выдержки от гиены, рыскающей среди трупов по полю битвы. Но факт был налицо — факт ослепляющий, как пена на море, как проблеск неисповедимой тайны, — факт более таинственный, чем странная, необъяснимая тоска в этом диком вое, который донесся к нам с берега реки, скрытого непроницаемой белой завесой тумана.

Два пилигрима шепотом спорили о том, на каком берегу раздался крик:

— На левом.

— Нет, нет! Что вы говорите? На правом, конечно на правом!

— Положение серьезное, — раздался за моей спиной голос начальника. — Я буду в отчаянии, если что-нибудь случится с мистером Куртцем раньше, чем мы прибудем на место.

Я посмотрел на него и не усомнился в его искренности. Он был одним из тех людей, которые хотят соблюдать приличия. В этом проявлялась его выдержка. Но когда он пробормотал что-то о том, чтобы немедленно тронуться в путь, я даже не потрудился ему ответить. Я знал — и он знал, — что это невозможно. Если б мы подняли якорь, мы бы буквально заблудились в тумане. Мы бы не могли решить, куда идем — вверх или вниз по течению или же пересекаем реку, пока пароход не врезался бы в берег; да и тогда мы бы не знали, к какому берегу пристаем. Конечно, я не тронулся с места. Я не намерен был губить судно. Нельзя было придумать более странного места для кораблекрушения. Если бы пароход затонул не

сразу, мы бы все равно погибли — так или иначе.

— Я предлагаю вам идти на риск, — сказал он, помолчав.

— Я отказываюсь рисковать, — коротко ответил я. Этого ответа он ждал, хотя мой тон мог его удивить.

— В таком случае я должен положиться на ваше суждение. Вы — капитан, — произнес он с подчеркнутой вежливостью.

Я повернулся к нему боком и стал всматриваться в туман. Сколько времени это еще протянется? Туман нимало меня не обнадежил. Приближение к Куртцу, добывающему слоновую кость в этих проклятых зарослях, было сопряжено с такими опасностями, словно мы ехали к зачарованной принцессе, спящей в сказочном замке.

— Как вы думаете, нападут ли они? — конфиденциально спросил начальник.

По многим основаниям я считал, что они не нападут. Одним из этих оснований был густой туман. Если они отчалиют от берега в своих каноэ, они заблудятся в тумане, как заблудились бы и мы, если б сдвинулись с Места. Затем заросли по берегам реки казались мне непроницаемыми... хотя они имели глаза — глаза, которые нас видели. Прибрежные кусты, несомненно, были непроходимы, но сквозь джунгли, тянувшиеся за ними, по-видимому, можно было пробраться. Однако в течение того короткого промежутка времени, когда туман рассеялся, я убедился, что никаких каноэ поблизости не видно; во всяком случае, их не было около парохода. Главная же причина, по которой я считал нападение невозможным, заключалась в самом характере криков. То не был свирепый вой, предвещающий враждебное наступление. В этих диких пронзительных воплях мне слышалась безграничная скорбь. Казалось, вид парохода почему-то преисполнил дикарей безысходной тоской. Опасность, объяснял я, заключается в том, что по соседству от нас находятся люди, захваченные великой страстью. Даже скорбь Может в конце концов перейти в ярость, хотя обычно она переходит в апатию.

Если б вы видели, как таращили глаза пилигримы! У них не хватало духу высмеять или хотя бы обругать меня, но, думаю, они порешили, что я сошел с ума — от страха, быть может. Я им прочел целую лекцию. Друзья мои, что мне было делать? Держаться настороже? Ну что ж, я следил за туманом, как кошка следит за мышью; но теперь глаза нам были так же не нужны, как если бы мы оказались погребенными под горой ваты. И туман был похож на вату — удушливый, теплый. Кроме того, все, что я сказал, было абсолютно правильно, хотя и звучало нелепо. То, о чем впоследствии мы говорили как о нападении, было по существу лишь попыткой отразить

наступление. Ничего враждебного в этой попытке не было; она была сделана людьми, доведенными до отчаяния, и носила характер оборонительный.

Это произошло в полутора милях от станции Куртца, через два часа после того, как рассеялся туман. Мы повернули по реке, когда я увидел на середине течения маленький островок — холмик, поросший ярко-зеленой травой. Когда мы подошли ближе, я разглядел, что от холмика тянется длинная песчаная коса, или, вернее, цепь островков, бесцветных и едва поднимающихся над водой; все они были связаны подводной мелью, тянувшейся по середине потока; эта мель видна была под водой так же, как виден под кожей позвоночный столб человека. Теперь я мог идти направо или налево отмели. Я не знал, какой проход избрать. Глубина, казалось, была одинакова, и берега ничем не отличались; но так как меня предупредили, что станция находится на западном берегу, то я, естественно, повел судно в западный пролив.

Не успели мы войти в него, как я заметил, что он значительно уже, чем я предполагал. Слева тянулась длинная мель, а справа высокий крутой берег, заросший кустами. Над кустарником рядами вздымались деревья. Ветви нависли над рекой, и кое-где дерево протягивало с берега гигантский сук. День клонился к вечеру, пасмурным казался лес, и широкая полоса тени уже легла на воду. В этой тени мы очень медленно продвигались вперед. Я вел судно, придерживаясь берега; здесь было глубже, как показал шест для измерения глубины.

Один из моих голодных и терпеливых друзей негров измерял глубину, стоя на носу как раз подо мною. Этот пароход походил на палубное плоскодонное судно. На палубе находились два домика из тикового дерева с дверями и окнами. Котел помещался на носу, а машины — на корме. Над всей палубой тянулась легкая крыша на столбах. Труба проходила через эту крышу, а перед трубой возвышалось маленькое дощатое строение, служившее рулевой рубкой. Здесь помещался штурвал, кушетка, два складных стула, крохотный столик и заряженная мортира, прислоненная в углу. Дверь выходила на нос; справа и слева были широкие ставни, никогда не закрывавшиеся. Целые дни я проводил на самом конце крыши перед дверью. Ночью спал или пытался спать на кушетке. Атлетический негр из какого-то берегового племени, обученный бедным моим предшественником, исполнял обязанности рулевого. Он носил медные серьги и обертывал себе бедра куском голубой материи, спускавшимся до лодыжек. О себе он был самого высокого мнения. Я его считал самым ветреным дураком, какого мне когда-либо приходилось видеть. При вас он

с самонадеянным видом управлял рулем, но стоило вам уйти, как он пугался и наш калека пароход мог в одну минуту одержать над ним верх.

Я смотрел вниз, на шест для измерения глубины, с досадой отмечая, что река все мелеет, как вдруг мой негр, не потрудившись втащить шест, плашмя растягивается на палубе. Однако шеста он из рук не выпустил, и шест волочился по воде. В то же время кочегар, которого я тоже мог видеть с крыши, внезапно уселся перед своей топкой и втянул голову в плечи. Я удивился и бросил взгляд на реку, так как нам предстояло обогнуть корягу. Палочки, маленькие палочки летали в воздухе; их было много; они свистели перед самым моим носом, падали к моим ногам, ударялись о стенки рулевой рубки за моей спиной. А в это время на реке, на берегу в кустах было тихо — полная тишина. Я слышал только тяжелые удары колеса на корме да постукивание падающих палочек. Неуклюже обогнули мы корягу. Стрелы, клянусь Богом, стрелы! Нас обстреливали! Я поспешно вошел в рубку, чтобы закрыть ставень со стороны берега. Этот дурак рулевой, держа руки на штурвале, приплясывал и жевал губами, словно взнузданная лошадь. Черт бы его побрал! А мы тащились в десяти футах от берега.

Мне пришлось высунуться, чтобы закрыть тяжелый ставень, и я увидел в листве лицо на уровне с моим лицом и глаза, злобно на меня смотревшие в упор; и вдруг словно кто-то снял пелену, застилавшую мне зрение, и я разглядел в полутьме среди переплетенных ветвей обнаженные торсы, руки, ноги, сверкающие глаза — в кустах кишели человеческие тела бронзового цвета. Ветки дрожали, раскачивались, трещали, стрелы вылетали из кустов. Я закрыл ставень.

— Держи прямо, — сказал я рулевому. Не поворачивая головы, он смотрел вперед, но глаза его были вытаращены, он потихоньку притопывал, и на губах у него выступила пена.

— Стой смирно! — крикнул я в бешенстве. Но с таким же успехом я мог приказать дереву не раскачиваться под ветром. Я выскочил из рубки. Внизу люди бегали по железной палубе; слышались заглушенные восклицания; кто-то взвизгнул:

— Нельзя ли повернуть назад?

Впереди я заметил рябь на воде. Как! Еще одна коряга! Под моими ногами началась стрельба. Пилигримы пустили в ход свои винчестеры и попусту швыряли свинец в кусты. Поднялось облако дыма и медленно поползло вперед. Я выругался. Теперь я не мог разглядеть ни ряби, ни коряги. Я стоял, выглядывая из-за двери, а стрелы летели тучами. Быть может, эти стрелы были отравлены, но, казалось, они не убили бы и кошки.

В кустах поднялся вой. Наши дровосеки отвечали воинственным гиканьем. Ружейный выстрел раздался за моей спиной и оглушил меня. Я оглянулся через плечо; в рубке дым еще не рассеялся, когда я бросился к штурвалу. Оказывается, негр сорвался с места, открыл ставень и выстрелил из мортиры. Тараща глаза, он стоял перед широким отверстием, а я кричал на него, выпрямляя уклонившийся в сторону пароход. Здесь негде было повернуть, даже если бы я и намеревался это сделать; где-то впереди, очень близко от нас, скрывалась в проклятом дыму коряга. Времени нельзя было терять, и я подвел пароход к самому берегу — туда, где, как я знал, было глубоко.

Медленно ползли мы мимо нависших кустов под сыпавшимися на нас листьями и сломанными ветками. Внизу обстрел прекратился. Я откинул голову, когда со свистом мелькнула стрела, влетевшая в одно окно рубки и вылетевшая в другое. Глядя из-за плеча этого сумасшедшего рулевого, который орал, потрясая разряженным ружьем, я различил неясные фигуры людей; они бежали, сгорбившись, скользили и прыгали. Что-то большое показалось перед ставнем, ружье полетело за борт, а человек отступил назад, глянул на меня через плечо странным глубоким взглядом и упал к моим ногам. Головой он два раза ударился о штурвал, а конец какой-то длинной трости стукнул и опрокинул маленький складной стул. Похоже было на то, что негр, вырвав эту трость из рук человека на берегу, потерял равновесие и упал. Тонкий дымок рассеялся, коряга осталась позади, и, глядя вперед, я убедился, что через сотню ярдов можно будет отвести пароход подальше от берега.

Вдруг я почувствовал, что стою на чем-то очень теплом и мокром, и посмотрел вниз. Человек перевернулся на спину и смотрел прямо на меня; обеими руками он сжимал эту трость. Но то была не трость, а древко копья; брошенное в окно рубки, копьё вонзилось ему в бок под ребрами до самого древка, и на боку зияла страшная рана; мои ботинки были полны крови, под штурвалом виднелась блестящая темно-красная лужа. Его глаза светились странным лучистым светом. Внизу снова началась ружейная стрельба. Он смотрел на меня с тревогой, сжимал копьё, словно какую-то драгоценность, и как будто боялся, что я попытаюсь отнять ее у него.

Я должен был сделать над собой усилие, чтобы оторвать от него взгляд и следить за штурвалом. Одной рукой я нащупал над головой веревку и торопливо дал два свистка один за другим. Мгновенно смолкли злобные и воинственные крики, и тогда из глубины лесов донесся протяжный вибрирующий стон, исполненный такого ужаса, тоски и отчаяния, что казалось, последняя надежда покидала землю. В кустах поднялась

суматоха, град стрел прекратился, еще несколько выстрелов — и спустилось молчание. Я снова отчетливо услышал медленные удары колеса. В тот момент, когда я круто поворачивал руль направо, в дверях показался пилигрим в розовой пижаме, взволнованный и разгоряченный.

— Начальник послал меня... — начал он официальным тоном и вдруг запнулся. — Боже мой! — воскликнул он, заметив раненого.

Мы, двое белых, стояли над ним, а он смотрел на нас обоих своими лучистыми вопрошающими глазами. Уверяю вас, он как будто собирался задать нам какой-то вопрос на непонятном языке; но он умер, не произнеся ни слова, не дрогнув, не шелохнувшись. Только в самую последнюю минуту, словно в ответ на какой-то невидимый нам знак или шепот, который мы не могли услышать, он сдвинул брови и его черное мертвое лицо стало угрюмым, задумчивым и грозным. Лучистые вопрошающие глаза угасли, стали стеклянными.

— Умеете вы править рулем? — нетерпеливо спросил я агента. Он, видимо, сомневался, но я схватил его за руку, и он сразу понял, что никакие возражения не помогут. По правде сказать, я горел нетерпением переодеть ботинки и носки.

— Он умер, — прошептал расстроенный пилигрим.

— Несомненно, — сказал я, дергая как сумасшедший шнурки ботинок. — И полагаю, что и мистера Куртца уже нет в живых.

В тот момент меня преследовала эта мысль. Я был страшно разочарован, как будто мне открылось, что все это время я стремился к чему-то призрачному. Большого разочарования я бы не мог испытать, если бы прошел весь этот путь с единственной целью поговорить с мистером Куртцем. Поговорить с ним... Я швырнул ботинок за борт, и тут меня осенила мысль, что именно к этому-то я и стремился — к беседе с Куртцем. Я сделал страшное открытие: этого человека я никогда не представлял себе, так сказать, действующим, но только — разговаривающим. Я не говорил себе: «Теперь я никогда его не увижу» или «теперь я не могу пожать ему руку», но — «теперь я никогда его не услышу». Думая об этом человеке, я думал о его голосе. Конечно, с ним связаны были известные поступки. Разве не твердили мне со всех сторон с восхищением и завистью, что он собрал, выменял, выманил или украл слоновой кости больше, чем все агенты, вместе взятые? Но не в этом была суть. Дело в том, что он был одаренным существом, и из всех его талантов подлинно реальной была его способность говорить — дар слова, дар ошеломляющий и просветляющий, самый возвышенный и самый презренный, пульсирующая струя света или обманчивый поток из сердца непроницаемой тьмы.

Второй ботинок полетел в эту проклятую реку. «Черт возьми! — подумал я. — Все кончено. Мы опоздали. Он исчез, и дар его исчез. Он убит копьем, стрелой или дубиной. В конце концов я так и не услышу, как говорил этот парень...» В моем отчаянии было что-то похожее на безграничную скорбь, какая слышалась в вое этих дикарей в кустах. Я почувствовал такое уныние и одиночество, словно у меня отняли веру или я не оправдал своего назначения в жизни...

Кто это там так глубоко вздыхает? Что вы говорите? Нелепо? Ну что ж! Пусть — нелепо. Боже мой! Неужели человек не может... Послушайте, дайте-ка мне табаку.

Спустилось глубокое молчание, потом вспыхнула спичка и осветила худое измученное лицо Марлоу, изборожденное вертикальными складками; веки были опущены, вид у него был внимательный и сосредоточенный. Он энергично раскуривал трубку. Крохотное пламя колебалось, а лицо то приближалось, то отступало в ночь. Спичка потухла.

— Нелепо! — воскликнул он. — Что толку рассказывать!.. Здесь у каждого из вас имеется по два адреса, вы прочно ошвартованы, словно судно, стоящее на двух якорях; вы знаете, что за одним углом находится мясник, а за другим — полисмен; аппетит у вас превосходный и температура нормальная... Понимаете?.. нормальная с начала до конца года. А вы говорите — нелепо!.. К черту нелепость! Друзья мои, чего ждать от человека, который так нервничает, что выбрасывает за борт пару новых ботинок? Теперь меня удивляет, как я тогда не пролил слез. Честное слово, я горжусь своей выдержкой. Меня больно задела мысль, что я лишился великой привилегии послушать этого одаренного Куртца. Конечно, я ошибался. Привилегия ждала меня. О да! Я услышал больше, чем было нужно. И я был прав, думая о его голосе. Голос — вот самое существенное, что у него осталось. И я услышал его — этот голос — и другие голоса; а воспоминание об этом времени витает вокруг меня, неосязаемое, как замирающий отголосок болтовни глупой, жестокой, непристойной, дикой или просто подлой и лишенной какого бы то ни было смысла. Голоса, голоса... и даже сама девушка...

Марлоу долго молчал.

— Призрак я заклил в конце концов ложью, — начал он внезапно. — Девушка! Как? Я упомянул о девушке? О, она в этом не участвует. Они —

женщины, хочу я сказать, — стоят в стороне и должны стоять в стороне. Мы должны помочь им в их прекрасном мире, чтобы наш мир не сделался еще хуже. О да, ей суждено было остаться в стороне. Если б вы слышали, как мистер Куртц — этот вырытый из земли труп — говорил: «Моя нареченная». Тогда вы бы поняли, что ей нет места в его мире. Высокий лоб мистера Куртца! Говорят, волосы иногда продолжают расти после смерти, но этот... гм... субъект был поразительно лыс. Дикая глушь погладила его по голове, и — смотрите! — голова его уподобилась шару — шару из слоновой кости. Глушь его приласкала, и — о чудо! — он зачах. Она его приняла, полюбила, проникла в его вены, в его плоть, наложила свою печать на его душу, проделала над ним какие-то дьявольские церемонии посвящения. Он был ее избалованным и изнеженным фаворитом. Слоновая кость? Ну еще бы! Груды слоновой кости. Старая хижина из глины была битком набита. Можно было подумать, что во всей стране не осталось ни одного бивня в земле и на земле. «Все больше ископаемые», — презрительно заметил начальник. Но с таким же успехом можно и меня считать ископаемым. Ископаемой они называли слоновую кость, вырытую из земли. Оказывается, эти негры иногда зарывают бивни в землю, но, видимо, им не удалось зарыть их достаточно глубоко, чтобы спасти одаренного мистера Куртца от его судьбы.

Мы погрузили бивни на пароход, и целая гора лежала на палубе. Таким образом, Куртц мог смотреть и наслаждаться, так как способность оценки не покидала его до последней минуты. Слыхали б вы, как он говорил: «Моя слоновая кость!» О, я его слышал! «Моя нареченная, моя слоновая кость, моя станция, моя река, мое...» Все принадлежало ему. Затаив дыхание, я ждал, что глушь разразится жутким раскатистым смехом, от которого звезды содрогнутся на небе. Все принадлежало ему, но суть была не в этом. Важно было знать, кому принадлежал он, какие силы тьмы предъявляли на него свои права. От этих размышлений мурашки пробежали по спине. Невозможно — и опасно — было выводить заключение. Он занимал высокий пост среди демонов той страны — я говорю не иносказательно.

Вы не можете это понять. Да и как вам понять? Под вашими ногами прочная мостовая, вы окружены добрыми соседями, которые готовы вас развеселить или, деликатно проскользнув между мясником и полисменом, наброситься на вас, охваченные священным ужасом перед скандалом, виселицей и сумасшедшим домом. Как же можете вы себе представить, в какую тьму первобытных веков забредет свободный человек, вступивший на путь одиночества — полного одиночества, без полисмена, — на путь

молчания, полного молчания, когда не слышно предостерегающего голоса доброго соседа, который нашептывает вам об общественном мнении? Все эти мелочи и составляют великую разницу. Когда их нет, вы должны опираться на самого себя, на свою собственную силу и способность соблюдать верность. Конечно, вы можете оказаться слишком глупым, чтобы сбиться с пути, слишком тупым, чтобы заметить обрушившиеся на вас силы тьмы. Я считаю, что никогда ни один глупец не продавал своей души черту: либо глупец оказался слишком глупым, либо в черте было слишком много чертовщины.

Или, быть может, вы относитесь к категории тех экзальтированных созданий, которые глухи и слепы ко всему, кроме небесных знамений и звуков. Тогда земля для вас — лишь случайное пристанище, и я не берусь сказать, выигрываете ли вы от этого или проигрываете. Но к большинству из нас все эти определения не подходят. Для нас земля — место, где мы живем, где мы должны мириться со всеми звуками, образами и запахами. Да, черт возьми, мы должны вдыхать запах гниющего гиппопотама и не поддаваться заразе. И тогда на сцену выступает наша выносливость, вера в нашу способность закопать это гниющее тело и наша преданность — преданность не себе, но непосильному темному делу. И это не очень-то легко.

Поймите, я не пытаюсь что-либо изменить или объяснить — я хочу понять, понять мистера Куртца или тень мистера Куртца. Этот посвященный в таинства призрак из Ниоткуда, перед тем как окончательно исчезнуть, удостоил меня поразительными признаниями. Объясняется это тем, что он мог говорить со мной по-английски. Образование Куртц получил главным образом в Англии, и — как он сам соизволил сказать — эта страна достойна его привязанности. Его мать была наполовину англичанкой, отец — наполовину французом. Вся Европа участвовала в создании Куртца. Как я со временем узнал, «Международное общество по просвещению дикарей» поручило ему написать отчет, каковым можно было бы руководствоваться в дальнейшей работе. И он этот отчет написал. Я его видел, читал. Отчет красноречивый, но, сказал бы я, написанный на высоких нотах. Он нашел время исписать мелким почерком семнадцать страниц! Но должно быть, это было им написано до того, как... ну, скажем, нервы его расходились и побудили мистера Куртца председательствовать во время полунощной пляски, закончившейся невероятными церемониальными обрядами. Впоследствии я, к досаде своей, разузнал, что обряды эти совершались в честь его... вы понимаете? в честь самого мистера Куртца.

Но статья была прекрасная. Впрочем, теперь, когда сведения мои пополнились, вступление к статье кажется мне зловещим. Куртц развивал ту мысль, что мы, белые, достигшие известной степени развития, «должны казаться им (дикарям) существами сверхъестественными. Мы к ним приходим могущественными, словно боги» — и так далее и так далее. «Тренируя нашу волю, мы можем добиться власти неограниченной и благотворной...» Начиная с этого места он воспарил и прихватил меня с собой. Заключительные фразы были великолепны, но трудно поддавались запоминанию. У нас сохранилось впечатление о мире экзотическом, необъятном, управляемом могущественной благой силой. Я преисполнился энтузиазма. Такова неограниченная власть красноречия — пламенных, благородных слов.

Никакие практические указания не врывались в магический поток фраз, и только в конце последней страницы — видимо, спустя большой промежуток времени — была нацарапана нетвердой рукой заметка, которую можно рассматривать как изложение метода. Она очень проста, и, после трогательного призыва ко всем альтруистическим чувствам, она вас ослепляет и устрашает, как вспышка молнии в ясном небе: «Истребляйте всех скотов!» Любопытно то, что он, видимо, позабыл об этом многозначительном постскриптуме, ибо позднее, придя, так сказать, в себя, настойчиво умолял меня хранить «памфлет» (так называл он свою статью), который должен был благоприятно отразиться на его карьере. Обо всем этом у меня имелись точные сведения, а в будущем мне пришлось позаботиться и о его добром имени. Я достаточно об этом позаботился — и потому, если бы захотел, имел полное право бросить этот памфлет в мусорную кучу прогресса — туда, где, фигурально выражаясь, покоятся все дохлые кошки цивилизации. Но, видите ли, у меня не было выбора. Мистера Куртца нельзя было забыть, так как он, во всяком случае, человек незаурядный. Он имел власть чаровать или устрашать первобытные души дикарей, которые в его честь совершали колдовскую пляску; он умел вселить злобные опасения в маленькие душонки пилигримов; он приобрел, во всяком случае, одного преданного друга, и он завоевал одну душу в мире, отнюдь не первобытную и не зараженную самоанализом.

Да, я не могу его забыть, хотя и не собираюсь утверждать, что он стоил того человека, которого мы потеряли, чтобы до него добраться. Мне не хватало моего погибшего рулевого; я остро ощущал его отсутствие даже в тот момент, когда тело его еще лежало в рулевой рубке. Пожалуй, вам покажется странным это сожаление о дикаре, который имел не больше значения, чем песчинка в черной Сахаре. Но поймите, он что-то делал, он

правил рулем. В течение многих дней он стоял за моей спиной — мой помощник, мое орудие. Это было своего рода товарищество. Он правил за меня — я следил за ним. Меня тревожили его недостатки, и вот протянулась между нами тонкая нить, которую я заметил лишь тогда, когда она внезапно оборвалась. А глубокий задушевный взгляд, какой он на меня бросил, когда ему нанесли удар... я помню по сей день как утверждение далекого родства.

Бедняга! Если б только он не трогал этого ставня! У него не было выдержки — как не было ее у Куртца... Дерево, раскачиваемое ветром... Надев сухие туфли, я вытащил его из рубки. Предварительно я вырвал у него из бока копье, причем, признаюсь, эту операцию я произвел с закрытыми глазами. Его пятки очутились за порогом; плечи его я прижимал к своей груди. Я обнял его сзади и тащил. О, каким он был тяжелым! Мне он казался тяжелее любого человека на земле. Затем, не теряя времени, я спустил его за борт. Течение его подхватило, словно он был пучок травы; я видел, как тело два раза перевернулось и скрылось навеки.

Все пилигримы и начальник собрались на верхней палубе около рулевой рубки и трещали, словно стая взволнованных сорок; возмущенным шепотом отозвались они на мой бессердечный поступок. Зачем было им оставлять здесь это тело — я не могу догадаться. Быть может, они собирались его набальзамировать. Но с нижней палубы донесся до меня шепот — зловещий шепот. Мои друзья дровосеки также были скандализированы, и не без причины, но, признаюсь, их расчеты казались мне недопустимыми. Я решил, что если моему покойному рулевому суждено быть съеденным, то пусть его съедят одни рыбы. При жизни он был посредственным рулевым, а после смерти мог сделаться первоклассным искусителем и, пожалуй, вызвать серьезное волнение. Кроме того, я хотел поскорее занять место у штурвала, так как парень в розовой пижаме оказался безнадежным идиотом.

Покончив с несложными похоронами, я поспешил его сменить. Мы шли тихим ходом, придерживаясь середины реки, и я прислушивался к разговорам, какие велись вокруг меня. Пилигримы потеряли надежду увидеть Куртца, увидеть станцию. Куртц умер, станция сожжена. Рыжеволосый пилигрим радовался, что бедняга Куртц во всяком случае отомщен.

— Послушайте, ведь мы их здорово отделали, когда стреляли по кустам? А? Как вы думаете? Скажите?

Он буквально приплясывал — этот кровожадный рыжий человечек! А ведь он едва не упал в обморок, увидев раненого. Я не выдержал и сказал:

— Во всяком случае, дыму вы много напустили. Я видел по тому, как шелестели верхушки кустов, что все пули летели слишком высоко. — Нужно прицеливаться и держать ружье у плеча, а эти парни держали ружья у бедра и стреляли зажмурившись. Отступление, утверждал я — и не ошибался, — было вызвано пронзительным свистком парохода. Тут они позабыли о Куртце и негодуя запротестовали.

Начальник стоял у штурвала и конфиденциально шептал мне, что до наступления темноты мы должны спуститься по реке и убраться подальше от этих мест. Вдруг я увидел вдали просеку на берегу реки и контуры какого-то строения.

— Что это? — спросил я.

Изумленный, он захлопал в ладоши и крикнул:

— Станция!

Не прибавляя ходу, я тотчас же повернул к берегу.

В бинокль я увидел отдельные деревья на склоне холма, очищенного от кустарника. Длинное разваливающееся строение на вершине было почти скрыто высокой травой; издали видны были большие черные дыры, зиявшие в остроконечной крыше. Фоном служили заросли и лес. Я не заметил никакой изгороди, но, очевидно, раньше она здесь была, так как перед домом вытянулись в ряд шесть тонких столбов, грубо обструганных и украшенных круглыми шарами. Перекладин между ними не было. Конечно, лес обступал просеку. Берег был расчищен, и у самой воды я увидел белого человека в шляпе, похожей на колесо, который настойчиво махал нам рукой. Вглядываясь в опушку леса, я почти с уверенностью мог сказать, что там мелькали какие-то человеческие фигуры. Я осторожно провел пароход дальше, затем остановил машины; судно слегка отнесло течением назад. Человек на берегу начал кричать, предлагая нам пристать к берегу.

— На нас было нападение! — завопил начальник.

— Знаю, знаю. Все в порядке! — беззаботно заорал в ответ человек с берега. — Причаливайте. Все в порядке. Я очень рад.

Глядя на него, я стал припоминать что-то очень забавное, где-то мною виденное. Маневрируя, чтобы подойти к берегу, я задавал себе вопрос: «На кого похож этот парень?» И вдруг вспомнил: он был похож на арлекина. Его костюм — кажется, из небеленого холста — был сплошь покрыт заплатами, яркими заплатами — синими, красными и желтыми; заплаты красовались спереди, сзади, на локтях, на коленях; цветная полоса опоясывала куртку, алой материей был обшит низ брюк. Освещенный солнцем, он казался удивительно пестрым и в то же время очень опрятным,

так как вы могли разглядеть, с какой аккуратностью нашиты все эти заплаты. Белокурый; безбородое мальчишеское лицо; ни одной резкой черты; маленькие голубые глазки; нос, с которого почти облупилась кожа; улыбки и гримасы, гонявшиеся друг за другом по открытому лицу, как гоняются солнечные блики и тени по равнине, обвеваемой ветром.

— Осторожнее, капитан! — крикнул он. — Здесь затонула прошлой ночью коряга.

Как? Еще одна коряга! Признаюсь, я непристойно выругался. К концу нашего восхитительного путешествия я едва не продырявил свое искалеченное судно. Арлекин, стоявший на берегу, повернул ко мне свой приплюснутый носик.

— Вы англичанин? — крикнул он, расплываясь в улыбке.

— А вы? — откликнулся я, стоя у штурвала. Улыбка сбежала с его лица, и он покачал головой, как бы огорченный моим разочарованием; потом снова просиял.

— Ну ничего! — ободряюще крикнул он.

— Не опоздали мы? — спросил я.

— Он там, наверху, — ответил тот, мотнув головой в сторону холма и внезапно погружаясь в уныние. Его лицо напоминало осеннее небо — то пасмурное, то залитое солнечным светом.

Когда начальник в сопровождении вооруженных до зубов пилигримов сошел на берег и направился к дому, арлекин явился ко мне на борт.

— Послушайте, мне это не нравится, — сказал я, — туземцы бродят там в кустах.

Он торжественно меня уверил, что все обстоит благополучно, а затем добавил:

— Они — люди простые. Я рад, что вы приехали. Нелегко мне было с ними справиться.

— Но вы говорите, что все обстоит благополучно! — воскликнул я.

— О, у них не было злого умысла, — сказал он, а когда я вытаращил глаза, он поправился: — Да, в сущности, не было. — Потом быстро добавил: — Ах, Боже мой, вашу рулевую рубку не мешает почистить!

Через секунду он уже советовал мне поддерживать пар в котле, чтобы в случае тревоги дать свисток.

— Один свисток произведет большее впечатление, чем все ваши ружья. Они — люди простые, — повторил он.

Он говорил так быстро, что совершенно меня ошеломил. Казалось, он хотел наверстать потерянное время, и так оно и было, — он сам со смехом на это намекнул.

— Разве вы не разговариваете с мистером Куртцем? — спросил я.

— С этим человеком не разговаривают — его слушают! — воскликнул он восторженно и строго. — Но теперь...

Он махнул рукой и мгновенно погрузился в самую бездну отчаяния. Через секунду он уже оттуда выкарабкался, завладел обеими моими руками и не переставая их трясти, забормотал:

— Брат моряк... честь... удовольствие... наслаждение... разрешите представиться... русский... сын архиерея... Тамбовской губернии... Что? Табак! Английский табак! Превосходный английский табак! Вот это по-братски. Курю ли? Где вы найдете моряка, который не курит?

Трубка его успокоила, и вскоре я узнал, что он убежал из школы, ушел в море на русском судне, снова убежал, одно время служил на английских судах и теперь примирился с архиереем. Этот пункт он подчеркнул.

— Но когда человек молод, он должен видеть мир, набираться новых впечатлений, идей, расширять свои кругозор...

— Здесь! — перебил я.

— Как можно знать заранее? Здесь я встретил мистера Куртца, — сказал он укоризненно и с юношеской торжественностью.

Я прикусил язык. Выяснилось, что он убедил представителя одной голландской фирмы на побережье снабдить его товарами и провиантом и потом отправился в глубь страны с легким сердцем и как младенец, не ведая того, что ждет его впереди. Около двух лет он странствовал по берегам этой реки, одинокий, отрезанный от всего и от всех.

— Я не так молод, как кажется. Мне двадцать пять лет, — сказал он. — Сначала старик Ван-Шьютен хотел послать меня к черту, — рассказывал он, от души забавляясь, — но я к нему пристал и говорил, говорил без конца, так что он наконец испугался, как бы я не заговорил зубы его любимой собаке. Тогда он мне дал дешевых товаров и несколько ружей и выразил надежду, что никогда больше не увидит моей физиономии. Славный старик голландец этот Ван-Шьютен. Год назад я ему послал немного слоновой кости, так что он не сможет назвать меня вором, когда я вернусь. Надеюсь, он ее получил. А больше я ни о чем не беспокоюсь. Я заготовил для вас дров. Там было мое старое жилище. Вы видели?

Я передал ему книгу Тоусона. Казалось, он хотел меня поцеловать, но удержался.

— Единственная книга, которую я оставил. А я-то думал, что потерял ее, — сказал он, смотря на нее словно в экстазе. — Столько, знаете ли, происшествий случается с человеком, который путешествует в одиночестве! Иногда каноэ переворачиваются, а иногда приходится

поскорей удирать, если туземцы рассердятся.

Он перелистывал книгу.

— Вы делали заметки на русском языке? — спросил я. Он кивнул головой.

— Я думал, что это какой-то шифр, — сказал я. Он рассмеялся, потом сразу сделался серьезным и проговорил:

— Вы не знаете, как мне было трудно справиться с туземцами.

— Они хотели вас убить? — спросил я.

— О нет! — воскликнул он и умолк.

— Почему они на нас напали? — продолжал я. Он замялся, потом сконфуженно сказал:

— Они не хотят, чтобы он уехал.

— Не хотят? — с любопытством переспросил я. Он кивнул таинственно и многозначительно.

— Говорю вам, этот человек расширил мой кругозор! — воскликнул он и широко раскинул руки, глядя на меня своими круглыми голубыми глазками.

III

Я смотрел на него с изумлением. Он стоял передо мной в своем пестром костюме, восторженный, фантастический, словно удрал из труппы мимов. Самое его существование казалось невероятным, необъяснимым, сбивающим с толку. Он был загадкой, не поддающейся разрешению. Непонятно, чем он жил, как удалось ему забраться так далеко, как ухитрился он остаться здесь и почему не погиб.

— Я отправился в путь, — сказал он, — забирался понемногу все дальше и дальше и наконец зашел так далеко, что не знаю, как я вернусь назад. Ну ничего! Времени много. Выживу. А вы увезите Куртца. И поскорей, поскорей, говорю вам.

Юношеская сила чувствовалась в этом человеке в пестрых лохмотьях, нищем, покинутом, одиноком в его бесплодных исканиях. В течение многих месяцев, в течение нескольких лет жизнь его висела на волоске, но он продолжал жить, безумный и, по-видимому, бессмертный, благодаря своей молодости и безрассудной смелости. Я почувствовал что-то похожее на восхищение и зависть. Чары увлекали его вперед, спасали от гибели. От дикой глуши он не требовал ничего, кроме возможности дышать и пробиваться дальше. Ему нужно было жить и идти вперед, подвергая себя величайшему риску и лишениям. Если чистый, бескорыстный, непрактичный дух авантюризма управлял когда-либо каким-нибудь человеком, то, несомненно, этим человеком был мой заплатанный юнец. Я готов был позавидовать ему, горевшему этим скромным и ясным пламенем. Казалось, пламя поглотило всякую себялюбивую мысль, и, когда он говорил, вы забывали, что он сам, стоящий перед вами, прошел через все эти испытания. Однако я не завидовал его преданности Куртцу. О ней он не размышлял — он ее принял с каким-то страстным фатализмом. Должен сказать, мне эта преданность казалась значительно опаснее всего того, через что он уже прошел.

Встреча их была неизбежна, как встреча двух судов, вместе застигнутых штилем и наконец соприкоснувшихся бортами. Думаю, Куртц нуждался в слушателе, ибо случилось так, что, расположившись лагерем в лесу, они беседовали всю ночь, или — вернее — говорил один Куртц.

— Мы говорили обо всем, — с восторгом сообщил мне молодой человек. — Я позабыл о сне. Ночь пролетела, как один час. Обо всем! Обо всем!.. И о любви.

— А, он говорил с вами о любви! — сказал я, от души забавляясь.

— Не о той любви, о какой вы думаете! — страстно воскликнул он. — О любви вообще. Он показал мне мир — мир!

Он воздел руки к небу. В тот момент мы находились на палубе, и старшина моих дровосеков, бродивший поблизости, посмотрел на него своими мрачными сверкающими глазами. Я огляделся по сторонам, и — уверяю вас — никогда еще не казались мне эта страна, эта река, заросли, ослепительный купол неба такими безнадежными и сумрачными, непроницаемыми для человеческой мысли и безжалостными к человеческой слабости.

— И с тех пор вы, конечно, всегда были с ним? — спросил я.

Я ошибался. Оказывается, они по многим причинам очень часто разлучались. Мой собеседник с гордостью сообщил, что ему удалось выходить Куртца, когда тот два раза был болен (казалось, свой поступок он считал каким-то рискованным подвигом), но обычно Куртц скитался один, забираясь в самые дебри лесов.

— Очень часто я являлся на станцию и должен был несколько дней ждать его возвращения, — сказал он. — Ах, этого стоило ждать... иногда.

— Что же он делал? Исследовал страну? — спросил я.

— О да, конечно.

Выяснилось, что Куртц нашел много деревень, а также озеро, но собеседник мой не знал, где именно расположено это озеро: рискованно было задавать Куртцу слишком много вопросов; но обычно целью его экспедиций была добыча слоновой кости.

— Но ведь к тому времени у него не осталось товаров для обмена, — возразил я.

— На станции и сейчас еще есть много патронов, — ответил он, глядя в сторону.

— Иными словами, он совершал набеги, — сказал я.

Тот кивнул.

— Но не один же!

Он пробормотал что-то о деревнях близ озера.

— Куртц добился того, чтобы племя за ним следовало, не так ли? — подсказал я. Он замялся, потом ответил:

— Они его боготворили.

Тон его показался мне таким странным, что я зорко на него посмотрел. Любопытно было, что ему страстно хотелось говорить о Куртце и в то же время что-то его удерживало. Этот человек заполнил его жизнь, занимал его мысли, подчинил все его эмоции.

Наконец он не выдержал:

— Чего вы хотите? Он пришел к ним и принес с собою гром и молнию... Ничего похожего на это они раньше не видели. И он был страшен. Он умеет быть страшным. Нельзя судить о мистере Куртце, как вы стали бы судить о заурядном человеке. Нет, нет! Чтобы вы яснее его себе представили, я могу сказать, что он и меня хотел однажды пристрелить... но я его не осуждаю.

— Вас пристрелить! — воскликнул я. — За что?

— Видите ли, у меня было немного слоновой кости, которую мне дал вождь одной деревушки неподалеку от моего жилища. Я, бывало, стрелял для них дичь. Куртц потребовал, чтобы я ее отдал ему, и слушать не хотел никаких возражений. Он заявил, что пристрелит меня, если я ему не отдам слоновой кости и не уберусь из этих краев. Он мог меня пристрелить, и ничто на земле не помешало бы ему убить того, кого ему вздумается. Это была правда. Я ему отдал слоновую кость. Не все ли мне было равно? Но не уехал, нет. Я не мог его оставить. Конечно, мне приходилось быть очень осторожным, пока мы снова не подружились — на время. Тогда он заболел вторично. А потом я старался не попадаться ему на пути; но я не сердился. Большую часть времени он проводил в этих деревнях у озера. Когда он спускался к реке, он иногда бывал ласков со мной, а иногда я должен был его остерегаться. Этот человек слишком много страдал. Все это он ненавидел, но почему-то не мог отсюда уйти. Когда представлялся удобный случай, я умолял его уехать, пока не поздно, я предлагал вернуться вместе с ним. Он соглашался, а потом оставался; снова охотился за слоновой костью; пропадал по целым неделям; забывал о себе среди этих людей. Вы понимаете — забывал о себе.

— Да ведь он сумасшедший! — воскликнул я.

Мой собеседник негодуя запротестовал. Мистер Куртц не мог быть сумасшедшим. Если бы я слышал, как он разговаривал всего два дня назад, я бы и заикнуться не посмел о чем-либо подобном...

Пока мы беседовали, я смотрел в бинокль на берег и лес, подступивший к дому справа, слева и сзади. Я был неспокоен, зная, что в зарослях притаились люди, безмолвные, неподвижные — такие же безмолвные и неподвижные, как этот разрушенный дом на холме. Глядя на лик природы, я не находил подтверждения этой изумительной повести, которая не столько была рассказана, сколько внушена мне унылыми восклицаниями, пожиманием плеч, оборванными фразами, намеками, переходившими в глубокие вздохи. Лес казался неподвижным, как маска, тяжелым, как запертая тюремная дверь; он словно скрывал свою тайну —

терпеливый, выжидающий, неприступно-молчаливый.

Русский сообщил мне, что совсем недавно мистер Куртц вернулся к реке, ведя за собой всех воинов приозерного племени. В отсутствии он пробыл несколько месяцев — должно быть, собирал дань почитания — и явился неожиданно, видимо намереваясь вторгнуться в селения на другом берегу реки или ниже по течению. Очевидно, страсть к слоновой кости одержала верх над иными... как бы это сказать?.. менее материалистическими побуждениями. Но внезапно он почувствовал себя значительно хуже.

— Я услышал, что он лежит беспомощный... Вот я и пришел, воспользовался случаем, — сказал русский. — О, ему плохо, очень плохо.

Я направил бинокль на дом. Там не заметно было признаков жизни; виднелась разрушенная крыша, длинная стена из глины, поднимающаяся над травой, три маленьких четырехугольных дыры вместо окон; бинокль все это ко мне приблизил, и я, казалось, мог рукой прикоснуться к дому. Затем я резко повернулся, и один из уцелевших столбов изгороди попал в поле зрения. Вы помните, я вам говорил, что еще издали удивился этой попытке украсить столбы, тогда как дом имел такой запущенный вид. Теперь я всмотрелся и отпрянул, словно мне нанесли удар. Потом стал наводить бинокль на все столбы по очереди и окончательно убедился в своей ошибке. Эти круглые шары были не украшением, но символом, выразительным, загадочным и волнующим, пищей для размышления, а также — для коршунов, если бы таковые парили в небе; и, во всяком случае, они служили пищей для муравьев, не поленившихся подняться на столб. Еще большее впечатление производили бы эти головы на кольях, если бы лица их не были обращены к дому. Только первая голова, какую я разглядел, была повернута лицом в мою сторону. Возмущен я был не так сильно, как, быть может, думаете. Я отшатнулся потому, что был изумлен: я рассчитывал увидеть деревянный шар. Спокойно навел я бинокль на первую замеченную мною голову. Черная, высохшая, с закрытыми веками, она как будто спала на верхушке столба; сморщенные сухие губы слегка раздвинулись, обнажая узкую белую полоску зубов; это лицо улыбалось, улыбалось вечной улыбкой какому-то нескончаемому и веселому сновидению.

Я не разоблачаю секретов торговой фирмы. Как сказал впоследствии начальник — метод мистера Куртца повредил работе в этих краях. Своего мнения по этому вопросу я не имею, но я хочу вам объяснить, что никакой выгоды нельзя было извлечь из этих голов, насаженных на колья. Они лишь свидетельствовали о том, что мистер Куртц, потворствовавший

разнообразным своим страстям, нуждался в выдержке, что чего-то ему не хватало, какой-то мелочи в критический момент, несмотря на великолепное его красноречие. Знал ли он об этом своем недостатке, я не могу сказать. Думаю, что глаза его открылись в последнюю минуту. Но дикая глушь рано его отметила и жестоко ему отомстила за фанатическое вторжение. Думаю, она шепотом рассказала ему о нем самом то, чего он не знал, о чем не имел представления, пока не прислушался к своему одиночеству, и этот шепот зачаровал его и гулким эхом отдавался в нем, ибо в глубине его была пустота... Я опустил бинокль, и голова, торчавшая так близко, что, казалось, с ней можно заговорить, сразу отскочила вдаль.

Поклонник мистера Куртца приуныл. Торопливо, невнятно начал он меня уверять, что не посмел снять со столбов эти, скажем, символы. Туземцев он не боялся; они не двинутся с места до тех пор, пока мистер Куртц не отдаст распоряжения: его влияние безгранично. Эти люди расположились лагерем вокруг станции, и вожди каждый день его навещали. Они пресмыкались...

— Я знать не желаю о тех церемониях, с какими приближались к мистеру Куртцу! — крикнул я. Любопытно, что такие детали отталкивали меня сильнее, чем эти головы, сушившиеся на кольях под окнами мистера Куртца. В конце концов, то было лишь варварское зрелище, тогда как я одним прыжком перенесся в темную страну ужасов, где успокоительно действовало на вас чистое, неприкрытое варварство, видимо имеющее право существовать под солнцем. Молодой человек посмотрел на меня с удивлением. Думаю, ему не пришло в голову, что мистер Куртц не был моим идолом. Он позабыл о том, что я не слыхал великолепных монологов Куртца... о чем? о любви, справедливости, поведении в жизни. Уж если речь зашла о пресмыкании перед мистером Куртцем, то он пресмыкался не хуже любого из дикарей. По его словам, я понятия не имел о здешних условиях; эти головы были головами мятежников. Услышав мой смех, он был возмущен. Мятежники! Какое еще определение предстояло мне услышать? Я слыхал о врагах, преступниках, рабочих, а здесь были мятежники. Эти мятежные головы казались мне очень покорными на своих кольях.

— Вы не знаете, как эта жизнь испытывает терпение такого человека, как Куртц! — воскликнул последний ученик Куртца.

— А о себе что вы скажете? — осведомился я.

— Я! Я! Я — человек простой. У меня нет великих замыслов. Мне ничего ни от кого не нужно. Как можете вы сравнивать меня с?..

Он не в силах был выразить свои чувства, пал духом и простонал:

— Не понимаю... Я делал все, чтобы сохранить ему жизнь, и этого достаточно. В его делах я не участвовал. У меня нет никаких способностей. Здесь в течение нескольких месяцев не было ни капли лекарства, ни куска пищи, какую можно дать больному. Его позорно покинули. Такого человека! С такими идеями! Позор! Позор! Я не спал последние десять дней...

Голос его замер, растворился в вечерней тишине. Пока мы разговаривали, длинные тени леса скользнули вниз по холму, протянулись ниже разрушенной хижины и символического ряда кольев. И дом и колья были окутаны сумерками, а мы внизу стояли освещенные солнцем, и полоса реки у просеки сверкала ослепительным блеском, но выше по течению и ниже у поворота спускались темные тени. Ни души не было на берегу. В кустах не слышно было шороха.

Вдруг из-за угла дома вышла группа людей, словно вынырнувших из-под земли. Они шли по пояс в траве и несли самодельные носилки. И внезапно вырвался пронзительный крик, который прорезал неподвижный воздух, словно острая стрела, направленная в самое сердце земли. Мгновенно, как по волшебству, поток людей — обнаженных людей с копьями, луками, мечами, людей, бросающих дикие взгляды, — хлынул на просеку темноликого и задумчивого леса. Затрепетали кусты, заволновалась трава — потом все застыло настороженно.

— Теперь, если он не скажет им нужного слова, все мы погибли, — пробормотал русский.

Группа людей с носилками, словно окаменев, остановилась на полпути к пароходу. Я видел, как худой человек на носилках сел и поднял руку, возвышаясь над плечами носильщиков.

— Будем надеяться, что человек, который так хорошо умеет говорить о любви вообще, найдет основание пощадить нас на этот раз, — сказал я. С горечью думал я о грозившей нам нелепой опасности, словно считал бесчестьем полагаться на милость этого жестокого призрака. Я не мог расслышать ни одного звука, но в бинокль я видел повелительно простертую худую руку, видел, как двигалась его нижняя челюсть, мрачно сверкали запавшие глаза и чудовищно раскачивалась костистая голова. Куртц... Куртц... кажется, по-немецки это значит — короткий? Ну что ж! В фамилии этого человека было столько же правды, сколько в его жизни и... смерти. Он был не меньше семи футов ростом. Его одеяло откинулось, и обнажилось тело, словно освобожденное от савана, страшное и жалкое. Я видел, как двигались все его ребра, как он размахивал костлявой рукой. Казалось, одушевленная статуя смерти, вырезанная из старой слоновой

кости, потрясала рукой, угрожая неподвижной толпе людей из темной сверкающей бронзы. Я видел, как он широко раскрыл рот... в этот момент он выглядел прожорливым и страшным, словно хотел проглотить воздух и всех людей, стоявших перед ним. До меня слабо доносился низкий голос. Должно быть, он кричал. Вдруг он откинулся назад. Дрогнули носилки, когда носильщики снова зашагали вперед, и почти в тот же момент я обратил внимание, что толпа дикарей незаметно исчезла, как будто лес, выбросивший внезапно этих людей, снова втянул их в себя, как легкие вытягивают воздух.

Пилигримы, шедшие за носилками, несли его оружие — два карабина, винтовка, револьвер — громовые стрелы этого жалкого Юпитера. Начальник, шагавший у изголовья носилок, наклонился, шепча ему что-то на ухо. Они положили его в одной из маленьких кают, где едва могла поместиться койка да один-два складных стула. Мы принесли ему его запоздавшие письма; разорванные конверты и исписанные листки усеяли постель. Слабой рукой он их перебирал. Меня поразили его горящие глаза и усталое спокойное лицо. Не только болезнь его истощила. Казалось, боли он не чувствовал. Эта тень выглядела пресыщенной и спокойной, словно в данный момент все страсти ее были удовлетворены.

Он перелистал одно из писем и, глядя прямо мне в лицо, сказал:

— Я рад.

Кто-то писал ему обо мне. Снова дали о себе знать эти особые рекомендации. Меня удивил его громкий голос; а ведь говорил он без всяких усилий — едва шевеля губами. Голос! Голос! Торжественный, глубокий, вибрирующий — тогда как при виде этого человека не верилось, что он сможет говорить хотя бы шепотом. Однако у него, как вы сейчас услышите, хватило сил — искусственно возбужденных, несомненно — едва не покончить со всеми нами.

В дверях показался начальник. Я тотчас же вышел, а он задернул за мной занавеску. Русский, за которым с любопытством наблюдали пилигримы, пристально смотрел на берег. Я проследил за его взглядом.

Вдали виднелись темные силуэты людей, скользившие на мрачном фоне леса, а у реки две освещенные солнцем бронзовые фигуры в фантастических головных уборах из пятнистых звериных шкур стояли, опираясь на длинные копыта, — воинственные и неподвижные фигуры, похожие на статуи. По залитому солнечным светом берегу скользил справа налево чудовищный и великолепный призрак женщины.

Она шла размеренными шагами, закутанная в полосатую, обшитую бахромой одежду, гордо ступая по земле. Звенели и сверкали варварские

украшения. Она высоко несла голову; прическа ее напоминала шлем. Медные набедренники закрывали ноги до колен; провололочные латные рукавицы поднимались до локтя; красные пятна горели на ее коричневых щеках; бесчисленные ожерелья из стеклянных бусин украшали шею. Странные амулеты — подарки шаманов — сверкали на ее одежде. Должно быть, немало слоновых бивней стоили ее украшения. Она была великолепной дикаркой с пламенными глазами; что-то зловещее и величественное было в ее спокойной поступи. И в тишине, внезапно спустившейся на скорбную страну, необъятная глушь, плодородная таинственная жизнь, казалось, смотрела на нее задумчиво, словно в ней видела воплощенной свою мрачную и страстную душу.

Она поравнялась с пароходом, остановилась и повернулась к нам лицом. Длинная ее тень протянулась к самой воде. Ее лицо, трагическое и жестокое, было отмечено печатью дикой скорби, немой муки и страха перед каким-то еще не оформившимся решением. Она стояла неподвижно, смотрела на нас и словно размышляла над неисповедимой тайной. Прошла минута. Она сделала шаг вперед. Послышалось тихое позвякивание, блеснул желтый металл, взметнулась обшитая бахромой одежда, и женщина остановилась, словно мужество ей изменило. Русский, стоявший подле меня, что-то проворчал. Пилигримы перешептывались за моей спиной. Она смотрела на нас, словно жизнь ее зависела от этого пристального, немигающего взгляда. Вдруг она всплеснула обнаженными руками и подняла их над головой, казалось обуреваемая безумным желанием коснуться неба... и в этот момент быстрые тени скользнули по земле, легли на реку и темным кольцом сомкнулись вокруг парохода. Нависло грозное молчание.

Медленно она повернулась, прошла вдоль берега и вступила в заросли.

— Вздумай она подняться на борт, я бы, кажется, попытался ее пристрелить, — нервничая, сказал человек с заплатами. — В течение последних двух недель я каждый день рисковал жизнью, не позволяя этой женщине войти в дом. Однажды она пробралась и подняла шум из-за этих жалких лохмотьев, которые я достал из чулана, чтобы починить свой костюм. Вид у меня был непристойный. А она, должно быть, из-за этого взбесилась и, как фурия, целый час говорила что-то Куртцу, то и дело указывая на меня. Я не понимаю наречия этого племени. На мое счастье, Куртц в тот день чувствовал себя очень плохо, а не то быть беде. Не понимаю... Да, это превышает мое понимание. Но теперь все кончено.

В эту минуту я услышал глубокий голос Куртца за занавеской:

— Спасти меня! Спасти слоновую кость, хотите вы сказать. Не

убеждайте меня. Спасти меня! Да ведь мне пришлось спасать вас. А теперь вы мне мешаете. Болен! Болен! Не так сильно болен, как вам хочется думать. Ничего! Я еще проведу свои планы. Я вернусь и покажу вам, что может быть сделано. Вы с вашими идеями мелких торгашей — вы мне мешаете. Я вернусь. Я...

На палубу вышел начальник. Он удостоил взять меня под руку и отвести в сторону.

— Плох, очень плох, — сказал он и счел нужным вздохнуть, однако не старался сохранить скорбный вид. — Мы для него сделали все, что могли, не так ли? Но что толку скрывать? Фирме мистер Куртц принес больше вреда, чем пользы. Он не понимал, что время для энергичных выступлений еще не пришло. Осмотрительность, осмотрительность — вот мой принцип! Мы должны действовать осторожно. Теперь этот округ временно для нас закрыт. Печально! Это повредит торговле. Я не отрицаю, что на станции имеются колоссальные запасы слоновой кости — главным образом, ископаемой. Мы должны ее спасти во что бы то ни стало... Но посмотрите, какое создалось опасное положение. А почему? Потому что метод его нерационален.

— Вы это называете «нерациональным методом»? — спросил я, глядя на берег.

— Конечно! — воскликнул он с жаром. — А вы?..

— Никакого метода не было, — пробормотал я, помолчав.

— Совершенно верно, — обрадовался он. — Я это предвидел. Он проявил полную неспособность соображать. Мой долг — сообщить об этом куда следует.

— О, — сказал я, — этот парень... как его зовут?.. кирпичник составит для вас отчет, достойный того, чтобы его прочитали.

Начальник был, видимо, сбит с толку. Мне же казалось, что никогда еще я не дышал таким отравленным воздухом, и мысленно я обратился к Куртцу, ища успокоения... да, успокоения.

— И тем не менее я считаю, что мистер Куртц — замечательный человек, — сказал я внушительно.

Он вздрогнул, посмотрел на меня холодным тяжелым взглядом и сказал очень спокойно:

— Был замечательным человеком, — и повернулся ко мне спиной.

Час немилости пробил: я был отнесен в одну рубрику с Куртцем как сторонник методов, для которых время еще не пришло; я не знал о рациональных методах! Но все-таки я мог хотя бы делать выбор из кошмаров.

Собственно говоря, в поисках успокоения я обратился к дикой глуши, а не к мистеру Куртцу, который — против этого я не мог протестовать — был все равно что похоронен. И мне почудилось, будто я тоже погребен в могиле, полной необъяснимых тайн. Я чувствовал невыносимую тяжесть, навалившуюся мне на грудь, вдыхал запах сырой земли, ощущал власть гниения и тьму непроницаемой ночи... Русский тронул меня за плечо. Я слышал, как он бормотал:

— Брат моряк... не мог утаить... сведения, которые повредят репутации мистера Куртца...

Я ждал. Видимо, для него мистер Куртц еще не лежал в могиле. Я подозревал, что он считает мистера Куртца одним из бессмертных.

— Ну что ж! — сказал я наконец. — Говорите начистоту. Выходит, что я — друг мистера Куртца... до известной степени.

Весьма официально он мне сообщил, что, не занимаясь я одной с ним «профессией», он сохранил бы все в тайне, не заботясь о последствиях. Он подозревал, что к нему недоброжелательно относятся эти белые, которые...

— Вы правы, — перебил я, припоминая подслушанный мною разговор. — Начальник считает, что вас следовало бы повесить.

Он встревожился, и это меня сначала позабавило.

— Лучше мне потихоньку убраться с дороги, — сказал он задумчиво. — Для Куртца я больше ничего не могу сделать, а они всегда сумеют найти предлог. Что может их остановить? Военный пост находится на расстоянии трехсот миль отсюда.

— Да, — отозвался я, — пожалуй, лучше вам уйти, если есть у вас друзья среди этих дикарей.

— Друзей много. Они — люди простые, а мне, вы знаете, ничего не нужно...

Он стоял, покусывая губы, потом добавил:

— Я не хочу, чтобы какая-нибудь беда случилась с этими белыми. Конечно, я думал о репутации мистера Куртца, но вы — брат моряк, и...

— Ладно, — сказал я, помолчав. — Я позабочусь о репутации мистера Куртца.

Тогда я не знал, сколько правды было в моих словах.

Понизив голос, русский сообщил мне, что это Куртц отдал распоряжение напасть на пароход.

— Иногда ему невыносимо было думать, что его увезут... а потом снова... Но я таких вещей не понимаю. Я человек простой. Он думал, что это вас испугает — вы решите, что он умер, и повернете назад. Я не мог его уговорить. О, я натерпелся за этот последний месяц!

— Ладно, — сказал я, — теперь все в порядке.
— Д-а-а, — протянул он, видимо не совсем успокоенный.
— Благодарю вас, — сказал я. — Я буду держаться настороже.
— Но вы будете молчать? — с тревогой спросил он. — Подумайте, как пострадает его репутация, если кто-нибудь...

Торжественно я обещал ему хранить тайну.

— Тут неподалеку меня ждет каноэ с тремя чернокожими. Я уезжаю. Не можете ли вы дать мне несколько патронов для мортиры?

Я исполнил его просьбу. Подмигнув мне, он взял пригоршню моего табаку.

— Братья моряки... славный английский табак. В дверях рубки он приостановился.

— Послушайте, нет ли у вас лишней пары ботинок? Смотрите! — Он поднял ногу. Подошвы были привязаны веревками к босой ноге, как сандалии. Я разыскал старые ботинки. Он посмотрел на них с восторгом и сунул под левую руку. Один из карманов его куртки (ярко-красный) был набит патронами, из другого (темно-синего) торчала книжка Тоусона. Казалось, он считал себя превосходно экипированным для новой встречи с дикой глушью.

— Ах! Другого такого человека я никогда не встречу! Если бы вы слышали, как он декламировал стихи! Стихи собственного своего сочинения! — Он закатил глаза, упиваясь своими воспоминаниями. — О, он расширил мой кругозор.

— Прощайте, — сказал я.

Он пожал мне руку и скрылся во мраке. Иногда я задаю себе вопрос, действительно ли я его видел, можно ли встретить на земле такой феномен!..

Когда я проснулся вскоре после полуночи, мне вспомнилось его предостережение, его намеки на грозившую нам опасность, и теперь, в звездной ночи, эта опасность показалась мне настолько реальной. что я решил встать и посмотреть, все ли спокойно. На холме пылал большой костер, отбрасывая трепещущие отблески на осевший угол станционного здания. Один из агентов с вооруженным отрядом наших чернокожих охранял слоновую кость; но в глубине леса, между черными, похожими на колонны стволами деревьев мелькали, то опускаясь, то поднимаясь над землей, красные огоньки, точно определявшие местоположение лагеря, где бодрствовали встревоженные приверженцы мистера Куртца. Слышался монотонный бой барабана, и воздух наполнен был замирающими вибрациями и заглушенным стуком. Протяжный гул, в который сливались

голоса многих людей, поющих какое-то жуткое заклятие, вырывался из-за черной стены лесов, как вырывается жужжание пчел из улья; это пение странно, словно наркоз, действовало на мой мозг, еще окутанный дремотой. Кажется, я снова задремал, прислонившись к поручням, пока не разбудили меня резкие, оглушительные крики — взрыв непонятного безумия, который привел меня в недоумение. Крики сразу оборвались, и опять послышалось тихое гудение, действовавшее успокоительно, как молчание. Я заглянул в каюту. Там горел свет, но мистера Куртца в каюте не было.

Думаю, я поднял бы крик, если б сразу поверил своим глазам. Но сначала я не поверил — это показалось мне невероятным. Дело в том, что меня охватил безграничный страх, какой-то абстрактный ужас, не связанный с мыслями о физической опасности. Эта эмоция вызвана была душевным потрясением, словно я неожиданно наткнулся на что-то чудовищное, необъяснимое и отвратительное. Такое состояние длилось не больше секунды, а затем сменилось мыслью о грозившей нам смертельной опасности, о возможности нападения и резни. Эта мысль действовала умиротворяюще, и я ее приветствовал. Она настолько меня успокоила, что я решил не поднимать тревоги.

В трех шагах от меня спал, сидя на стуле, агент, закутанный в застегнутый доверху ульстер. Крики его не разбудили, он тихонько похрапывал. Я не нарушил его сна и прыгнул на берег. Я не предал мистера Куртца... Казалось, было predetermined, что я никогда его не предаю и останусь верным избранному мною кошмару. Я горел желанием встретиться наедине с этой тенью. И по сей день я не знаю, почему мне так не хотелось разделить с кем-нибудь предстоявшее мне мрачное испытание.

Едва ступив на берег, я увидел след — широкий след в траве. Помню, с каким торжеством я сказал себе: «Он не может идти... ползет на четвереньках... я его поймал». Трава была мокрая от росы. Сжимая кулаки, я шел быстро. Кажется, я хотел налететь на него и прибить. Не знаю. Мне приходили в голову нелепые мысли. Вспомнилась старуха с кошкой и с вязаньем, — персонаж совсем неподходящий для участия во всем этом деле. Мелькнули пилигримы, они опрыскивали воздух свинцом из винчестеров, держа ружье у бедра. Я думал, что никогда не смогу вернуться на пароход, буду жить в этих лесах, одинокий и безоружный, до самой старости. Вы знаете, какие глупые мысли приходят иногда в голову. Помню, я смешал бой барабана с биением моего сердца и остался доволен своим ровным пульсом.

Но все время я шел по следу; потом остановился и прислушался. Ночь

была ясная; в темно-синем пространстве, залитом звездным светом, сверкала роса и неподвижно застыли черные тени. Мне почудилось, что кто-то движется впереди. В ту ночь я воспринимал все особенно остро. Я свернул в сторону и описал широкий полукруг (кажется, я бежал, посмеиваясь про себя), чтобы опередить этот движущийся предмет, если только он мне не почудился. Словно участвуя в мальчишеской игре, я старался перехитрить Куртца.

Я налетел на него, и, не услышь он моих шагов, я бы на него упал, но он вовремя успел встать. Он поднялся, нетвердо держась на ногах, — длинный, бледный, неясный, как туман, поднимающийся над землей, и молча стоял передо мной, слегка покачиваясь, а за моей спиной мерцали огни между деревьями, и доносился из леса гул голосов. Я ловко перерезал ему путь, но, когда мы очутились лицом к лицу, я как будто опомнился и осознал опасность во всем ее неприкрашенном виде. Она еще отнюдь не миновала. Что, если б он начал кричать?

Хотя он едва мог стоять, но для крика у него хватило бы силы.

— Уходите, спрячьтесь! — сказал он своим низким голосом.

Это было страшно. Я оглянулся. Тридцать ярдов отделяли нас от ближайшего костра. Я видел, как поднялась черная фигура, широко раздвинула длинные черные ноги, простерла черные руки над костром. На голове ее были какие-то рога — кажется, рога антилопы. Несомненно, то был колдун, шаман, очень походивший на черта.

— Знаете ли вы, что вы делаете? — прошептал я.

— Знаю, — ответил он, повышая голос, чтобы произнести это одно слово. Оно прозвучало заглушенно и в то же время громко — словно окрик, вырвавшийся из рупора.

«Если он поднимет шум, мы погибли», — подумал я. Сейчас не время было пускать в ход кулаки, не говоря уже о том, что мне, естественно, не хотелось бить эту тень — это скитающееся и измученное существо.

— Вы погибнете, — сказал я, — окончательно погибнете.

Иногда бывают, знаете ли, такие проблески вдохновения. Я сказал как раз то, что нужно было сказать, хотя он мог считать себя погибшим и теперь — в тот момент, когда заложена была основа нашей близости, не оборвавшейся до самого конца и даже... после.

— У меня были грандиозные планы, — пробормотал он нерешительно.

— Да, — сказал я, — но, если вы вздумаете кричать, я вам размозжу голову... — Поблизости не видно было ни палки, ни камня... — Я вас задушу, — поправился я.

— Я стоял у порога великих дел, — взмолился он с такой тоской, что кровь застыла у меня в жилах. — А теперь из-за негодя и дурака...

— Ваш успех в Европе во всяком случае обеспечен, — твердо сказал я. Мне, видите ли, не хотелось его душить, да и вряд ли это принесло бы хоть какую-нибудь пользу. Я старался разрушить чары — тяжелые немые чары глуши, которая, казалось, влекла его безжалостно к себе, пробуждая забытые и зверские инстинкты и воспоминания об удовлетворенных и чудовищных страстях. Я был убежден, что только это и побудило его притащиться к опушке леса, к зарослям, к отблеску костров, к бою барабанов, к тягучему пению заклятий; только это и увлекло его преступную душу за пределы дозволенных стремлений. И видите ли, ужас положения заключался не в возможности получить удар по голове — хотя я живо чувствовал и эту опасность, — но в том, что я имел дело с человеком, который ничего не признавал. Подобно неграм, я должен был взывать к нему самому, к этому восторженному и бесконечно павшему существу. Не было ничего выше или ниже его — и я это знал. Он оторвался от земли. Будь он проклят! Он остался один, и я, смотря на него, не знал, стою ли я на земле или парю в воздухе.

Я вам рассказал, о чем мы с ним говорили, повторил фразы, какими мы обменялись... но что толку? То были банальные, повседневные слова, знакомые неясные звуки, какие можно услышать в любой день. Но не в этом дело. Мне они напоминали отзвук жутких слов, какие слышишь во сне, отзвук фраз, преследующих во время кошмара. Душа! Если приходилось кому-нибудь вести борьбу душой, то таким человеком был я. И ведь я имел дело не с сумасшедшим. Верьте мне или не верьте, но ум у него был ясный, хотя все его помыслы упорно сосредоточивались на нем самом. Да, ум его был ясен, и это был единственный мой шанс, не считая, конечно, возможности его убить, но такой исход не принес бы мне пользы, так как неизбежно должен был вызвать шум. А душа его была одержима безумием. Зброшенная в дикую глушь, она заглянула в себя и — клянусь небом! — обезумела. Мне пришлось — должно быть, в наказание за мои грехи — подвергнуться испытанию и самому заглянуть в его душу. Никакие красноречивые доводы не могли бы до такой степени потрясти веру в человека, как эта последняя его вспышка откровенности. Он тоже боролся с собой. Я это видел, слышал. Я видел непостижимую тайну души, которая не знает ни удержу, ни веры, ни страха и, однако, борется вслепую сама с собой. Я сохранил присутствие духа; но, когда мне удалось уложить его на кушетку, я вытер пот со лба, а ноги мои дрожали, словно я, спускаясь с того холма, тащил на своей спине груз в полтонны весом. А ведь я только

его поддерживал, когда он своей костлявой рукой обнимал меня за шею. Он был немногим тяжелее ребенка.

Когда на следующий день, в полдень, мы снялись с якоря, толпа людей — все время я остро ощущал ее присутствие за стеной деревьев — снова вышла из леса и рассыпалась по просеке; склон холма был покрыт обнаженными трепещущими бронзовыми телами. Я провел пароход вверх по течению, затем повернул его; две тысячи глаз следили за плескавшимся и стучавшим яростным демоном реки, который разбивал воду чудовищным своим хвостом и выдыхал в небо черный дым. Перед толпой у самой реки три человека, с головы до ног облепленные красной глиной, беспокойно шагали взад и вперед. Когда судно снова поравнялось с просекой, они повернулись лицом к реке, топая, кивая рогатыми головами; раскачивались их красные тела; они потрясали вслед яростному демону реки пучком черных перьев, облезшей шкурой с хвостом и каким-то предметом, походившим на высохшую тыкву; они выкрикивали какие-то удивительные слова, ничего общего не имеющие со звуками человеческой речи, а толпа глухим рокотом отвечала на эти заклятья, как бы участвуя в сатанинской литании.

Мы перенесли Куртца в рулевую рубку: там было больше воздуха. Лежа на кушетке, он смотрел в отверстие, заменявшее окно. Вдруг толпа заволновалась, и женщина с прической, напоминавшей шлем, со смуглыми щеками, подбежала к самой воде. Она простерла руки, выкрикнула какие-то слова, и вся масса дикарей хором быстро и членораздельно повторила ее фразу.

— Вы это понимаете? — спросил я. Он смотрел мимо меня горящими тоскливыми глазами; взгляд его был сосредоточенный и злобный. Он ничего не ответил, но я видел, как улыбка, странная улыбка появилась на бесцветных губах; потом губы его судорожно искривились.

— Понимаю ли я? — проговорил он медленно, задыхаясь, словно какая-то сверхъестественная сила вырвала у него эти слова.

Я дернул веревку свистка; сделал я это потому, что видел, как пилигримы, решив позабавиться, вышли на палубу с ружьями. Когда раздался пронзительный свисток, ужас охватил эту сгрудившуюся толпу.

— Не надо! Не надо! Вы их спугнете! — досадливо крикнул кто-то на палубе. Снова я несколько раз дернул веревку. Люди бросились, ползли, припадая к земле, стараясь ускользнуть от страшных звуков. Три обмазанных красной глиной парня, словно подстреленные, упали ничком. И только величественная дикарка не шевельнулась и трагически простерла к мрачной и сверкающей реке свои обнаженные руки.

Тогда толпа идиотов на палубе начала забавляться, и я ничего не мог разглядеть сквозь завесу дыма.

Темный поток, вырываясь из сердца тьмы, уносил нас к морю; теперь мы шли в два раза быстрее, чем раньше; а жизнь Куртца так же быстро угасала, отливая от его сердца, чтобы влиться в море неумолимого времени. Начальник был настроен благодушно; теперь ему не о чем было беспокоиться, и обоих нас он окидывал взглядом понимающим и удовлетворенным: «дело» обошлось прекрасно, и лучшего исхода нельзя было пожелать. Я понимал, что близится время, когда я останусь единственным сторонником «нерационального метода». Пилигримы посматривали на меня неблагосклонно. Я был, так сказать, отнесен в одну рубрику с мертвецом. Странно, что я принял это неожиданное товарищество, этот кошмар, навязанный мне в стране мрака, куда вторглись подлые и жадные призраки.

Куртц разглагольствовал. Ах, этот голос! Этот голос! До последней минуты он сохранил свою силу. Он пережил способность Куртца скрывать в великолепных складках красноречия темное и бесплодное его сердце. Куртц боролся. О, как он боролся! Его усталый мозг был словно одержим туманными видениями — призраками богатства и славы, раболепно склоняющимися перед его неугасимым даром расточать благородные и высокопарные фразы. Моя нареченная, моя станция, моя карьера, мои идеи — вот что служило предлогом для проявления возвышенных чувств. Тень подлинного Куртца появлялась у ложа мистификатора, которому суждено было быть погребенным в первобытной земле. Но дьявольская любовь и ужасная ненависть к тайнам, какие он открыл, боролись за обладание этой душой, пресыщенной примитивными эмоциями, жаждущей лживой славы, фальшивых отличий и всех видимостей успеха и власти.

Иногда он бывал возмутительно ребячлив. Он желал, чтобы короли встречали его на станциях, — его, возвращающегося из какой-то призрачной страны, где он намеревался совершить великие дела.

— Нужно только им показать, что вы действительно способны принести пользу, и тогда вас ждет полное признание, — говорил он. — Конечно, не следует забывать о мотивах... мотивы должны быть честные.

За поворотами, всегда похожими один на другой, открывался все тот же вид на однообразную реку; пароход проплывал мимо вековых деревьев, которые терпеливо смотрели вслед этому грязному осколку другого мира, предвестнику перемен, побед, торговли, избиений и всяких благ. Я смотрел вперед и вел судно.

— Закройте ставень, — неожиданно сказал однажды Куртц. — Я не

могу этого видеть.

Я исполнил его просьбу. Последовало молчание.

— О, но я еще вырву у тебя сердце! — крикнул он невидимой глуши.

Произошла поломка, — я этого ждал, — и нам пришлось пристать к острову и заняться ремонтом. Эта задержка губительно повлияла на уверенность Куртца. Как-то утром он мне вручил связку бумаг и фотографическую карточку; пакет был перевязан шнурком от ботинка.

— Спрячьте, — сказал он. — Этот зловерный дурак (он имел в виду начальника) способен рыться в моих сундуках, когда я не смотрю.

После полудня я заглянул к нему. Он лежал на спине с закрытыми глазами, и я хотел уйти, но он забормотал:

— Жить честно, умереть, умереть...

Я прислушался. Больше он не сказал ни слова. Произносил ли он речь во сне, или то был отрывок фразы для какой-нибудь газетной статьи? Он когда-то работал в газетах и думал снова заняться этим делом, «чтобы распространять мои идеи. Это — долг».

Его окутывал непроницаемый мрак. Я на него смотрел, как смотрят на человека, лежащего на дне пропасти, куда никогда не проникает луч солнца. Но я не мог ему уделять много времени, так как помогал механику разбирать на части протекающие цилиндры, выпрямлять согнутый шатун, производить ремонт. Я жил окруженный гайками, опилками, ржавчиной, болтами, ключами для отвертывания гаек, молотками — предметами мне ненавистными, ибо я не умел с ними ладить. Я следил за маленькой кузницей, по счастью оказавшейся на борту, я устало рылся в куче обломков, пока приступ лихорадки не заставлял меня лечь.

Как-то вечером, войдя со свечой в рубку, я испугался, услышав его дрожащий голос:

— Я лежу здесь, в темноте, и жду смерти. Свет был на расстоянии фута от его глаз. Я с трудом прошептал:

— О, вздор! — и тревожно склонился над ним.

Я не представлял себе, чтобы могло так сильно измениться лицо человека, и — надеюсь — никогда больше этого не увижу. О, жалости я не чувствовал! Я был зачарован, словно передо мной разорвали пелену. Лицо, цвета слоновой кости, дышало мрачной гордостью; безграничная властность, безумный ужас, напряженное и безнадежное отчаяние — этим было отмечено его лицо. Вспоминал ли он в эту последнюю минуту просветления всю свою жизнь, свои желания, искушения и поражение? Он прошептал, словно обращаясь к какому-то видению... он попытался крикнуть, но этот крик прозвучал как вздох:

— Ужас! Ужас!

Я задул свечу и вышел из рубки. Пилигримы обедали в кают-компании, и я занял свое место за столом против начальника. Тот поднял глаза и посмотрел на меня вопросительно, но я игнорировал этот взгляд. Он невозмутимо откинулся на спинку стула, улыбаясь странной своей улыбкой, словно запечатывавшей подлую его душонку. Мошки кружились роem вокруг лампы, ползали по скатерти, по нашим рукам и лицам. Вдруг слуга начальника просунул в каюту свою черную голову и сказал с уничтожающим презрением:

— Мистер Куртц... умер.

Все пилигримы выбежали, чтобы посмотреть на него. Я один остался за столом и продолжал обедать. Думаю, меня сочли бесчувственной скотиной. Однако ел я немного. Здесь горела лампа, было, знаете ли, светло... а там, снаружи, нависла тьма. Больше я не подходил к замечательному человеку, который произнес приговор над похождениями своей души на земле. Голос угас. Что было у него, кроме голоса? Но мне известно, что на следующий день пилигримы что-то похоронили в грязной яме.

А потом они едва не похоронили меня.

Однако я, как видите, не последовал в ту пору за Куртцем. Да, я остался, чтобы пережить кошмар до конца и еще раз проявить свою верность Куртцу. Судьба. Моя судьба! Забавная штука жизнь, таинственная, с безжалостной логикой преследующая ничтожные цели. Самое большее, что может получить от нее человек, — это познание себя самого, которое приходит слишком поздно и приносит вечные сожаления.

Я боролся со смертью. Это самая скучная борьба, какую только можно себе представить. Она происходит в серой пустоте, когда нет опоры под ногами, нет ничего вокруг, нет зрителей, нет блеска и славы; нет страстного желания одержать победу, нет великого страха перед поражением; вы боретесь в нездоровой атмосфере умеренного скептицизма, вы не уверены в своей правоте и еще меньше верите в правоту своего противника. Если такова высшая мудрость, то жизнь — загадка более серьезная, чем принято думать. Я был на волосок от последней возможности произнести над собой приговор, и со стыдом я обнаружил, что, быть может, мне нечего будет сказать. Вот почему я утверждаю, что Куртц был замечательным человеком. Ему было что сказать. Он это сказал. С тех пор как я сам поглядел за грань, мне понятен стал взгляд его глаз, не видевших пламени свечи, но созерцавших вселенную и достаточно зорких, чтобы разглядеть все сердца, что бьются во тьме. Он подвел итог и вынес приговор: «Ужас!» Он был

замечательным человеком. В конце концов, в этом слове была, какая-то вера, прямота, убежденность; в шепоте слышалась вибрирующая нотка возмущения, странное слияние ненависти и желания, — это слово отражало странный лик правды. И лучше всего запомнил я не те минуты мои, которые казались мне последними, — не серое бесформенное пространство, заполненное физической болью и равнодушным презрением к эфемерности всего, даже самой боли. Нет! Его последние минуты я, казалось, пережил и запомнил. Правда, он сделал последний шаг, он шагнул за грань, тогда как мне разрешено было отступить. Быть может, в этом-то и заключается разница; быть может, вся мудрость, вся правда, вся искренность сжаты в этом одном неуловимом моменте, когда мы переступаем порог смерти. Быть может! Мне хочется думать, что, подведя итог, я не брошу слова равнодушного презрения. Уж лучше его крик — гораздо лучше. В нем было утверждение, моральная победа, оплаченная бесчисленными поражениями, гнусными ужасами и гнусным удовлетворением. Но это победа! Вот почему я остался верным Куртцу до конца — и даже после его смерти, когда много времени спустя я снова услышал — не его голос, но эхо его великолепного красноречия, отраженного душой такой же прозрачной и чистой, как кристалл.

Нет, меня они не похоронили, но был период, о котором я вспоминаю смутно, с содроганием, словно о пребывании в каком-то непостижимом мире, где нет ни надежд, ни желаний. Снова попал я в город, похожий на гроб повапленный, и с досадой смотрел на людей, которые суетились, чтобы выманить друг у друга денег, сожрать свою дрянную пищу, влить в себя скверное пиво, а ночью видеть бессмысленные и нелепые сны. Эти люди вторгались в мои мысли. Их знание жизни казалось мне досадным притворством, ибо я был уверен, что они не могут знать тех фактов, какие известны мне. Их осанка — осанка заурядных людей, уверенных в полной безопасности и занимающихся своим делом, — оскорбляла меня, как наглое чванство глупца перед лицом опасности, недоступной его пониманию. У меня не было особого желания их просвещать, но я с трудом удерживался, чтобы не расхохотаться при виде их глупо-самоуверенных лиц.

Пожалуй, в то время я был не совсем здоров. Я бродил по улицам — мне нужно было уладить кое-какие дела — и горько усмехался, встречая почтенных людей. Допускаю, что я вел себя непозволительно, но в те дни моя температура редко бывала нормальной. Все усилия славной моей тетушки «восстановить мои силы» не достигали своей цели. Не силы мои нуждались в восстановлении, но мозг жаждал успокоения. Я хранил пачку

бумаг, врученных мне Куртцем, и не знал, что с ними делать. Его мать недавно умерла; мне сказали, что ухаживала за ней его «нареченная». Однажды заглянул ко мне гладко выбритый человек, державший себя официально и носивший очки в золотой оправе. Сначала окольным путем, а затем с вкрадчивой настойчивостью он стал расспрашивать о том, что ему угодно было называть «документами». Я не удивился, ибо успел дважды поспорить из-за этого с начальником. Я отказался дать ему хотя бы один листок; так же я держал себя и с этим человеком в очках. Наконец он стал мрачно угрожать и с жаром доказывать, что фирма имеет право требовать все, касающееся ее «территории». По его словам, «мистер Куртц должен был обладать обширными и своеобразными сведениями о неисследованных областях, ибо этот выдающийся и одаренный человек попал в исключительную обстановку, а потому...».

Я уверил его, что мистер Куртц — какими бы сведениями он ни обладал — проблем коммерческих или административных не касался. Тогда он заговорил об интересе научном: «Потеря будет велика, если...» и.т.д. и.т.д. Я ему предложил статью «Искоренение обычаев дикарей», оторвав предварительно постскрипtum. Он жадно ее схватил, но потом презрительно фыркнул.

— Это не то, на что мы имели право надеяться, — заметил он.

— Не надейтесь, — сказал я. — У меня остаются только его частные письма.

Он удалился, пригрозив судебным преследованием, и больше я его не видел. Но два дня спустя явился еще один субъект, назвавший себя кузеном Куртца: ему хотелось узнать о последних минутах дорогого родственника. Затем он дал мне понять, что Куртц был великим музыкантом. «Он мог бы иметь колоссальный успех», — сказал мой посетитель, бывший, кажется, органистом. Его жидкие седые волосы спускались на засаленный воротник пиджака. У меня не было оснований сомневаться в его словах. И по сей день я не могу сказать, какова была профессия мистера Куртца — если была у него таковая — и какой из его талантов можно назвать величайшим. Я его считал художником, который писал в газетах, или журналистом, умевшим рисовать, но даже кузен его (который нюхал табак в продолжение нашей беседы) не мог мне сказать, кем он, собственно, был, Куртц был универсальным гением... Я согласился со стариком, который шумно высморкался в большой бумажный платок и, взволнованный, удалился, унося с собой какие-то не имеющие значения семейные письма.

Наконец, посетил меня журналист, горевший желанием узнать о судьбе своего «дорогого коллеги». Этот посетитель сообщил, что Куртцу

следовало бы избрать политическую карьеру. У журналиста были косматые прямые брови, торчавшие, как щетина, коротко остриженные волосы и монокль на широкой ленте. Разговорившись, он заявил, что Куртц, по его мнению, писать не умел, но «как этот человек говорил! Он мог наэлектризовать толпу. У него была вера — понимаете? — вера. Он мог себя убедить в чем угодно... в чем угодно. Из него вышел бы блестящий лидер какой-нибудь крайней партии».

— Какой партии? — спросил я.

— Любой! — ответил тот. — Он... он был... экстремист. Не так ли?

Я согласился. Он любопытствовал, не известно ли мне, что побудило его поехать туда.

— Известно, — сказал я и вручил ему знаменитую статью для опубликования, если он найдет ее пригодной.

Он торопливо ее просмотрел, бормоча себе что-то под нос, затем произнес:

— Пригодится, — и ушел со своей добычей. Итак, я остался со связкой писем и портретом девушки. Она была красива... Я хочу сказать, что выражение ее лица казалось мне прекрасным. Я знаю, что даже солнечный свет может лгать, но никакое освещение и никакие позы не могли придать ее лицу такое выражение, внушавшее полное доверие. Казалось, она умела слушать с открытой душой, не питая никаких подозрений, не думая о себе. Я решил лично вернуть ей ее карточку и письма. Любопытство? Да; и, быть может, еще какое-то чувство. Все, что принадлежало Куртцу, от меня ускользало: его душа, его тело, его станция, его планы, его слоновая кость, его карьера. Осталось только воспоминание о нем и его «нареченная»; я хотел и это отдать прошлому, хотел уступить все, что у меня от него осталось, забвению — последнему слову общей нашей судьбы. Я не защищаюсь: тогда я неясно себе представлял, чего именно я хочу. Быть может, то был порыв бессознательной верности... или завершение одной из тех иронических неизбежностей, которые таятся в человеческом бытии. Не знаю. Не могу сказать. Но я отправился к ней.

Я думал, что воспоминание о нем, подобно воспоминаниям о других умерших, которые накапливаются в жизни каждого человека, — отпечаток в нашем мозгу уходящих от нас теней. Но перед высокой и массивной дверью, между высокими домами, на улице, такой же тихой и нарядной, как аллея кладбища, мне предстало видение: я увидел его на носилках; он прожорливо открывал рот, словно хотел проглотить всю землю и всех людей. Он жил, жил так, как и раньше, — ненасытный призрак, стремившийся к блестящей видимости и страшной реальности; призрак

более темный, чем тени ночи, и благородно задрапированный в складки великолепного красноречия. Видение, казалось, вошло в дом вместе со мной: носилки, призраки носильщиков, дикая толпа послушных почитателей, мрак лесов, блеск реки, бой барабана, ровный и приглушенный, как биение сердца — сердца тьмы-победительницы. То был момент триумфа для дикой глуши, мстительный ее набег, которому, казалось мне, я один должен был противостоять, чтобы спасти другую душу. И воспоминание о том, что я от него слышал там, под сенью терпеливых лесов, когда за моей спиной двигались рогатые тени и пылали костры, — это воспоминание снова всплыло, я вновь услышал отрывистые фразы, зловещие и страшные в своей простоте. Я вспомнил гнусные его мольбы и гнусные угрозы, гигантский размах нечистых его страстей, низость, муку, бурное отчаяние его души. А потом я услышал, как он однажды сказал сдержанно и вяло:

— Вся эта слоновая кость, в сущности, принадлежит мне. Фирма за нее не платила. Я сам ее собрал, рискуя жизнью. Все-таки я боюсь, как бы они не предъявили права на нее... Гм... Положение затруднительное. Как вы думаете, что мне делать? Бороться, а? Я хочу только справедливости... — Он хотел только справедливости.

Во втором этаже я позвонил у двери из красного дерева, а пока я ждал, он, казалось, смотрел на меня с блестящей филенки, смотрел своим глубоким взглядом, обнимающим, осуждающим, проклинаящим вселенную. Я снова слышал шепот: «Ужас! Ужас!»

Спускались сумерки. Мне пришлось подождать в высокой гостиной, где три узких окна поднимались от пола к потолку, словно светящиеся и задрапированные колонны. Блестели изогнутые и позолоченные ножки и спинки мебели. Холодным и монументальным казался высокий белый мраморный камин. В углу стоял большой рояль; отблески пробегали по темной его поверхности, словно по мрачному полированному саркофагу. Высокая дверь открылась и снова закрылась. Я встал.

В сумеречном свете она шла ко мне вся в черном, с бледным лицом. Она была в трауре. Больше года прошло с тех пор, как он умер, больше года с тех пор, как она получила известие. Казалось, она будет помнить и оплакивать вечно. Она взяла обе мои руки в свои и прошептала:

— Я слышала, что вы приехали.

Я заметил, что она не очень молода, — во всяком случае, уже не молоденькая девушка. Она созрела для верности, страдания и веры. В комнате, казалось, потемнело, словно грустный свет пасмурного вечера сосредоточился на ее лице. Эти белокурые волосы, это бледное лицо и

чистый лоб были как бы окружены пепельным ореолом. Темные глаза смотрели на меня. Взгляд был невинный, глубокий, доверчивый и внушающий доверие. Она держала свою скорбную голову так, словно гордилась этой скорбью, словно хотела сказать: я, я одна умею грустить по нем так, как он того заслуживает. Но когда мы пожимали друг другу руки, на лице ее отразилось такое безнадежное отчаяние, что я понял: она была из тех, кого не назовешь игрушкой времени. Для нее он умер только вчера. И — клянусь небом! — это впечатление было настолько сильным, что и для меня он тоже, казалось, умер только вчера... Нет, сейчас, сию минуту. Я увидел его и ее вместе — его смерть и ее скорбь... Я видел ее скорбь в самый момент его смерти. Понятно ли вам? Я видел их обоих и слышал их обоих. Она сказала прерывающимся голосом:

— Я выжила... — А мой напряженный слух уловил последний его шепот вечного проклятия, слившийся с ее печальным возгласом. С испугом я спросил себя, что я здесь делаю, словно мне приоткрылась жестокая и нелепая тайна, которую человеку не подобает знать. Она предложила мне сесть. Я осторожно положил пакет на маленький столик, а она опустила на него руку.

— Вы его знали хорошо, — прошептала она, помолчав.

— В тех краях близость возникает быстро, — сказал я. — Я его знал так, как только может один человек знать другого.

— И вы им восхищались, — проговорила она. — Узнав его, нельзя им не восхищаться, не правда ли?

— Он был замечательным человеком, — сказал я нетвердым голосом. Видя ее напряженный, умоляющий взгляд, как будто следивший, не сорвутся ли с моих губ еще какие-нибудь слова, я продолжал:

— Нельзя было не...

— ...любить его, — закончила она с жаром, а я в ужасе онемел. — О, как это верно! Но подумайте, ведь никто его не знал так хорошо, как знала я! Он мне все доверял. Я его знала лучше, чем кто бы то ни было!

— Вы его знали лучше, чем кто бы то ни было, — повторил я. Быть может, она была права. Но с каждым произнесенным словом в комнате становилось все темнее, и только лоб ее, чистый и белый, казалось, был озарен неугасимым светом веры и любви.

— Вы были его другом, — продолжала она. — Его другом! — повторила она громче. — Да, конечно, раз он дал вам это и прислал вас ко мне. Я чувствую, что могу говорить с вами... и... о! я должна говорить. Я хочу, чтобы вы — человек, слышавший последние его слова, — знали, что я была достойна его... Это не гордость... Да! Я горжусь сознанием, что

поняла его лучше, чем кто бы то ни было на земле. Он сам мне это сказал. А с тех пор, как умерла его мать, у меня не было никого... никого... кто бы...

Я слушал. Тьма сгущалась. Я даже не уверен был в том, какую связку бумаг он мне дал. Подозреваю, что он хотел мне доверить другие документы, которые начальник после его смерти просматривал при свете лампы. А девушка говорила, облегчая свою скорбь, уверенная в моей симпатии; она говорила так, как пьют жаждущие. Я узнал, что ее родные не одобряли ее помолвки с Куртцем. Он был недостаточно богат или что-то в этом роде. И право же, я не знаю, не был ли он всю свою жизнь нищим. Он дал мне основание предполагать, что недостаток средств загнал его в те края.

— ...Разве тот, кто его слышал, мог не стать его другом? — говорила она. — Он привлекал к себе людей, обращаясь к тому, что есть в них хорошего. — Она пристально смотрела на меня. — Это дар великого человека...

Тихому ее голосу, казалось, аккомпанировали те, иные звуки, исполненные тайны, отчаяния и скорби, какие довелось мне слышать; журчание реки, шелест деревьев, раскачиваемых ветром, рокот толпы, слабый отзвук непонятных слов, шепот человека, говорящего из-за порога вечной тьмы.

— Но вы его слышали! Вы знаете! — воскликнула она.

— Да, знаю, — сказал я чуть ли не с отчаянием в сердце, но склоняя голову перед ее верой, перед великой и спасительной иллюзией, светившей неземным светом во тьме, в торжествующей тьме, от которой я не мог ее защитить, от которой я не мог защитить даже себя самого.

— Какая утрата для меня... для нас! — великодушно поправилась она и шепотом добавила: — Для мира.

В угасающем свете я видел, как блестели ее глаза, полные слез, — слез, которым не суждено было пролиться.

— Я была очень счастлива и очень горда, — продолжала она. — Слишком счастлива. Это продолжалось недолго. А теперь я несчастна... на всю жизнь.

Она встала; ее белокурые волосы, отсвечивая золотом, казалось, ловили последние проблески света. Я тоже встал.

— И от всего этого, — продолжала она с тоской, — от всех его обещаний, его величия, его доброй души и благородного сердца не осталось ничего... ничего, кроме воспоминания. Вы и я...

— Мы всегда будем его помнить, — поторопился я сказать.

— Нет! — воскликнула она. — Немыслимо, чтобы все это погибло, чтобы от жизни его, принесенной в жертву, не осталось ничего, кроме скорби. Вы знаете, какие грандиозные у него были планы.

Я тоже о них знала. Быть может, я не могла понять, но о них знали и другие люди. Что-то должно остаться. Его слова, во всяком случае, не умрут.

— Его слова останутся, — сказал я.

— И его пример, — прошептала она словно про себя. — Люди смотрели на него снизу вверх... доброта его светилась в каждом поступке. Его пример...

— Правильно, — сказал я, — и его пример. Да, его пример. Об этом я позабыл.

— Но я помню. Я не могу, не могу поверить... Не могу поверить, что никогда больше его не увижу... что никто его больше не увидит никогда, никогда, никогда...

Она простерла руки, словно вслед отступающему человеку; бледные руки с переплетенными пальцами виднелись на фоне угасающей узкой полосы окна. Никогда его не увидит! В ту минуту я его видел достаточно ясно. До конца жизни я буду видеть этот красноречивый призрак, а также и ее — трагическую тень, походившую в этой позе на другую, тоже трагическую женщину, которая была увешана бессильными амулетами и простирала обнаженные смуглые руки к сверкающему адскому потоку, к потоку тьмы. Вдруг она сказала очень тихо:

— Он умер так же, как и жил.

Тупая злоба шевельнулась во мне.

— Его конец был во всех отношениях достоин его жизни, — сказал я.

— А меня с ним не было, — прошептала она. Злоба уступила место бесконечной жалости.

— Все, что можно было сделать... — пробормотал я.

— Да, но я в него верила больше, чем кто бы то ни было на земле... больше, чем его родная мать, больше, чем... он сам. Я была ему нужна! Я! Я бы сберегла каждое его слово, каждый вздох, каждый жест, каждый его взгляд.

Я почувствовал, как холодная рука сжала мне сердце.

— Не надо! — сказал я сдавленным голосом.

— Простите меня. Я так долго тосковала молча... молча... Вы были с ним... до конца? Я думаю о его одиночестве. Подле него не было никого, кто бы мог его понять так, как поняла бы я. Быть может, никто не слышал...

— Я был с ним до конца, — сказал я дрожащим голосом. — Я слышал его последние слова... — И в испуге я умолк.

— Повторите, — прошептала она надрывающим сердце голосом. — Мне нужно... мне нужно что-нибудь... что-нибудь... чтобы с этим жить.

Я чуть было не крикнул: «Да разве вы не слышите?» Сумерки вокруг нас повторяли это слово настойчивым шепотом, — шепотом угрожающим, как первое дыхание надвигающегося шквала: «Ужас! Ужас!»

— Последнее слово... чтобы жить с ним, — настаивала она. — Поймите, я его любила, любила, любила!

Я взял себя в руки и медленно проговорил:

— Последнее слово, какое он произнес, было ваше имя.

Я услышал тихий вздох, а потом сердце мое замерло, перестало биться, когда раздался ликующий и страшный крик, крик великого торжества и бесконечной боли.

— Я это знала... была уверена!..

Она знала. Она была уверена. Я слышал, как она плакала. Она закрыла лицо руками. Казалось мне, что дом рухнет раньше, чем я успею выбежать, казалось, что небеса обрушатся на мою голову. Но ничего не случилось. Небеса из-за таких пустяков не рушатся. Интересно, обрушились бы они, если бы я был справедлив и отдал должное Куртцу? Разве не говорил он, что требует только справедливости? Но я не мог. Не мог ей сказать. Тогда стало бы слишком темно... слишком темно...

Марлоу умолк. Неясный и молчаливый, он сидел в стороне в позе Будды, погруженного в созерцание. Никто не шелохнулся.

— Мы прозевали начало отлива, — неожиданно сказал директор.

Я поднял голову. Черная гряда облаков пересекала устье, и спокойный поток, ведущий словно к концу земли, струился мрачный под облачным небом — казалось, он уводил в сердце необъятной тьмы.

Тайфун

Лицо Мак-Вира, капитана парохода «Нянь-Шань», по закону материального отражения, точно воплощало его духовный облик; его нельзя было назвать ни энергичным, ни глупым; ярких характерных черт в нем не было, — самое обыкновенное невыразительное и спокойное лицо.

Пожалуй, иногда в нем можно было подметить какую-то застенчивость: в деловых конторах на берегу он обычно сидел с опущенными глазами, загорелый и улыбающийся. Когда же он поднимал глаза, видно было, что они у него голубые, а взгляд прямой. Волосы, белокурые и очень тонкие, словно каемкой пушистого шелка охватывали лысый купол его черепа от виска до виска. Усы, огненно-рыжие, походили на медную проволоку, коротко подстриженную над верхней губой; как бы тщательно он ни брился, огненно-металлические отблески пробегали по его щекам всякий раз, как он поворачивал голову. Роста он был, пожалуй, ниже среднего, слегка сутуловатый, и такой коренастый, что, казалось, костюм всегда чуточку его стеснял. Похоже было на то, что он не мог постигнуть требования различных широт, а потому и носил всегда коричневый котелок, коричневый костюм и неуклюжие черные башмаки. Такое одеяние, предназначавшееся для гавани, придавало этому плотному человеку вид натянутый и нелепо франтоватый. На жилете его красовалась тоненькая серебряная цепочка, а сходя на берег, он всегда сжимал своим сильным волосатым кулаком ручку элегантного зонтика; этот зонтик был самого высшего качества, но обычно не бывал свернут. Молодой Джакс, старший помощник, провожая своего капитана до сходней, часто с величайшей любезностью говорил: «Разрешите мне, сэр» — и, почтительно завладев зонтом, поднимал его, встряхивая складки, в одну секунду аккуратно свертывал и возвращал капитану; все это он проделывал с такой торжественно-серьезной физиономией, что мистер Соломон Раут, старший механик, куrivший у люка свою утреннюю сигару, отворачивался, чтобы скрыть улыбку. «О! Да! Зонт... Спасибо, Джакс, спасибо», — благодарно бормотал капитан Мак-Вир, не поднимая глаз.

Воображения у него было ровно столько, сколько требовалось на каждый текущий день, и потому он был спокойно уверен в себе. По этой же причине в нем не было ни капли тщеславия. Только наделенное воображением начальство бывает обидчиво, высокомерно, и ему трудно угодить, но каждое судно, каким командовал капитан Мак-Вир, было

плавучей обителью мира и гармонии. По правде сказать, он так же неспособен был отдаться полету фантазии, как не может часовщик собрать хронометр, пользуясь вместо необходимых инструментов двухфунтовым молотком и пилой. Однако даже пресная жизнь людей, всецело преданных голым фактам — и только фактам, — имеет свою таинственную сторону. Так, например, нельзя понять, что побудило капитана Мак-Вира, примерного сына мелкого торговца колониальными товарами в Белфасте, уйти в море. А ведь именно это он и сделал, когда ему исполнилось пятнадцать лет. Размышляя о подобном факте, вы невольно представляете себе гигантскую властную и невидимую руку, просунувшуюся в земной муравейник, хватающую людей за плечи, сталкивающую их головами, влекущую бессознательные толпы на неведомые пути, к непостижимым целям.

Отец, в сущности, так и не простил ему такого непослушания и глупости. «Мы обошлись бы и без него, — говаривал он впоследствии, — но у нас торговое дело. А ведь он — единственный сын!» Мать долго плакала после его исчезновения. Так как ему не пришло в голову, уходя, оставить записку, его считали умершим в течение восьми месяцев, пока не пришло его первое письмо из Талькагуано. Письмо было короткое и заключало, между прочим, следующее сообщение: «Во время плавания погода стояла очень хорошая». Но, очевидно, автор письма придавал значение лишь одному факту: в самый день написания письма капитан принял его в судовую команду простым матросом. «Потому что я умею работать», — объяснил он. Мать снова горько заплакала, а отец выразил свои чувства замечанием: «Том — осел». Отец был человек тучный и обладал даром посмеиваться исподтишка; этим он до конца своей жизни и донимал сына, к которому относился с жалостью, словно считал его дурачком.

Своих домашних Мак-Вир, в силу необходимости, навещал редко; в течение многих лет он посылал родителям письма, в которых уведомлял их о своих успехах и странствиях по лицу земли. В этих посланиях встречались такие фразы: «Здесь стоит сильная жара». Или: «В первый день рождества в четыре часа пополудни мы повстречались с айсбергами». И старики познакомились с названиями многих кораблей; с именами шкиперов, командовавших ими; с именами шотландских и английских судовладельцев; с названиями морей, океанов, проливов и мысов; с чужеземными названиями портов, откуда вывозят лес, хлопок или рис; с названиями островов, с именем молодой жены их сына. Ее звали Люси. Ему и в голову не пришло упомянуть, считает ли он это имя красивым. А

потом старики умерли.

Великий день свадьбы Мак-Вира наступил сейчас же вслед за великим днем, когда он получил первое свое командование.

Все эти события произошли за много лет до того утра, когда, стоя в штурманской рубке парохода «Нянь-Шань», он созерцал падение барометра, которому не имел причины не доверять. Падение — принимая во внимание совершенство инструмента, время года и положение судна на земном шаре носило характер зловеще-пророческий; но красная физиономия капитана не выражала ни малейшего волнения. Зловещие предсказания не имели для него значения, и он неспособен был понять смысл пророчества, пока последнее не исполнилось под самым его носом. «Барометр упал, что и говорить... подумал он. — Должно быть, поблизости разыгралась на редкость скверная буря».

«Нянь-Шань» шел с юга в порт Фучжоу с кое-каким грузом в нижнем трюме и двумястами китайских кули, возвращавшихся в свои родные деревни в провинции Фуцзянь после нескольких лет работы в различных тропических колониях. Утро было ясное; маслянистое, тусклое море волновалось; а на небе виднелось странное белое туманное пятно, похожее на нимб вокруг солнца. Весь бак был усеян китайцами; мелькали темные одежды, желтые лица, косы; блестели обнаженные плечи, потому что ветра не было и стояла томительная жара. Кули валялись на палубе, болтали, курили или перевешивались за борт; иные, втаскивая на палубу воду, обливали друг друга; кое-кто спал на люках; небольшие группы из пяти-шести человек сидели на корточках вокруг железных подносов с тарелками риса и крохотными чашечками. Каждый кули вез с собой все свое имущество — деревянный сундук с висячим замком и с медной обшивкой на углах; здесь были сложены плоды его трудов: кое-какая праздничная одежда; палочки ароматического вещества; быть может, немного опиума; какой-нибудь хлам, почти ничего не стоящий; маленькая кучка серебряных долларов, заработанная на угольных шаландах, выигранная в игорных домах или нажитая мелкой торговлей, вырытая из земли, в поте лица добытая на рудниках, на железных дорогах, в смертоносных джунглях, под тяжестью непосильной ноши, собранная терпеливо, заботливо охраняемая, любимая неистово.

Часов в десять от Формозского пролива пошли поперечные волны, не очень тревожа пассажиров-китайцев, так как «Нянь-Шань», со своим плоским дном и широким бимсом, пользовался репутацией парохода исключительно устойчивого. Мистер Джакс, расчувствовавшись на суше, громогласно заявлял, что «старушка — красавица и умница». Капитану

Мак-Виру никогда бы и в голову не пришло выражать свое благосклонное мнение о корабле так громко и так оригинально.

Судно, несомненно, было хорошее и отнюдь не старое. Его построили в Думбартоне меньше трех лет назад, по заказу торговой фирмы в Сиаме — «Сигг и Сын». Когда судно было спущено на воду, совершенно законченное и готовое приступить к работе, строители созерцали его с гордостью.

— Сигг просил нас раздобыть надежного шкипера, — заметил один из компаньонов.

А другой, подумав секунду, сказал:

— Кажется, Мак-Вир сейчас на суше.

— В самом деле? В таком случае, телеграфируйте ему немедленно. Это самый подходящий человек, — заявил, ни на минуту не задумываясь, старший компаньон.

На следующее утро перед ними предстал невозмутимый Мак-Вир, прибывший из Лондона с ночным экспрессом, после прощания с женой, весьма сдержанного, несмотря на неожиданный отъезд. Ее родители некогда знавали лучшие дни.

— Осмотрим вместе судно, капитан, — сказал старший компаньон.

И трое мужчин отправились обследовать «Нянь-Шань» с носа до кормы и с кильсона до клотов двух его приземистых мачт.

Капитан Мак-Вир начал с того, что повесил свой пиджак на ручку парового брашпиля, являвшегося последним словом техники.

— Дядя дал о вас самый благоприятный отзыв: со вчерашней почтой он отправил письмо нашим добрым друзьям, мистерам Сигг, и, несомненно, они и в дальнейшем оставят за вами командование, — заметил младший компаньон. Когда вы будете плавать у берегов Китая, капитан, вы сможете гордиться тем, что командуете самым послушным судном, — прибавил он.

— Да? Благодарю вас, — проямлил Мак-Вир.

На него такая перспектива производила не большее впечатление, чем красота широкого ландшафта на подслеповатого туриста. Затем глаза его остановились на секунду на замке двери, ведущей в каюту; сразу заинтересовавшись, он приблизился к двери и энергично задергал ручку, тихо и очень серьезно приговаривая:

— Никому не следует теперь доверять. Замок новехонький, а никуда не годится. Заедает. Видите? Видите?

Как только компаньоны вернулись к себе в контору, племянник с легким презрением заметил:

— Вы расхваливали этого парня мистерам Сигг. Что вы в нем нашли?

— Согласен, что он нимало не похож на твоего воображаемого шкипера. Должно быть, ты это хотел сказать? — коротко отрезал старший компаньон. Где десятник тех столяров, которые работали на «Нянь-Шане»?.. Входите, Бейтс. Как это вы не досмотрели? В двери каюты неисправный замок. Капитан заметил, как только взглянул на него. Распорядитесь, чтобы немедленно заменили другим. Знаете, в мелочах, Бейтс... в мелочах...

Замок заменили, и через несколько дней «Нянь-Шань» отошел на Восток. Мак-Вир не сделал больше ни одного замечания о судне, и никто не слышал от него ни единого слова, указывающего на то, что он гордится своим судном, благодарен за назначение или радуется видам на будущее.

Мак-Вира нельзя было назвать ни словоохотливым, ни молчаливым, но для разговоров он находил очень мало поводов. Эти поводы, конечно, доставляло исполнение служебных обязанностей: приказы, распоряжения и так далее; но к прошлому, раз покончив с ним, он уже не возвращался; будущее для него еще не существовало; а повседневные события комментариев не требовали, ибо факты могли говорить сами за себя с ошеломляющей точностью.

Старый мастер Сигг любил людей немногословных, таких, с которыми «вы можете быть спокойны: им не придет в голову нарушать полученные инструкции». Мак-Вир этому требованию удовлетворял, а потому и остался капитаном «Нянь-Шаня» и занялся навигацией в китайских морях. Судно вышло под английским флагом, но спустя некоторое время представители фирмы Сигг сочли более целесообразным переменить этот флаг на сиамский.

Узнав о предполагавшемся поднятии сиамского флага, Джакс заволновался, словно ему нанесли личное оскорбление. Он бродил, бормоча что-то себе под нос и время от времени презрительно посмеиваясь.

— Вы только представьте себе нелепого слона из Ноева ковчега на флаге нашего судна! — сказал он однажды, просовывая голову в машинное отделение. — Черт бы меня побрал, если я могу это вынести! Я откажусь от места. А вы что скажете, мистер Раут?

Старший механик только откашлялся с видом человека, знающего цену хорошему месту.

В первое утро, когда новый флаг взвился над кормой «Нянь-Шаня», Джакс стоял на мостике и с горечью созерцал его. Некоторое время он боролся со своими чувствами, а потом заметил:

— Чудно плавать под таким флагом, сэр.

— В чем дело? Что-нибудь неладно с флагом? — осведомился капитан Мак-Вир. — А мне кажется, все в порядке.

И он подошел к поручням мостика, чтобы получше разглядеть флаг.

— Ну, а мне он кажется странным! — с отчаянием выпалил Джакс и убежал с мостика.

Такое поведение удивило капитана Мак-Вира. Немного погодя он спокойно прошел в штурманскую рубку и раскрыл международный код сигналов на той странице, где стройными пестрыми рядами вытянулись флаги всех наций. Он пробежал по ним пальцем, а дойдя до сиамского, очень внимательно всмотрелся в красное поле и белого слона. Ничего не могло быть проще, но для большей наглядности он вынес книгу на мостик, чтобы сравнить цветной рисунок с подлинным флагом на флагштоке. Когда Джакс, исполнявший в тот день свои обязанности с видом сдержанно-свирепым, очутился случайно на мостике, капитан заметил:

— Флаг такой, каким ему полагается быть.

— Вот как! — пробормотал Джакс, опускаясь на колени перед палубным инструментальным ящиком и злобно извлекая оттуда запасной лотлинь.

— Да. Я проверил по книге. В длину вдвое больше, чем в ширину, а слон как раз посередине. Ведь эти береговые должны знать, как делать местный флаг. Уж это само собой разумеется... Вы ошиблись, Джакс...

— Да, сэр... — начал Джакс, возбужденно вскакивая, — все, что я могу сказать, это...

Дрожащими руками он ощупывал бухту линя.

— Ничего, ничего! — успокоил его капитан Мак-Вир, тяжело опускаясь на маленький брезентовый складной стул, весьма им любимый. — Вам нужно только следить за тем, чтобы не подняли слона вверх ногами, пока еще не привыкли к нему...

Джакс швырнул новый лотлинь на бак, громко крикнул:

— Боцман, сюда! Не забудьте его вымочить! — Затем с величайшей решимостью повернулся к своему капитану.

Но капитан Мак-Вир, удобно положив локти на поручни мостика, продолжал:

— ...потому что, полагаю, это было бы понято, как сигнал бедствия. Как вы думаете? Я считаю, что с этим слоном нужно обращаться так же, как и с английским флагом...

— В самом деле?! — заревел Джакс так громко, что все бывшие на палубе поглядели на мостик. Потом он вздохнул и, с неожиданной покорностью, кротко сказал: — Да, что и говорить, зрелище было бы

прискорбное.

Позже он конфиденциально обратился к старшему механику:

— Послушайте-ка, я вам расскажу о последней выходке нашего старика!

Мистер Соломон Раут (большей частью именуемый «Длинный Сол», «Старый Сол» или «Отец Раут») почти всегда оказывался выше всех ростом на борту любого корабля, где он служил; поэтому он приобрел привычку наклоняться не спеша, со снисходительным видом. Волосы у него были редкие, рыжеватые, щеки плоские и бледные, руки костлявые, длинные и тоже бледные, словно он всю свою жизнь не видел солнца.

Он улыбнулся с высоты своего роста Джаксу, продолжая курить и спокойно глядеть по сторонам с видом добродушного дядюшки, снисходительно выслушивающего болтовню возбужденного школьника. Рассказ немало его позабавил, но он только спросил бесстрастно:

— И вы отказались от своей должности?

— Нет! — крикнул обескураженный Джакс, устало повышая голос, чтобы перекрыть хриплый скрежет лебедек «Нянь-Шаня».

Работали все лебедки, подхватывая стропы с грузом и поднимая их высоко, до конца длинных подъемных стрел, — казалось, для того только, чтобы затем беззаботно дать им сорваться. Грузовые цепи стонали в ручных лебедках, с бряцанием ударялись о края люков, звенели за бортом, все судно содрогалось, а длинные серые бока его дымились в облаках пара.

— Нет, — крикнул Джакс, — не отказался! Что толку! С таким же успехом я мог преподнести свою отставку вот этой переборке! Не думаю, чтобы такому человеку можно было хоть что-нибудь втолковать. Он просто ошеломляет меня.

В этот момент капитан Мак-Вир, вернувшийся с берега, появился на палубе с зонтом в руке, в сопровождении печального и сдержанного китайца, следовавшего за ним по пятам также с зонтом и в шелковых туфлях на бумажной подошве.

Капитан «Нянь-Шаня», говоря едва слышно и по обыкновению глядя на свои сапоги, сообщил, что в этот рейс необходимо будет заехать в Фучжоу. Затем он высказал пожелание, чтобы мистер Раут позаботился развести пары завтра, ровно в час пополудни. Он сдвинул шляпу на затылок, чтобы вытереть лоб, и при этом заметил, что терпеть не может сходить на берег. Мистер Раут, возвышавшийся над ним, не удостоил произнести ни слова и сумрачно курил, упершись правым локтем в ладонь левой руки. Далее тем же пониженным голосом было отдано распоряжение Джаксу очистить межпалубный трюм от груза. Туда нужно будет поместить

двести человек кули. «Компания Бен-Хин» отправляет эту партию на родину. Провиант — двадцать пять мешков рису — будет доставлен сейчас на сампане. Все кули прослужили семь лет, говорил капитан Мак-Вир, и у каждого есть сундук из камфарного дерева. Нужно поставить на работу плотника: пусть прибьет трехдюймовые планки вдоль нижней палубы на корме и на носу, чтобы эти ящики не сдвинулись с места во время плавания. Джаксу немедленно следует заняться этим делом. «Вы слышите, Джакс?..» Этот китаец поедет до Фучжоу, будет переводчиком. Он клерк «Компании Бен-Хин» и хотел бы осмотреть помещение, предназначенное для кули. Пусть Джакс проводит его на нос... «Вы слышите, Джакс?»

Джакс в соответствующих местах вежливо, без всякого энтузиазма вставлял: «Да, сэр», потом бросил китайцу: «Иди, Джон. Твой смотреть», — и тот немедленно последовал за ним по пятам.

— Твой хочет смотреть, твой смотрит, — сказал Джакс, плохо усваивавший иностранные языки и сейчас безжалостно коверкавший английский жаргон. Он показал на открытый люк: — Каждый кули свой мести спать. Понял?

Джакс имел вид суровый, но не враждебный. Китаец, грустный и безмолвный, заглянул в темный люк; казалось, он стоит у края зияющей могилы.

— Дождь нет там, внизу, — понял? — указывал Джакс. — Хорошая погода кули идет наверх, — продолжал он, воодушевляясь. — Делает так: п-у-у-у-у! — он выпятил грудь и раздул щеки. — Понял, Джон? Дышать свежий воздух. Хорошо. А? Кули мыть свои штаны, кушать наверху. Понял, Джон?

Он пожевал губами и выразительно покрутил руками, изображая стирку белья. Китаец, скрывая под кротким, меланхолическим видом свое недоверие к этой пантомиме, переводил миндалевидные глаза с Джекса на люк и обратно.

— Осень холосо, — произнес он безутешным шепотом и плавно понесся по палубе, ловко избегая попадавшие на пути препятствия. Наконец он исчез, низко пригнувшись под стропом с десятью рогожными мешками, наполненными каким-то дорогим товаром и издававшими отвратительный запах.

Тем временем капитан Мак-Вир поднялся на мостик и вошел в штурманскую рубку, где его ждало письмо, начатое два дня назад. Эти длинные письма начинались словами: «Моя дорогая жена», и стюард, отрываясь от мытья полов и стирания пыли с хронометров, то и дело урывал минутку, чтобы заглянуть в них. Они интересовали его значительно

больше, чем могли бы заинтересовать женщину, для которой предназначались; объяснялось это тем, что в письмах с мельчайшими подробностями изображались все события плавания «Нянь-Шаня».

Капитан, верный фактам, — только они и доходили до его сознания, — добросовестно трудился, излагая их на многих страницах. Дом с красивым портиком, куда адресовались эти письма, находился в северном пригороде; перед окнами был крохотный садик, а в парадной двери красовалось цветное стекло. За этот дом он платил сорок пять фунтов в год и не считал арендную плату слишком высокой, ибо миссис Мак-Вир — претенциозная особа с тощей шеей и презрительной миной — считалась леди и была признана соседями за таковую. У нее была одна тайна: она смертельно боялась, как бы ее супруг не вернулся с намерением навсегда остаться дома. Под той же крышей проживали еще дочь Лидия и сын Том. Эти двое были едва знакомы с отцом. Они знали его как редкого гостя, привилегия которого — курить по вечерам в столовой трубку и спать в доме. Долговязая девочка, пожалуй, стыдилась его, а мальчик был к нему откровенно равнодушен и проявлял это чувство с восхитительной прямоотой, свойственной его возрасту.

А капитан Мак-Вир писал домой с берегов Китая двенадцать раз в год и выражал странное желание, чтобы о нем «напоминали детям»; подписывался он всегда — «твой любящий супруг» — с таким спокойствием, словно эти слишком привычные слова совершенно стерлись от употребления и потеряли всякий смысл.

Китайские моря — Северное и Южное — узкие моря. Они полны повседневных красноречивых фактов: острова, песчаные отмели, рифы, быстрые и изменчивые течения говорят сами за себя, и всякому моряку их язык кажется понятным и точным. На капитана Мак-Вира, знающего цену реальным фактам, их речь возымела такое действие, что он забросил свою каюту внизу и целые дни проводил на мостике судна, часто обедал наверху, а спал в штурманской рубке. Здесь же сочинял он и свои письма домой. В каждом письме, без исключения, встречалась фраза: «В этот рейс погода стояла очень хорошая», или подобное же сообщение в несколько иной форме. И эта удивительно настойчивая фраза отличалась тою же безупречной точностью, как и все остальное письмо.

Мистер Раут также писал письма, только никто на борту не знал, каким многословным он мог быть с пером в руках, ибо у старшего механика хватало смекалки запирать свой письменный стол. Жена наслаждалась его слогом. Были они бездетны, и миссис Раут, крупная веселая сорокалетняя женщина с пышным бюстом, проживала в маленьком коттедже близ

Теддингтона вместе с беззубой и почтенной матерью мистера Раута. С загоревшимися глазами она пробежала свою корреспонденцию за завтраком, а интересные места радостно выкрикивала во весь голос, чтобы ее услышала глухая старуха. Вступлением к каждой выдержке служил предупреждающий крик: «Соломон говорит!» Она имела обыкновение выпаливать изречения Соломона также и чужим людям, приводя их в изумление незнакомым текстом и шутливым тоном этих цитат. Однажды в коттедж явился с визитом новый викарий. Миссис Раут улучила минутку сообщить ему:

— Как говорит Соломон: «Механики, отправляясь в море, созерцают чудеса морской жизни...» — но, заметив изменившееся лицо гостя, остановилась и вытаращила глаза.

— Соломон... О!.. Миссис Раут, — заикаясь, выговорил молодой человек и сильно покраснел, — должен сказать, я не...

— Это мой муж! — закричала она и откинулась на спинку стула.

Поняв, в чем соль, она неудержимо захохотала, прикрыв глаза носовым платком, а викарий силился выдавить улыбку, — в жизнерадостных женщинах он ничего не понимал и теперь был глубоко убежден, что видит перед собой безнадежно помешанную. Впоследствии они очень подружились: узнав, что она не хотела быть непочтительной, он стал считать ее весьма достойной особой, а со временем научился стойко выслушивать мудрые изречения Соломона.

— «Для меня, — так цитировала она своего Соломона, — куда лучше, когда шкипер скучнейший болван, а не плут. С дураком можно иметь дело, а плут проворен и увертлив».

Такое легкомысленное обобщение было сделано на основании лишь одного отдельного случая: несомненная честность капитана Мак-Вира отличалась тяжеловесностью глиняной глыбы.

Что же касается мистера Джакса, — неспособный к обобщениям, неженатый и непомолвленный, он по-иному изливал свои чувства старому приятелю, с которым служил прежде на одном судне; в настоящее время этот приятель исполнял обязанности второго помощника на борту парохода, совершавшего рейсы в Атлантическом океане.

Прежде всего мистер Джакс настаивал на преимуществах плавания в восточных морях, намекая, что это много лучше, чем служить в Атлантике. Он превозносил небо, море, суда и легкую жизнь на Дальнем Востоке. Пароход «Нянь-Шань», по его словам, не имел себе равных.

«У нас нет расшитых золотом мундиров, — писал он, — но зато мы все здесь, как братья. Обедаем все за общим столом дружно и живем, как

бойцовые петухи... Ребята из черной роты — приличные парни, а старина Сол, старший механик, — молодчина! Мы с ним большие друзья. Что же касается нашего старика, то более тихого шкипера ты не найдешь. Иногда кажется, что у него не хватает ума разобрать, где непорядок. И, однако, это неверно. Он командует уже много лет. Глупостей он не делает и управляет своим судном, никому не надоедая. Мне кажется, у него не хватает мозгов искать развлечения в ссорах. Его слабостями я не пользуюсь. Считаю это недопустимым. За пределами своих обязанностей он как будто понимает не больше половины того, что ему говорят. Над этим мы иногда посмеиваемся; но, в общем, скучно быть с таким человеком во время долгого плавания. Старина Сол уверяет, что капитан не очень разговорчив. Неразговорчив? О боже! Да он никогда не говорит! Как-то я разболтался под его мостиком с одним из механиков — а он, должно быть, нас слышал. Когда я поднялся на мостик принять вахту, он вышел из рубки, осмотрелся по сторонам, глянул на боковые огни, бросил взгляд на компас, скосил глаза на звезды. Это он проделывает регулярно. Потом спросил: „Это вы разговаривали только что у борта?“ — „Да, сэр“. — „С третьим механиком?“ — „Да, сэр“. Он отошел на правый борт и сел на маленький складной стул; в течение получаса он не издавал ни единого звука, разве что чихнул один раз. Потом, немного погодя, слышу, он поднимается и идет ко мне на левый борт. „Не могу понять, как это вы находите, о чем говорить, — объявляет он. — Битых два часа! Я вас не браню. Я видел, люди на берегу занимаются этим по целым дням, а вечером сидят, пьют и опять говорят. Должно быть, повторяют все снова и снова одно и то же. Не понимаю“. Слыхал ты что-нибудь подобное? А вид у него был такой терпеливый. Мне даже жалко его стало. Но иногда он раздражает. Конечно, никто не стал бы его злить, даже если бы и имело смысл это делать. Но в том-то и штука, что смысла нет. Он так удивительно наивен! Если бы тебе пришлось в голову показать ему нос, он совершенно серьезно недоумевал бы, что такое с тобой случилось. Как-то он сказал мне очень простодушно, что ему трудно понять, почему люди всегда поступают так странно. Он слишком туп, чтобы размышлять, и в этом-то вся суть».

Так, изливая свои чувства и отдаваясь полету фантазии, писал мистер Джакс своему приятелю, плавающему на торговых судах Атлантики.

Это было его искреннее мнение. Не имело смысла как-либо воздействовать на такого человека. Если бы на белом свете было много таких людей, жизнь показалась бы Джаксу незанимательной и ничего не стоящей. Не он один придерживался такого мнения о капитане. Даже море, словно разделяя добродушную снисходительность мистера Джакса,

никогда не пугало этого молчаливого человека, редко поднимающего глаза и невинно странствующего по водам с единственной целью добыть пропитание, одежду и кров для трех человек, оставшихся на суше. Конечно, он был знаком с непогодой. Ему случалось и мокнуть, и уставать, терпеть невзгоды, но он тотчас же об этом забывал. Потому-то он и имел основания в своих письмах домой неизменно сообщать о хорошей погоде. Но ни разу еще не довелось ему увидеть непомерную силу и безудержный гнев, — гнев, который истощается, но никогда не утихает, гнев и ярость неумного моря. Он знал о нем подобно тому, как все мы знаем, что существуют на свете преступление и подлость. Он слышал об этом, как слышит мирный горожанин о битвах, голоде и наводнениях — и, однако, не понимает значения этих событий, хотя, конечно, ему приходилось вмешиваться в уличную драку, оставаться иной раз без обеда или вымокнуть до костей под ливнем. Капитан Мак-Вир плавал по морям так же, как некоторые люди скользят по поверхности жизни, чтобы затем осторожно опуститься в мирную могилу; жизнь до конца остается для них неведомой; им ни разу не открылись ее вероломство, жестокость и ужас. И на суше и на море встречаются такие люди, счастливые... или забытые судьбой и морем.

II

Следя за упорным падением барометра, капитан Мак-Вир думал: «Видно, быть скверной погоде». Мысль его выразилась именно в такой форме. Неблагоприятную погоду он знал по опыту, а определение «скверная» применялось к погоде, причиняющей моряку умеренные неудобства. Сообщил ему какое-нибудь авторитетное лицо, что близится конец мира и грозят катастрофические атмосферные бури, он воспринял бы это сообщение, как предсказание скверной погоды — и только, ибо катаклизма он не испытал, а вера не всегда влечет за собой понимание. Мудрость его страны выразилась в акте парламента, и согласно этому акту он должен был ответить на некоторые простые вопросы о вихревых штормах — об ураганах, циклонах, тайфунах, для того чтобы его признали годным принять командование судном; видимо, на эти вопросы он ответил удовлетворительно, раз командовал теперь «Нянь-Шанем» в китайских морях в сезон тайфунов. Но если он и ответил некогда на вопросы, то теперь ничего не помнил. Однако он чувствовал, что жара стоит невыносимая, тяжелая и липкая. Он вышел на мостик, но легче ему не стало. Воздух казался густым. Капитан Мак-Вир разевал рот, как рыба, и чувствовал себя не в своей тарелке.

«Нянь-Шань» оставлял борозду на поверхности моря, которая блестела, как волнистый кусок серого шелка. Бледное и тусклое солнце изливало свинцовый жар и странно мерцающий свет. Китайцы лежали на палубах. Их бескровные, осунувшиеся желтые лица походили на лица больных желтухой. Капитан Мак-Вир отметил двоих, лежавших враспашку на палубе с закрытыми глазами, — они казались мертвыми; другие трое ссорились на носу; какой-то дюжий парень, полунагой, с широкими плечами, бессильно перевесился через лебедку; другой сидел на палубе, поддевочки подогнув колени и склонив голову набок, и с невероятной медлительностью заплетал косу; даже пальцы его двигались вяло. Дым еле-еле выбивался из трубы, и его не относил в сторону, он растекался зловещим облаком, испускавшим запах серы и осыпавшим сажей палубу.

— Что вы там, черт возьми, делаете, мистер Джакс? — спросил капитан Мак-Вир.

Такая необычная форма обращения — правда, эти слова он не произнес, а проямлил — заставила мистера Джакса подскочить, словно его кольнуло под ребро. Он сидел на низкой скамейке, принесенной на

мостик; ноги его обвивала веревка, на коленях лежал кусок парусины, и он энергично работал иглой. С удивлением он поднял глаза; выражение его лица было самое невинное и простодушное.

— Я сшиваю веревкой мешки из новой партии, которую мы заготовили для угля в последнее плавание, — коротко объяснил он. — Нам они понадобятся для следующей погрузки, сэр.

— А что случилось со старыми?

— Износились, сэр.

Капитан Мак-Вир, нерешительно поглядев на своего старшего помощника, высказал мрачное и циничное предположение, что больше половины мешков отправились за борт, — «если бы только можно было узнать правду», — и удалился на другой конец мостика. Джакс, раздраженный этой ничем не вызванной атакой, сломал иглу на втором стежке и, бросив работу, вскочил и вполголоса яростно проклял жару.

Винт стучал. Три китайца на корме внезапно прекратили спор, а заплетавший косу обхватил руками колени и уныло уставился в пространство. Бледный солнечный свет бросал слабые, как будто болезненные тени. С каждой секундой волны росли и набегали быстрее, и судно тяжело кренилось в глубоких выбоинах моря.

— Интересно, откуда взялось это проклятое волнение? — громко сказал Джакс, покачнувшись и с трудом удержавшись на ногах.

— С северо-востока, — проворчал с другого конца мостика Мак-Вир, понимавший все в буквальном смысле. — Погода будет скверная. Пойдите посмотрите на барометр.

Джакс вышел из штурманской рубки с изменившейся физиономией: он был задумчив и озабочен. Ухватившись за перила мостика, он стал смотреть вдаль.

Температура в машинном отделении поднялась до ста семнадцати градусов.^[4] Из люка и через сетку в переборках котельной вырывался хриплый гул раздраженных голосов и сердитое звяканье и бряцание металла, словно там, внизу, спорили люди с медными глотками и железными телами. Второй механик ругал кочегаров за то, что они не поддерживают пара. Это был человек с руками кузнеца, и обычно его побаивались; но в тот день кочегары храбро огрызались в ответ и с бешенством отчаяния захлопывали дверцы топки. Затем шум внезапно прекратился, из кочегарки вынырнул второй механик, весь грязный и насквозь мокрый, как трубочист, вылезающий из колодца. Едва высунув голову, он принялся бранить Джакса за то, что вентиляторы кочегарки плохо прилажены; в ответ Джакс умоляюще развел руками, словно желая

сказать: «Ветра нет, ничего не поделаешь... сами видите...» Но тот не хотел внимать никаким доводам. Зубы сердито блеснули на грязном лице. Он берет на себя труд отщелкать этих пустоголовых кочегаров там, внизу, — сказал он, — но, провалились все к черту, неужели проклятые моряки думают, что можно поддерживать пар в этих забытых богом котлах одними тумачами? Нет, черт возьми! Нужна еще и тяга. Если это не так, он готов на веки веков превратиться в палубного матроса, у которого вместо головы швабра. А старший механик с полудня вертится у манометра или носится, как помешанный, по машинному отделению. О чем думает Джакс? Чего он торчит здесь, наверху, если не может заставить своих ни на что негодных калек повернуть вентиляторы к ветру?

Отношения между «машинным» и «палубой» «Нянь-Шаня» были, как известно, братские; поэтому Джакс, перевесившись через поручни, сдержанно попросил механика не прикидываться глупым ослом, — в другом конце мостика стоит шкипер. Но второй механик возмущенно заявил, что ему нет дела до того, кто стоит в другом конце мостика; а Джакс, моментально перейдя от высокомерного неодобрения к крайнему возбуждению, весьма нелюбезно пригласил его подняться наверх, самому установить проклятые вентиляторы и поймать ветер, какой нужен его ослиной породе. Второй механик взбежал наверх и набросился на вентилятор у левого борта судна с такой энергией, словно хотел его вырвать и швырнуть за борт. На самом же деле он только повернул раструб палубного вентилятора на несколько дюймов, затратив на это столько сил, что казался совсем истощенным. Он прислонился к рулевой рубке, а Джакс подошел к нему.

— О господи! — воскликнул слабым голосом механик. Он поднял мутные глаза к небу, потом поглядел на горизонт; а горизонт, наклонившись под углом в сорок градусов, казалось, висел на откосе и медленно оседал. Господи! Что же это такое?

Джакс, расставив свои длинные ноги, как ножки циркуля, заговорил с сознанием собственного превосходства:

— На этот раз нас захватит. Барометр падает черт знает как, Гарри. А вы тут стараетесь затеять дурацкую ссору...

Слово «барометр», казалось, воспламенило гнев второго механика. Собравшись с силами, он суровым и сдержанным тоном посоветовал Джаксу запихать себе в глотку этот гнусный инструмент. Кому какое дело до его чертова барометра! Суть в том, что давление пара падает; а у него жизнь стала хуже собачьей, когда кочегары теряют сознание, а старший механик одурел; ему лично наплевать, скоро ли все это взлетит к черту!

Казалось, механик готов расплакаться; затем он перевел дух, мрачно пробормотал: «Я им покажу — терять сознание!» — и бросился к люку. Тут он задержался на секунду, чтобы погрозить кулаком неестественно бледному солнцу, а затем, гикнув, прыгнул в темную дыру.

Когда Джакс обернулся, его взгляд упал на круглую спину и большие красные уши капитана Мак-Вира, который перешел на другой конец мостика. Не глядя на своего старшего помощника, он тотчас заговорил:

— Очень вспыльчивый человек — этот второй механик.

— И прекрасный механик — проворчал Джакс. — Они не могут держать нужное давление пара, — поспешно прибавил он и ухватился за поручни, предвидя неминуемый крен.

Капитан Мак-Вир, не подготовленный к этому, едва удержался на ногах и налетел на пиллерс, поддерживающий тент.

— Богохульник! — упрямо сказал он. — Если так будет продолжаться, я должен буду от него отделаться при первом удобном случае.

— Это все от жары, — сказал Джакс. — Погода ужасная! Тут и святой начнет ругаться. Даже здесь наверху, я себя чувствую так, словно у меня голова обернута шерстяным одеялом.

Капитан Мак-Вир поднял глаза.

— Вы хотите сказать, мистер Джакс, что вам случалось заворачивать голову в шерстяное одеяло? Зачем же вы это делали?

— Это образное выражение, сэр, — бесстрастно ответил Джакс.

— Ну и словечки же у вас! А это что значит — «и святой начнет ругаться?» Я бы хотел, чтобы вы таких глупостей не говорили. Что же это за святой, если он ругается? Такой же святой, как вы, я думаю. А какое отношение имеет к этому одеяло... или погода? Я же не ругаюсь из-за жары... ведь так? Просто скверный характер. Вот в чем тут дело. А какой смысл выражаться таким образом?

Так выступил капитан Мак-Вир против образных выражений, а под конец и совсем изумил Джакса: он презрительно фыркнул и сердито проворчал:

— Черт возьми! Я его выкину отсюда, если он не будет осторожнее.

А неисправимый Джакс подумал: «Вот тебе на! Мой-то старичок совсем неузнаваем. И характер у него появился. Как вам это нравится! А все погода. Не иначе, как погода. Тут и ангел станет сварливым, не говоря уж о святом...»

Все китайцы на палубе, казалось, находились при последнем издыхании.

Заходящее солнце — угасающий коричневый диск с уменьшенным

диаметром — не излучало сияния, как будто с этого утра прошли миллионы столетий и близок конец мира. Густая гряда облаков зловещего темно-оливкового оттенка появилась на севере и легла низко и неподвижно над морем — осязаемое препятствие на пути корабля. Судно, ныряя, шло ей навстречу, словно истощенное существо, гонимое к смерти. Медный сумеречный свет медленно угас; спустилась темнота, и над головой высыпал рой колеблющихся крупных звезд; они мерцали, как будто кто-то их раздувал, и казалось — нависли низко над землей.

В восемь часов Джакс вошел в штурманскую рубку, чтобы внести пометки в судовой журнал. Он старательно выписал из записной книжки число пройденных миль, курс судна; а в рубрике, озаглавленной «Ветер», нацарапал слово «штиль» сверху донизу, — с полудня до восьми часов. Его раздражала непрерывная монотонная качка. Тяжелая чернильница скользила, словно наделенная разумом, умышленно увертывалась от пера. Написав в рубрике под заголовком «Заметка» — «Гнетущая жара», он зажал зубами кончик ручки, как мундштук трубки, и старательно вытер лицо.

«Крен сильный, волны высокие, поперечные...» — начал он снова и подумал: «Сильный — совсем неподходящее слово». Затем написал: «Заход солнца угрожающий. На северо-востоке низкая гряда облаков. Небо ясное».

Навалившись на стол, сжимая перо, он поглядел в сторону двери и в этой раме увидел, как все звезды понеслись вверх по черному небу. Все они обратились в бегство и исчезли; осталось только черное пространство, испещренное белыми пятнами, ибо море было такое же черное, как и небо, усеянное клочьями пены. Звезды вернулись, когда судно накренилось на другой бок, и вся мерцающая стая покатилась вниз; то были не огненные точки, а крохотные, ярко блестящие диски.

Джакс секунду следил за летучими звездами, а затем стал писать: «8 п.п. Волнение усиливается. Крен сильный, палуба залита водой. Кули размещены на ночь, люк задраен. Барометр все время падает». Он остановился и подумал: «Может быть, ничего из этого не выйдет». Затем решительно внес последнюю запись: «Все данные, что надвигается тайфун».

Собравшись уйти, он должен был отступить в сторону, чтобы дать дорогу капитану Мак-Виру. Тот вошел, не говоря ни слова, и не делая ни единого жеста.

— Закройте дверь, мистер Джакс, слышите? — крикнул он из рубки.

Джакс повернулся, чтобы исполнить приказание, и насмешливо пробормотал:

— Верно, боится простудиться.

Это была не его вахта, но он жаждал общения с себе подобными, а потому беззаботно заговорил со вторым помощником:

— Кажется, дела не так уж плохи, как вы думаете?

Второй помощник шагал взад и вперед по мостику; ему приходилось то быстро семенить ногами, то с трудом карабкаться по вздыбленной палубе. Услышав голос Джакса, он остановился, не отвечая, и стал глядеть вперед.

— Ого! Вот это здоровая волна! — сказал Джакс, покачнувшись так, что коснулся рукой пола.

На этот раз второй помощник издал какой-то недружелюбный звук.

Это был уже немолодой, жалкий человечек со скверными зубами и без малейших признаков растительности на лице. Его спешно наняли в Шанхае, когда прежний второй помощник задержал судно на три часа в порту, ухитрившись (каким образом, капитан Мак-Вир так и не мог понять) упасть за борт и угодить на пустой угольный лихтер, стоявший у борта. Он что-то сломал себе, получив сотрясение мозга, и был отправлен на берег в больницу.

Джакса такой недружелюбный звук не обескуражил.

— Китайцы, должно быть, превесело проводят время там, внизу, — сказал он. — Пусть хоть утешаются тем, что наша старушка — самое устойчивое судно из всех, на каких мне приходилось плавать! Ну вот! Этот вал был хоть куда.

— Подождите — и увидите, — буркнул второй помощник.

Нос у него был острый, с красным кончиком; губы тонкие, поджатые; он всегда имел такой вид, словно сдерживал бешенство; речь его была лаконичной до грубости. Все свободное время он проводил в своей каюте, всегда закрывал за собой дверь и затихал там, словно моментально погружался в сон; но когда наступало время его вахты на палубе, матрос, придя его будить, неизменно заставал его в одной и той же позе: он лежал на койке, голова его покоилась на грязной подушке, а глаза злобно сверкали. Писем он никогда не писал и, казалось, ни от кого их не ждал; слышали, как он упомянул однажды о Вест Хартлпуле, да и то с крайним озлоблением в связи с грабительскими ценами в каком-то пансионе. Был он одним из тех людей, которых, в случае необходимости, можно подобрать в любом порту. Такие люди бывают в достаточной мере компетентны; по-видимому, всегда нуждаются; порочных наклонностей не обнаруживают и неизменно носят на себе клеймо неудачника. На борт они попадают случайно, ни к одному судну не привязаны, живут, мало общаясь с

товарищами, экипаж судна ничего о них не знает, а от места они отказываются в самое неподходящее время. Ни с кем не попрощавшись, они сходят на берег в каком-нибудь всеми забытом порту, где всякий другой человек побоялся бы высадиться, и тащат свой ветхий морской сундучок, старательно обвязанный веревкой, словно там хранятся какие-то сокровища; кажется, будто они, уходя, посылают проклятие судну.

— Подождите, — повторил он, раскачиваясь, чтобы сохранить равновесие, и упорно поворачивая спину Джаксу.

— Вы хотите сказать, что нам придется туго? — спросил Джакс с мальчишеским любопытством.

— Сказать?.. Я ничего не говорю. Вы меня на слове не поймаете, отрезал второй помощник с таким презрительно-самодовольным и лукавым видом, как будто вопрос Джакса был хитро расставленной ловушкой. — Э, нет! Никто из вас не заставит меня свалить дурака, — пробормотал он себе под нос.

Джакс поспешил вывести заключение: второй помощник — подлая скотина, и мысленно пожалел, что бедняга Джек Элен свалился на этот угольный лихтер. Далекая черная масса впереди судна казалась какой-то иной ночью, видимой сквозь звездную ночь земли. Ночь эта была беззвездной и находилась за пределами вселенной; в ее зловещую тишину можно было заглянуть через узкую щель в сияющей сфере, которая обволакивает землю.

— Что бы там ни было впереди, — сказал Джакс, — мы несемся прямо навстречу ему.

— Вы это сказали, — подхватил второй помощник, по-прежнему стоя спиной к Джаксу. — Вы это сказали, помните, — не я.

— Ах, убирайтесь вы к черту! — прорвало Джакса; второй помощник торжествующе хихикнул.

— Вы это сказали, — повторил он.

— Ну так что ж?

— Я знал действительно хороших людей, которым попадало от их шкиперов из-за менее неосторожных слов, — с лихорадочным возбуждением ответил второй помощник. — Э, нет! Меня вы не поймаете.

— Вы как будто чертовски боитесь выдать себя, — сказал Джакс, обозленный такой нелепостью. — Я бы не побоялся говорить то, что думаю.

— Мне-то? Невелика храбрость. Я — нуль, и сам это знаю.

Судно после сравнительно устойчивого положения снова стало раскачиваться на волнах; качка усиливалась с каждой секундой; и Джакс,

старавшийся сохранить равновесие, был слишком занят, чтобы ответить. Как только яростная качка несколько утихла, он проговорил:

— Пожалуй, это уже слишком. Хорошенького понемногу! Надвигается что или нет, а все-таки, мне кажется, следует повернуть судно против волны. Старик только что пошел прилечь. Пойду-ка я поговорю с ним.

Открыв дверь штурманской рубки, он увидел, что капитан читает книгу, Капитан Мак-Вир не лежал, а стоял, уцепившись одной рукой за книжную полку, а в другой держа перед собой раскрытый толстый том. Лампа вертелась в карданном подвесе; книги перекатывались на полке; длинный барометр порывисто описывал круги, стол каждую секунду менял наклон. Среди этих движущихся и вертящихся предметов стоял, держась за полку, капитан Мак-Вир; подняв глаза, он спросил:

— В чем дело?

— Волнение усиливается, сэр.

— Я это и здесь заметил, — пробормотал капитан Мак-Вир. — Что-нибудь неладно?

Джакс, сбитый с толку серьезными глазами, глядевшими на него из-за книги, смущенно ухмыльнулся.

— Качается, как старая калоша, — глупо сказал он.

— Да! Качка сильная, очень сильная... Что вам нужно?

Тут Джакс потерял точку опоры и начал заикаться.

— Я подумал о наших пассажирах, — сказал он, как человек, хватающийся за соломинку.

— О пассажирах? — очень удивился капитан. — О каких пассажирах?

— Да о китайцах, сэр, — пояснил Джакс, жалея о том, что заговорил.

— О китайцах! Так почему вы так прямо и не скажете? Мне и невдомек, о чем вы толкуете. Никогда не слышал, чтобы кули называли пассажирами. Пассажиры! Что это на вас нашло!

Капитан Мак-Вир заложил книгу указательным пальцем, закрыл ее и опустил руку. Вид у него был недоумевающий.

— Почему вы думаете о китайцах, мистер Джакс? — осведомился он.

Джакс, припертый к стенке, выпалил свое мнение:

— Палубу заливают водой, сэр. Я подумал, что вы, может быть, повернете пароход... на время. Пока это волнение немножко не затихнет. А затихнет, я полагаю, очень скоро... Повернете на восток... Я еще не видывал такой качки.

Он едва устоял на пороге, а капитан Мак-Вир, чувствуя, что за полку ему не удержаться, поспешил ее выпустить и тяжело рухнул на диван.

— Повернуть на восток? — сказал он, пытаясь сесть. — Это больше

чем на четыре румба от курса.

— Да, сэр. Пятьдесят градусов... Как раз повернуть носом так, чтобы встретить...

Капитан Мак-Вир ухитрился сесть. Книгу он не уронил и заложенного места не потерял.

— На восток? — повторил он с возрастающим удивлением. — На во... Как, по вашему, куда мы направляемся? Вы хотите, чтобы я повернул мощный пароход на четыре румба от курса, чтобы не причинить неудобства китайцам! Ну, знаете ли, приходилось мне слышать, какие безумства творятся на свете, но такого... Не знай я вас, Джакс, я бы подумал, что вы пьяны. Повернуть на четыре румба... А потом что? Повернуть на четыре румба, чтобы плавание было приятно... Как вам пришло в голову, что я стану вести пароход так, словно это парусник?

— Велико счастье, что это не парусник — с горькой готовностью вставил Джакс. — За этот вечер мы потеряли бы все мачты.

— Да! А вам оставалось бы только стоять и смотреть, как их уносит, — сказал капитан Мак-Вир, как будто несколько оживляясь. — Сейчас мертвый штиль, не так ли?

— Да, сэр. Но несомненно надвигается что-то необыкновенное.

— Возможно. Вы, видимо, думали, что я постараюсь увернуться с пути, — сказал капитан Мак-Вир.

И манеры его и тон были до крайности просты: он не спускал тяжелого взгляда с непромокаемого плаща, валявшегося на полу. Вот почему он не заметил смущения Джакса, а тот был не только раздосадован, но и удивлен; он почувствовал уважение к капитану.

— Видите эту книгу? — серьезно продолжал капитан Мак-Вир, хлопая себя закрытым томом по ляжке. — Я читал здесь главу о штормах.

Это была правда. Он действительно читал главу о штормах. Входя в штурманскую рубку, он не имел намерения браться за эту книгу. Что-то — быть может, то же предчувствие, какое побудило стюарда, не дожидаясь приказа, принести в рубку морские сапоги и непромокаемое пальто капитана, — заставило его руку потянуться к полке; не теряя времени на то, чтобы сесть, он добросовестно силился вникнуть в терминологию, но потерялся среди полукругов, левых и правых квадрантов, возможного местонахождения центра, перемен ветра и показаний барометрической шкалы. Он пытался связать прочитанное с создавшимся положением и кончил тем, что почувствовал презрение и гнев, увидев в нагромождении слов и советов лишь одни измышления и предположения, без малейшего проблеска уверенности.

— Это чертовская штука, Джакс! — сказал он. — Если верить всему, что здесь сказано, придется большую часть своей жизни носиться по морю, стараясь зайти в тыл непогоде.

Он снова хлопнул книгой по ляжке, а Джакс открыл рот, но ничего не сказал.

— Зайти в тыл непогоде! Вы это понимаете, мистер Джакс? Величайшее безумие! — восклицал капитан Мак-Вир, делая паузы и глубокомысленно уставившись в пол. — Можно подумать, что это писала старая баба. Это превосходит мое понимание. Если книга преследовала какие-нибудь полезные цели, то понимать их нужно так: я должен немедленно изменить курс, свернуть к черту, в сторону, и явиться в Фучжоу с севера, тащась в хвосте этой бури, которая, видимо, бродит где-то на нашем пути. С севера! Вы понимаете, мистер Джакс? Триста лишних миль, и в результате — недурной счет за уголь. Если бы каждое слово здесь было святой истиной, я все-таки не мог бы так поступить, мистер Джакс. Не ждите этого от меня...

Джакс молча дивился такому красноречивому взрыву чувств.

— Но суть в том, что вы не знаете, прав ли этот парень. Как вы можете определить, что это за буря, пока вы на нее не натолкнулись? Ведь парня-то на борту здесь нет, не так ли? Отлично! Вот здесь он говорит, что центр таких бурь находится на восемь румбов от ветра, но никакого ветра у нас нет, несмотря на падение барометра. Где же теперь его центр?

— Ветер сейчас подымется, — пробормотал Джакс.

— И пусть подымется! — сказал капитан Мак-Вир с благородным негодованием. — Отсюда вы можете заключить, мистер Джакс, что в книгах всего не найдешь. Все эти правила, как увернуться от ветра и обойти бурю, мистер Джакс, кажутся мне сущим вздором, если здраво смотреть на дело. Он поднял глаза, увидел недоверчивую физиономию Джакса и постарался пояснить сказанное на примере.

— Это так же нелепо, как и ваше необычайное предложение повернуть судно, изменив курс неизвестно на сколько времени, ради удобства китайцев. Если погода меня задержит, — отлично! На то имеется ваш судовой журнал, чтобы ясно говорить о погоде. Но, допустим, я изменю курс и прибуду на два дня позже, а они меня спросят: «Где же это вы были, капитан?» Что я им скажу? «Старался улизнуть от непогоды», — пришлось бы мне ответить. «Должно быть, погода была чертовски скверная?» — сказали бы они. «Не знаю, — ответил бы я. — Я ловко от нее улизнул». Вы понимаете, Джакс? Я весь вечер об этом размышлял.

Он снова поднял глаза. Никто еще не слыхивал от него такой длинной

тирады. Джакс, держась руками за притолоку, походил на человека, созерцающего чудо. В глазах его отражалось безграничное изумление, а физиономия казалась недоверчивой.

— Буря есть буря, мистер Джакс, — резюмировал капитан, — и пароход должен встретить ее лицом к лицу. На свете немало бурь, и нужно идти напролом, без всякой «стратегии бурь», как выражается старый капитан Уилсон с «Мелиты». Недавно на берегу я слышал, как он рассказывал о своей стратегии компании судовладельцев, они сидели за соседним столиком. Мне это показалось величайшим вздором... Маневрируя, — кажется, именно так он выразился, — ему-де удалось увернуться от ужасного шторма и все время держаться от него на расстоянии не менее пятидесяти миль. Он это называет мастерским ходом. Откуда он знал, что на расстоянии пятидесяти миль свирепствует шторм, — никак не могу понять. Это походило на бред сумасшедшего. А я думал, что капитан Уилсон достаточно стар, чтобы соображать, в чем дело.

Капитан Мак-Вир минутку помолчал, потом спросил:

— Сейчас не ваша вахта, мистер Джакс?

Джакс, вздрогнув, пришел в себя.

— Да, сэр.

— Дайте распоряжение, чтобы меня позвали в случае какой-нибудь перемены, — сказал капитан. Он дотянулся до полки, поставил книгу и подобрал ноги на диван. — Закройте дверь так, чтобы она не хлопала, слышите? Терпеть не могу, когда дверь хлопает. Должен сказать, что замки на этом судне никуда не годятся.

Капитан Мак-Вир закрыл глаза.

Он хотел отдохнуть. Он устал и чувствовал себя духовно опустошенным; такое состояние наступает после утомительной беседы, когда человек высказал свои глубочайшие верования, созревшие в течение долгих лет. Действительно, он, сам того не подозревая, выразил свое кредо, и на Джакса это произвело столь сильное впечатление, что он долго стоял по другую сторону двери и почесывал голову.

Капитан Мак-Вир открыл глаза.

Он подумал, что, должно быть, спал. Что это за оглушительный шум? Ветер? Почему же его не позвали? Лампа вертелась в карданном подвесе; барометр описывал круги; стол каждую секунду наклонялся то в одну, то в другую сторону; пара морских сапог с осевшими голенищами скользила мимо дивана. Он быстро протянул руку и поймал один сапог.

В приоткрытой двери показалось лицо Джакса, — только одно лицо, очень красное, с вытаращенными глазами. Пламя лампы затрепетало;

обрывок бумаги взлетел к потолку; поток воздуха охватил капитана Мак-Вира. Натягивая сапог, он вопросительно уставился на распухшее, возбужденное лицо Джакса.

— Началось вдруг, — крикнул Джакс, — пять минут назад... совсем неожиданно!

Дверь хлопнула, и голова исчезла, за закрытой дверью послышались плеск и падение тяжелых капель, словно кто-то выплеснул на стену рубки ведро с расплавленным свинцом. В глухом вибрирующем шуме снаружи можно было расслышать свист. Сквозной ветер разгуливал в душной рубке, словно под открытым со всех сторон навесом. Капитан Мак-Вир ухватил второй сапог, пронесившийся по полу. Он не был взволнован, однако не сразу мог просунуть ногу. Башмаки, которые он сбросил, метались по каюте, игриво наскакивая друг на друга, словно щенки. Поднявшись на ноги, он злобно лягнул их, но промахнулся.

Встав в позу фехтовальщика, он потянулся за своим непромокаемым пальто, а затем, натягивая его, топтался по тесной каюте. Широко расставив ноги и вытянув шею, очень серьезный, он начал старательно завязывать под подбородком тесемки своей зюйдвестки; толстые пальцы его слегка дрожали. Он походил на женщину, надевающую перед зеркалом капор, — когда, прислушиваясь с напряженным вниманием, он, казалось, ждал с минуты на минуту услышать свое имя в гуле, внезапно наполнившем его судно. Шум все усиливался, оглушая его, пока он готовился выйти и встретиться с неизвестным. Шум был грохочущий и очень громкий, — натиск ветра, удары волн и длительная, глухая вибрация воздуха, словно далекие раскаты барабана, предвещающие атаку бури.

Секунду он стоял, освещенный лампой, толстый, неуклюжий, бесформенный в своих доспехах, с напряженным, красным лицом.

— Здоровая тяжесть, — пробормотал он.

Едва он попытался открыть дверь, как ветер овладел ею. Капитан цеплялся за ручку, но ветер вынес его из рубки через порог, и сразу он вступил в единоборство с ветром, поставив себе целью закрыть дверь. В последний момент струя воздуха ворвалась в рубку и слизнула пламя лампы.

Впереди, за носом корабля, он увидел великую тьму, нависшую над белыми вспышками пены; с правого борта тускло мерцали несколько изумительных звезд над необъятным взбаламученным пространством, просвечивающим сквозь бешено крутящееся облако дыма.

На мостике смутно виднелась группа людей, с невероятными усилиями выполнявших какую-то работу; тусклый свет из окон рулевой

рубки падал на их головы и спины. Вдруг одно окно потемнело, затем другое. Голоса исчезнувших в темноте людей доносились до его слуха отрывистыми выкриками, как обычно бывает при сильном ветре. Внезапно подле него появился Джакс; он стоял с опущенной головой и орал:

— Вахта... закрыть... ставни... рулевая рубка... боялся, как бы стекла... не вылетели.

Джакс расслышал упрек своего капитана:

— Почему... не позвали... меня... когда началось?

Он попытался объяснить, а рев бури, казалось, зажимал ему рот:

— Легкий ветерок... оставался... мостике... вдруг... северо-востока... думал... услышите...

Они зашли под прикрытие брезента и могли разговаривать, повысив голос, словно ссорясь.

— Я велел команде закрыть все вентиляторы. Хорошо, что я остался на палубе. Я не думал, что вы заснете... Что вы сказали, сэр? Что?

— Ничего — крикнул капитан Мак-Вир. — Я сказал — хорошо!

— На этот раз мы наскочили! — заорал Джакс.

— Вы не изменили курса? — осведомился капитан Мак-Вир, напрягая голос.

— Нет, сэр. Конечно, нет. Мы идем прямо против ветра. А вот идет волна с носа.

Судно нырнуло, приостановилось и дрогнуло, словно наткнулось на что-то твердое. На один момент все затихло, затем порыв ветра и высоко взлетевшие брызги хлестнули их по лицу.

— Держитесь все время этого курса! — крикнул капитан Мак-Вир.

Когда Джакс вытер с лица соленую воду, все звезды на небе уже исчезли.

III

Джакс был расторопным человеком; на море можно встретить таких молодых смышленных помощников. Хотя злобное бешенство первого шквала немного сбило его с толку, он сейчас же взял себя в руки, кликнул матросов и бросился вместе с ними закрывать те отверстия на палубе, которые не были закрыты раньше.

— Берись, ребята, помогай! — кричал он своим зычным голосом, руководя работой и в то же время думая: «Как раз этого-то я и ждал».

Но тут он начал сознавать, что буря превзошла его ожидания. С первым же дуновением, коснувшимся его щек, ветер, казалось, понесся со стремительностью лавины. Тяжелые брызги окутывали «Нянь-Шань» с носа до кормы; равномерная качка прекратилась; судно, словно обезумев от ужаса, стало метаться и нырять.

Джакс подумал: «Дело нешуточное». Пока он перекрикивался со своим капитаном, внезапно спустилась тьма и упала перед их глазами, как что-то осязаемое. Казалось, все светила вселенной погасли. Джакс, не разбираясь в своих чувствах, был рад, что его капитан тут, под рукой. Присутствие капитана его успокаивало, словно этот человек, выйдя на палубу, принял на свои плечи всю тяжесть бури. В этом — престиж, привилегия и бремя командования.

Никто не мог помочь капитану Мак-Виру нести его бремя. Удел того, кто командует, — одиночество. Он впился глазами во тьму, пытаясь что-нибудь в ней разглядеть, с тем напряженным вниманием моряка, который смотрит прямо навстречу ветру, словно в глаза противника, пытаясь проникнуть в скрытые намерения, угадать цель и силу нападения. Сильный ветер налетал на него из необъятной тьмы; под ногами он чувствовал свое растерявшееся судно и не мог различить даже тень его контуров. Он хотел, чтобы положение изменилось, и ждал, неподвижный, чувствуя себя беспомощным слепцом. В темноте да и при свете солнца ему свойственно было молчать.

Джакс, стоявший подле, заорал между порывами ветра:

— Должно быть, мы сразу попали в самую кашу, сэр!

Затрепетала слабая молния; казалось, она вспыхнула в глубине пещеры, в темном тайнике моря, где вместо пола громоздились пенящиеся гребни.

На один зловещий, ускользающий миг она осветила рваную массу

низко нависших облаков, очертания накренившегося судна, черные фигуры людей, застигнутых на мостике; они стояли с вытянутыми шеями, словно приготовлялись боднуть, и в этот момент окаменели. Затем спустилась трепещущая тьма, и наконец-то пришло настоящее.

Это было нечто грозное и стремительное, как внезапно разбившийся сосуд гнева. Казалось, все взрывалось вокруг судна, потрясая его до основания, заливая волнами, словно на воздух взлетела гигантская дамба. В одну секунду люди потеряли друг друга. Такова разъединяющая сила ветра: он изолирует человека. Землетрясение, оползень, лавина настигают человека случайно — как бы бесстрастно. А яростный шторм атакует его, как личного врага, старается скрутить его члены, обрушивается на его мозг, хочет вырвать у него душу.

Джакс был оторван от своего капитана. Ему казалось, что он закружился в воздухе. Исчезло все; на секунду он потерял даже способность думать; затем рука его нащупала один из столбиков поручней. Он склонен был не верить в реальность происходящего, но отчаяние его от этого не уменьшилось. Несмотря на свою молодость, он уже видывал бури и никогда не сомневался в своей способности вообразить самое худшее, но это настолько превосходило силу его фантазии, что казалось совершенно несовместимым с существованием какого бы то ни было судна. Быть может, он усомнился бы и в себе самом, если бы в данный момент не был всецело поглощен борьбой с неведомой силой, пытавшейся оторвать его от поручней. Кроме того, в нем было убеждение — он не совсем еще уничтожен, ибо чувствует, что полузадушен, разбит и тонет.

Ему казалось, что долгое-долгое время он оставался один у столбика. Дождь лил на него потоками, обрушивался на него, топил... Он ловил ртом воздух, и вода, которую он глотал, была то пресной, то соленой. Большей частью он оставался с закрытыми глазами, словно боялся потерять зрение в этой сумятице стихий. Когда ему удавалось быстро моргнуть, он испытывал некоторое облегчение, видя с правого борта зеленоватый огонек, слабо освещающий брызги дождя и пены. Он смотрел как раз на него, когда свет упал на вздымающийся вал, погасивший огонь. Он видел, как гребень волны с грохотом перекинулся за борт, и этот грохот слился с оглушительным ревом вокруг, и в ту же секунду столбик вырвало из его рук. Он грохнулся на спину, потом почувствовал, как волна подхватила его и понесла вверх. Первой его мыслью было — все Китайское море обрушилось на мостик. Затем, рассуждая более здраво, он вывел заключение, что очутился за бортом. И пока волна трепала его, крутила и швыряла, он мысленно повторял: «Боже мой, боже мой, боже мой, боже

мой!»

Вдруг, с бешенством отчаяния, он принял безумное решение выбраться отсюда. И он стал колотить руками и ногами. Но, едва начав эту мучительную борьбу, он обнаружил, что тут, подле него, находится чье-то лицо, непромокаемое пальто и сапоги. Он яростно за них уцепился, потерял их, снова нашел, еще раз потерял и наконец почувствовал, что его крепко обхватила пара толстых рук. И в свою очередь он крепко обнял толстое, сильное тело. Он нашел своего капитана.

Они барахтались, сжимая друг друга в объятиях. Вдруг вода схлынула, отбросив их к стенке рулевой рубки; задыхающиеся и избитые, они поднялись на ноги и уцепились за что попало.

Джакс был потрясен, словно избежал невероятного оскорбления, направленного лично против него. Его вера в себя ослабела. Он стал кричать бесцельно тому, кого ощущал подле себя в этой зловещей темноте: «Это вы, сэр? Это вы, сэр?» — пока виски у него не заболели. И в ответ он услышал голос, с досадой выкрикнувший ему, словно издали, одно слово: «Да!» Снова волны хлынули на мостик. Он, беззащитный, принял их прямо на свою непокрытую голову, цепляясь за что-то обеими руками.

Движения судна были нелепы. Накренялось оно с какой-то устрашающей беспомощностью: ныряя, оно словно летело в пустоту, а затем всякий раз наталкивалось на стену. Стремительно ложась на бок, оно снова выпрямлялось под таким невероятным ударом, что Джакс чувствовал, как оно начинает вертеться, точно человек, оглушенный дубинкой и теряющий сознание. Ветер выл и неистовствовал во тьме, и казалось — весь мир превратился в черную пропасть. Бывали минуты, когда струя воздуха, словно всасываемая тоннелем, ударяла о судно с такой силой, что оно как будто поднималось над водой и висело в воздухе, трепеща всем корпусом. Затем снова начинало метаться, брошенное в кипящий котел. Джакс силился собраться с мыслями и хладнокровно обсудить положение.

Море под тяжелым натиском ветра вздымалось и обдавало нос и корму «Нянь-Шаня» снежными брызгами пены, растекающейся в темноте по обеим сторонам судна. И на этом ослепительном покрове, растянутом под черными облаками и испускающем синеватый блеск, капитан Мак-Вир замечал изредка несколько крохотных пятнышек, черных, как эбеновое дерево, — верхушки люков и лебедек, подножие мачты, стену рубки. Вот все, что он мог видеть на своем корабле. Средняя же часть, скрытая мостиком, на котором находились он сам и его помощник, закрытая рулевая рубка, где стоял рулевой, охваченный страхом, как бы его вместе со всей

постройкой не снесло за борт, — средняя часть походила на полузатопленную скалу на берегу. Она походила на скалу, упавшую в кипящую воду, которая заливала ее, бурлила и с нее низвергалась, — на скалу во время прибоя, за которую цепляются потерпевшие крушение люди; только эта скала поднималась, погружалась, раскачивалась без отдыха и срока, словно, чудесным образом оторвавшись от берега, шествовала, переваливаясь, по поверхности моря.

Сокрушающий шторм с бессмысленной яростью разрушителя ограбил «Нянь-Шань»: трисели были сорваны с линьков, накрепко привязанный тент тоже сорван, брезент разорвался, поручни согнулись, мостик смело, и снесло две шлюпки. Никто не видел и не слышал, как они исчезли, — словно растаяли под ударами и натиском волн. Уже позднее, на фоне белой пены высокой волны, низвергающейся на середину судна, Джакс мельком увидел две пары черных шлюпбалок, но без шлюпок, вынырнувших из плотной черноты, развевающийся конец каната и окованный железом блок, прыгающий в воздухе; тут только узнал он о том, что произошло за его спиной, на расстоянии каких-нибудь трех ярдов.

Он вытянул шею, разыскивая ухо своего капитана. Он нашел его, коснувшись губами, — большое, мясистое, очень мокрое. И взволнованно крикнул:

— Унесло наши шлюпки, сэр!

И снова он услышал этот голос, напряженный и слабый, но совершенно спокойный в хаосе шумов, словно доносившийся откуда-то из тихого далека, за пределами черных просторов, где бушевала буря; снова он услышал голос человека — хрупкий и неукротимый звук, который может передавать беспредельность мысли, намерений и решений, — звук, который донесет уверенные слова в тот последний день, когда обрушатся небеса и свершится суд, — снова он услышал его; этот голос кричал ему откуда-то издалека:

— Хорошо!

Он подумал, что его не расслышали:

— Наши шлюпки... я говорю, шлюпки... шлюпки, сэр! Две снесло!

Тот же голос, на расстоянии фута от него, — и такой далекий, прокричал резонно:

— Ничего не поделаешь!

Капитан Мак-Вир не повернул лица, но Джакс расслышал еще несколько слов, подхваченных ветром:

— Чего можно ждать... когда пробираешься... в таком... Приходится... что-нибудь... оставить... позади... разумеется...

Джакс напряженно прислушивался. Больше он ничего не услышал. Капитан Мак-Вир сказал все, что хотел сказать; а Джакс, не видя, представил себе широкую, плотную спину, повернутую к нему. Непроницаемая тьма давила на призрачный блеск моря. Джакса охватила тупая уверенность, что делать больше нечего.

Если рулевые приводы выдержат; если огромные массы воды не проломают палубы и не разобьют люков; если машины не сдадут; если удастся вести судно против этого ужасного ветра и оно не будет погребено одной из этих чудовищных волн — Джакс время от времени видел только зловещие белые гребни, вздымающиеся высоко над бортом, — тогда есть шанс выбраться благополучно. Казалось, что-то в нем перевернулось, и он особенно остро понял, что «Нянь-Шань» погиб.

«Пришел ему конец», — сказал он себе и вдруг почувствовал волнение, словно в этих словах открылся какой-то новый, неожиданный смысл. Что-нибудь да случится. Теперь ничего нельзя сделать, ничем нельзя помочь. От людей на борту помощи не будет, и судно долго не продержится. Эта буря чудовищна!

Джакс почувствовал, как чья-то рука тяжело обхватила его плечи, и на это ответил очень разумно — крепко обнял за талию своего капитана.

Так стояли они, обнявшись, в слепой ночи, поддерживая друг друга в борьбе с ветром, щека к щеке, а губы к уху, — на манер двух старых негодных кораблей, связанных корма с носом.

И Джакс услышал голос своего командира, звучавший едва ли громче, чем раньше, но ближе, словно он пошел наперерез чудовищному натиску урагана; в нем было все то же странное спокойствие, как бы мирное сияние нимба.

— Вы не знаете, где команда? — спросил этот голос, мощный и в то же время угасающий, как будто сила ветра одолевала его и сейчас же относилась прочь от Джакса.

Джакс не знал. Все матросы были наверху, когда ураган обрушился на судно. Он понятия не имел, куда они забрались. В данном случае их все равно что нигде не было, так как пользы от них быть не могло. Почему-то вопрос капитана расстроил Джакса.

— Вам нужны матросы, сэр? — боязливо крикнул он.

— Должен знать! — крикнул в ответ капитан Мак-Вир. — Держитесь крепко.

Они держались. С неукротимым бешенством злобный напор ветра остановил судно; в течение одной зловещей напряженной секунды оно только качалось быстро и легко, как детская люлька, а воздух — казалось,

вся атмосфера — яростно проносился мимо, с ревом отрываясь прочь от мрачной земли.

Ветер душил их, и, закрыв глаза, они крепче сжали друг друга в объятиях. Судя по силе удара, столб воды, скользивший вертикально в темноте, налетел на судно, переломился и рухнул на мостик, погребая его под своей губительной тяжестью. Столб, при падении разбившийся на струи, окутал их с головы до ног вихрем пены; соленая вода наполнила им уши, рот, ноздри. Она ударила их по ногам, рванула второпях за руки, быстро забурилась под подбородком. Открыв глаза, они увидели громадствующую массу пены, бушующую вокруг того, что походило на обломки судна. Да, оно вынуждено было сдаться; и двое задыхающихся людей тоже были побеждены сокрушающим ударом. И вдруг судно рванулось вперед, чтобы снова отчаянно вынырнуть, точно пытаясь выбраться из-под развалин.

Валы набегали в темноте со всех сторон, чтобы отогнать судно назад, где оно должно было погибнуть. Злобны были нападавшие на него удары. Судно напоминало живое существо, отданное на растерзание толпе: его жестоко толкали, били, подкидывали, бросали вниз, топтали. Капитан Мак-Вир и Джакс держались друг за друга, оглушенные шумом, полузадушенные ветром; а великое смятение, терзавшее их тела, словно необузданный взрыв страсти, вызывало в душе глубокую тревогу. Один из тех диких и зловещих воплей, какие таинственно прорезают иногда рев урагана, как на крыльях, налетел на судно, а Джакс постарался его перекрычать:

— Выдержит ли судно?

Этот крик вырвался из его груди. Он был так же не преднамерен, как рождение мысли в голове, и Джакс сам его не слышал. Он сразу угас, — исчезли и мысль, и намерение, и усилие, и неслышные вибрации этого крика слились с воздушными волнами.

Джакс ничего не ждал в ответ. Решительно ничего. Да и какой ответ можно было дать? Но спустя некоторое время он с изумлением расслышал хрупкий голос, звук-карлик, не побежденный в чудовищной сумятице:

— Может выдержать!

То был глухой вой, а уловить его было труднее, чем еле слышный шепот. И снова раздался голос, полузатопленный треском и гулом, словно судно, сражающееся с волнами океана.

— Будем надеяться! — крикнул голос, маленький, одинокий и непоколебимый, как будто не ведающий ни надежды, ни страха; и замелькали бессвязные слова: — Судно... это... никогда... как-нибудь... к

лучшему.

Джакс уже не пытался расслышать.

Тогда голос, словно внезапно напав на единственный предмет, способный противостоять силе шторма, окреп и твердо выкрикнул последние отрывистые слова:

— Оно пробивается... строили его... хорошие люди... есть шансы... машины... Раут... хороший парень.

Капитан Мак-Вир снял руку с плеч Джакса, и было так темно, что он сразу перестал существовать для своего помощника. Джакс после крайнего напряжения дал отдых своим мускулам, сразу ослабел. Гложущая тоска уживалась с невероятной сонливостью, словно его избили и измучили до того, что нагнали на него дремоту. Ветер завладел его головой и пытался сорвать ее с плеч; одежда, насквозь промокшая, была тяжела, как свинец; холодная и мокрая, она походила на броню из тающего льда; он дрожал; это продолжалось долго: крепко держась руками, он медленно погружался в бездну телесных страданий; он сосредоточился лениво и бесцельно на самом себе; а когда что-то сзади ударило слегка о его ноги, он чуть не подпрыгнул.

Качнувшись вперед, он натолкнулся на спину капитана Мак-Вира; тот не пошевелинулся. Потом чья-то рука схватила Джакса за бедро. Наступило затишье, грозное затишье, словно шторм затаил дыхание. А Джакс чувствовал, как кто-то ощупывает его всего. Это был боцман. Джакс узнал эти руки, такие толстые и огромные, что казалось — они принадлежат человеку какой-то новой породы.

Боцман поднялся на мостик и полз на четвереньках против ветра. Тут он ткнулся головой в ноги старшего помощника, немедленно присел и стал исследовать особу Джакса, осторожно ощупывая его руками, словно извиняясь за свою смелость.

Это был некрасивый малорослый грубый моряк, лет пятидесяти, коротконогий, с жесткими волосами, длиннорукий, похожий на старую обезьяну. Силы он был непомерной; в его больших неуклюжих лапах, напоминавших коричневые боксерские перчатки, самые тяжелые предметы казались игрушечными. Не считая седоватых волос на груди, хриплого голоса и грозного вида, он был лишен всех классических атрибутов боцмана. Его добродушие доходило почти до глупости: матросы делали с ним, что хотели, инициативы у него не было ни на грош, и человек он был покладистый и разговорчивый. По этой причине Джакс его недолго любил; но капитан Мак-Вир как будто считал его первоклассным боцманом, вызывая этим презрительное неодобрение Джакса.

Он ухватился за плащ Джакса и подтянулся, чтобы встать на ноги; такое свободное обращение, да и то с величайшей осторожностью, он позволил себе лишь потому, что его вынуждал к этому ураган.

— В чем дело, боцман, в чем дело? — нетерпеливо заревел Джакс. — Что нужно здесь, на мостике, этому плуту боцману?

Тайфун действовал Джаксу на нервы. Хриплый рев боцмана, казалось, выражал величайшее удовлетворение, но слов нельзя было разобрать. Да, несомненно, старый дурак чему-то обрадовался.

Свободная рука боцмана нашла чье-то другое тело, потому что изменившимся голосом он стал спрашивать:

— Это вы, сэр? Это вы, сэр?

Ветер заглушал его вопли.

— Да! — крикнул капитан Мак-Вир.

IV

Напрягая голос, боцман добился лишь того, что капитан Мак-Вир расслышал странное сообщение:

— Всех китайцев меж палуб швыряет, сэр.

Джакс, стоявший с подветренной стороны, слышал, как эти двое кричали на расстоянии шести дюймов от него, словно их разделяло полмили; казалось, в тихую ночь два человека перекликаются через поле. Он слышал отчаянный крик капитана Мак-Вира: «Что? Что?..» — и напряженный, хриплый голос боцмана: «Всей кучей... сам их видел... Ужасное зрелище, сэр... Думал... сказать вам».

Джакс оставался равнодушным, словно сила урагана сделала его безответным, уничтожив всякую мысль о действии. Кроме того, он был очень молод; его всецело поглощало одно занятие: закалить сердце в ожидании самого худшего, и всякая иная форма деятельности вызывала непреодолимое отвращение. Он не был испуган: он это знал, ибо, твердо веря в то, что ему не видать завтрашнего дня, оставался спокоен.

Бывают такие моменты пассивного героизма, им поддаются даже храбрые люди. Многие моряки, несомненно, могут припомнить случай из своей жизни, когда подобное состояние каталептического стоицизма внезапно овладевало всем экипажем. Джакс же мало был знаком с людьми или штормами. Он сознавал свое спокойствие, неумолимое спокойствие; в действительности же это был страх, — правда, не тот гнусный страх, который заставляет человека порядочного испытывать отвращение к себе самому.

Скорее это было вынужденное духовное отупение. Оно вызывается длительным напряжением во время бури, предчувствием надвигающейся катастрофы; тут играет роль и физическая усталость: человек устает цепляться за жизнь среди этого хаоса. Усталость, пронизывающая и предательская, которая проникает глубоко в сердце человека и заставляет это сердце сжиматься, — сердце неисправимое, выбирающее из всех даров земли, включая и жизнь, только покой.

Джакс был оглушен гораздо сильнее, чем предполагал. Он крепко держался, весь мокрый, замерзший, оцепеневший. В быстрой смене видений мелькнули воспоминания, никакого отношения не имеющие к его настоящему положению (говорят, перед утопающим проносится таким образом вся его жизнь). Он вспомнил своего отца: после деловой

катастрофы этот достойный человек спокойно улегся в постель и тотчас же, покорный, умер. Этих обстоятельств Джакс, конечно, не вспомнил, но, оставаясь совершенно безучастным, он отчетливо увидел лицо несчастного человека. Вспомнилось, как, еще мальчишкой, он, Джакс, играл в карты на борту корабля, в Тэйбл Бай, — этот корабль погиб потом со всем экипажем; вспомнились густые брови своего первого шкипера; и мать он вспомнил без всякого волнения, — с таким же спокойствием он, бывало, входил в ее комнату и заставлял ее за книгой. Мать его тоже умерла; решительная женщина, оставшись без всяких средств, очень энергично занималась его воспитанием.

Это продолжалось не больше секунды, быть может — меньше. Тяжелая рука легла на его плечи; капитан Мак-Вир кричал ему в ухо:

— Джакс! Джакс!

Он уловил в голосе озабоченную нотку. Ветер всю тяжестью навалился на судно, стараясь пригвоздить его среди волн. А волны образовали брешь над ним, словно оно было полузатонувшим бревном; чудовищные пенистые валы грозили ему издали. Валы вылетали из тьмы, а гребни их светились призрачным светом — светом морской пены; в злобных вскипающих бледных вспышках видна была каждая волна, надвигающаяся, падающая и бешено терзающая хрупкое тело судна. Ни на одну секунду оно не могло освободиться от воды. Окаменевший Джакс заметил в движении судна зловещие признаки метанья наобум. Оно уже не боролось разумно; это было начало конца; и озабоченная нотка в голосе капитана Мак-Вира подействовала болезненно на Джакса, словно проявление слепого и губительного безумия.

Чары шторма овладели Джаксом, проникли в него, поглотили; он был опутан ими, застыл в немом внимании. Капитан Мак-Вир настойчиво кричал, но ветер разъединял их, как прочный клин. Капитан повис на шее Джакса, словно тяжелый жернов, и вдруг головы их столкнулись.

— Джакс! Мистер Джакс! Слышите!..

Он вынужден был ответить на этот голос, который не хотел умолкнуть. Он ответил привычными словами:

— Да, сэр!

И тотчас же сердце его, покоренное штормом, который порождает тягу к покою, восстало против тирании дисциплины и командования.

Капитан Мак-Вир крепко зажал согнутой в локте рукой голову своего помощника и заорал ему в ухо. Изредка Джакс прерывал его, поспешно предостерегая: «Осторожно, сэр!» — или капитан Мак-Вир выкрикивал заклятье: «Держитесь крепче!» И черная вселенная, казалось, начинала

кружиться вместе с судном. Они умолкали. Судно еще держалось. И капитан Мак-Вир снова выкрикивал:

— ...Он говорит... все китайцы... швыряет... Нужно разузнать... в чем дело.

Как только ураган обрушился на судно, на палубе нельзя было оставаться, и матросы, ошеломленные и перепуганные, приютились в левом проходе под мостиком. Дверь на корму они заперли. В проходе было очень темно, холодно и страшно. При каждом тяжелом толчке судна они стонали в темноте, а снаружи ударяли тонны воды, словно пытаясь проникнуть к ним сверху. Боцман обратился к матросам с суровой речью, но, как говорил он впоследствии, таких неразумных людей ему еще никогда не приходилось встречать. Там им было не так уж плохо, от непогоды они были укрыты, и никакой работы от них не требовалось; и все же они только и делали, что ворчали да жаловались, как малые ребята. Наконец один из них сказал, что дело обстояло бы не так плохо, будь здесь хоть какой-нибудь свет, чтобы можно было видеть дальше своего носа. Он заявил, что сойдет с ума, если будет лежать здесь в темноте и ждать, когда проклятая калоша пойдет ко дну.

— Чего же ты не выйдешь наружу и не покончишь с этим раз и навсегда? — накинулся на него боцман.

Это вызвало бурю проклятий. На боцмана со всех сторон посыпались упреки. Они как будто обижались на то, что им не преподносят сию же минуту лампы. Они хныкали, требовали лампу: если уж умирать, так при свете. И хотя нелепость их ругани была очевидна, раз не было надежды добраться до помещения, где хранились лампы, — оно находилось на носу, — все-таки боцман сильно расстроился. Он считал, что они зря придираются к нему. Так он им сказал, чем вызвал взрыв возмущения. Поэтому он искал прибежища в молчании, исполненном горечи. Их воркотня, вздохи и ругань очень ему надоели, но тут он вспомнил, что в межпалубном пространстве находятся шесть круглых ламп, и кули несколько не страдают, если забрать у них одну лампу.

На «Нянь-Шане» была угольная яма, расположенная поперек судна; иногда туда помещали груз, но в данный момент она была пуста. С передним межпалубным пространством она сообщалась железной дверью, а ее люк выходил в паропровод под мостиком. Таким образом, боцман мог проникнуть в межпалубное пространство, не выходя на палубу; но, к величайшему своему изумлению, он обнаружил, что никто не желает помочь ему снять крышку с люка. Он все-таки стал нащупывать ее, но один из матросов, лежавший у него на дороге, отказался сдвинуться с места.

— Да ведь я же хочу раздобыть вам проклятый свет, сами же просили! — чуть ли не умоляюще воскликнул он.

Кто-то посоветовал ему убираться и засунуть голову в мешок. Боцман пожалел, что не узнал голоса и в темноте не мог разглядеть, кто это крикнул, иначе — потонет судно или нет, а уж он бы свернул шею этому негодяю. Тем не менее он решил доказать им, что может достать свет, хотя бы ему пришлось из-за этого умереть.

Качка была настолько сильна, что всякое движение было сопряжено с опасностью. Даже лежать ничком было делом нелегким. Он едва не сломал себе шею, прыгая в угольную яму. Он упал на спину и стал беспомощно кататься из стороны в сторону в опасной компании с тяжелым железным ломом, — быть может, с ломиком кочегара, — кем-то здесь оставленным. Лом действовал ему на нервы, словно это был дикий зверь; он не мог его видеть, так как в яме, осыпанной угольной пылью, была непроглядная тьма; но он слышал, как лом скользит и звякает, ударяясь то здесь, то там, и всегда по соседству с его головой. Казалось, он производил необычайный шум и ударял с такой силой, словно был величиной с хорошую балку моста. На это обратил внимание боцман, пока его швыряло от правого борта к левому и обратно, а он отчаянно цеплялся за гладкие стены, стараясь удержаться. Дверь в межпалубное пространство была неплотно пригнана, и внизу он увидел нить тусклого света.

Был он моряк и человек еще энергичный — и вскоре улучил удобный момент и поднялся на ноги; на свое счастье, он, поднимаясь, опустил руку на железный ломик и подхватил его. В противном случае ему пришлось бы все время опасаться, как бы эта штука не сломала ему ног или не повалила его снова на пол. Поднявшись, он сначала стоял неподвижно. Ему было не по себе; в крошечной тьме качка казалась совсем необычной, неожиданной, трудно было к ней приспособиться. На секунду он так растерялся, что не смел двинуться с места, боясь «новой атаки». Ему вовсе не хотелось разбиться вдребезги в этой угольной яме.

Два раза он ударился головой и слегка одурел. В ушах его еще звенели удары и звяканье железного лома, и он крепче сжал кулак, желая себе доказать, что он тут, в его руке. Он смутно подивился, с какой ясностью слышны здесь, внизу, завывания бури. Казалось, в этой пустой яме что-то человеческое слышится в вое и визге, человеческое бешенство и страдание; звуки были пронзительные. Когда судно накренилось, раздавались удары, глухие тяжеловесные удары, словно какой-то громоздкий предмет, весом в пять тонн, метался по трюму. Но никаких громоздких предметов в трюме не было. Что-нибудь на палубе? — не может быть. Или за бортом? —

Невозможно.

Все это он обдумал быстро, отчетливо и точно, как моряк, и в конце концов все-таки недоумевал. Этот заглушенный шум доносился снаружи вместе с плеском воды, лившейся на палубу над его головой. Был ли то ветер? Должно быть. Но сюда, вниз, шум ветра доносился, как рев обезумевшей толпы. И боцман вдруг тоже почувствовал странное желание увидеть свет — хотя бы утонуть при свете! — и тревожное стремление выбраться из этой ямы.

Он откинул болт; тяжелая железная доска повернулась на петлях, и казалось — он распахнул дверь навстречу буре. Хриплый вой оглушил его: это был не ветер, а шум воды над головой, который придушили горловые пронзительные крики, сливавшиеся в отчаянный вопль. Он расставил ноги во всю ширину двери и вытянул шею. И прежде всего он увидел то, за чем пришел: шесть маленьких желтых язычков пламени, раскачивающихся в тусклом полумраке.

Помещение было устроено, как рудничная шахта: посредине стояли подпирающие потолок столбы, над головой тянулись поперечные бимсы, уходящие во мрак, в бесконечность. С левой стороны смутно виднелась какая-то огромная глыба, напоминающая склеп. Все помещение, и предметы, и тени — двигались, двигались непрерывно. Боцман вытаращил глаза: судно накренилось на правый борт, и неясная глыба — не то склеп, не то куча обвалившейся земли — испустила громкий вой.

Мимо со свистом пронесли куски дерева. «Доски», — подумал он, несказанно испуганный, и втянул голову в плечи. У его ног, скользя на спине, пролетел человек; глаза его были широко раскрыты, он простирал руки в пустоту. Приблизился другой, подсакивая, словно сорвавшийся камень; голова его была зажата между ногами, руки стиснуты. Коса взметнулась вверх; человек попытался ухватить за колени боцмана, и из разжавшейся руки выпал и покатился к ногам боцмана белый диск. Он разглядел серебряный доллар и заорал от удивления. Шарканье босых ног, гортанные крики — и гора извивающихся тел, нагроможденных у левого борта, понеслась, инертная, скользящая, к правому борту и с глухим стуком ударилась об него. Крики смолкли. Над ревом и свистом ветра пронесся протяжный стон, и взору боцмана предстала одна сплошная масса, состоящая из голов и плеч, из голых ступней, дрыгающих в воздухе, поднятых кулаков и согнутых спин, из ног, кос и лиц.

— О, бог ты мой! — крикнул он в ужасе и захлопнул железную дверь, спасаясь от этого зрелища.

Вот с каким докладом явился он на мостик. Он не мог держать это при

себе, а на борту корабля есть только один человек, с которым стоит поделиться своей заботой. Когда он вернулся в проход, матросы обругали его дураком. Почему он не принес этой лампы? Какое, черт подери, им дело до кули? А когда он вышел на палубу, все происходящее внутри судна показалось ему ничтожным по сравнению с опасностью, грозящей пароходу.

Сначала он подумал, что пароход начал идти ко дну в тот самый момент, как он вышел. Трапы, ведущие на мостик, были смыты; но огромная волна, залившая ют, подняла его наверх. После этого ему пришлось некоторое время пролежать на животе, держась за рым-болт; изредка он вбирал воздух в легкие и глотал соленую воду. Дальше он пополз на четвереньках, слишком перепуганный и потрясенный, чтобы возвращаться назад. Так он добрался до заднего отделения рулевой рубки. В этом сравнительно защищенном местечке он нашел второго помощника. Боцман был приятно удивлен, — у него создалось впечатление, будто все, находившиеся на палубе, давным-давно смыты за борт. Он с волнением спросил, где капитан.

Второй помощник лежал ничком, как злобный зверек под забором.

— Капитан? Отправился за борт, после того как мы по его вине попали в эту кашу. — И до первого помощника ему никакого дела не было... Еще один дурак. Никакого значения не имеет. Все равно рано или поздно очутится за бортом.

Боцман снова выполз наружу; по его словам, он почти не надеялся кого-нибудь найти, но ему хотелось поскорее убраться от «того человека». Он полз вперед, как изгнанник навстречу безжалостному миру. Вот почему он так обрадовался, найдя Джакса и капитана. Но то, что происходило в межпалубном пространстве, казалось ему теперь делом маловажным. Да и трудно было добиться того, чтобы тебя услышали. Все-таки он ухитрился сообщить, что китайцы катаются по полу вместе со своими сундучками, а он, боцман, поднялся наверх, чтобы донести об этом. Что же касается команды, — то все в порядке. Затем, успокоенный, он уселся, обвив руками и ногами стойку телеграфа машинного отделения — чугунный толстый столб. Если этот столб смочет, тогда, размышлял он, и ему самому придет конец. О кули он больше не думал.

Капитан Мак-Вир дал понять Джаксу, чтобы он пошел вниз — посмотреть.

— Что же я должен делать, сэр?

Джакс промок и дрожал всем телом, а потому голос его звучал как

блеяние.

— Раньше посмотрите... Боцман... говорит...

— Боцман — проклятый дурак! — заревел трясущийся Джакс.

Нелепость отданного приказа возмутила Джакса. Ему так не хотелось идти, словно судно должно было потонуть в тот момент, когда он оставит палубу.

— Я должен знать... не могу... уйти...

— Они успокоятся, сэр.

— Дерутся... Боцман говорит, они дерутся... Почему?.. Не могу... допустить... чтобы дрались... на борту судна... Хотел бы... чтобы вы оставались здесь... на случай... если меня снесет... за борт... Посмотрите и скажите мне... в рупор машинного отделения... Не хочу, чтобы вы... поднимались сюда... слишком часто... Опасно... ходить... по палубе...

Джакс, голову которого сжимал капитан, с ужасом прислушивался к этим словам.

— Не хочу... чтобы вы погибли... пока судно... держится... Раут... надежный парень. Судно может еще... пробиться...

И вдруг Джакс понял, что должен идти.

— Вы думаете — оно выдержит? — воскликнул он.

Но ветер проглотил ответ, и Джакс уловил одно только слово, произнесенное с величайшей энергией:

— Всегда...

Капитан Мак-Вир освободил голову Джакса и, наклонившись к боцману, крикнул:

— Ступайте назад с помощником!

Джакс почувствовал только, что рука упала с его плеч. Его отпустили, отдав приказание... сделать — что? Он был в таком отчаянии, что неосмотрительно разжал руки, цеплявшиеся за поручни, и в ту же секунду ветер подхватил его. Ему казалось, что никакая сила не может его остановить и он полетит прямо за корму. Он поспешно лег ничком, а боцман, следовавший по пятам, упал на него.

— Не поднимайтесь пока, сэр! — крикнул боцман. — Не торопитесь!

Волна пронеслась над ними. Джакс разобрал слова захлебывающегося боцмана: трапы были снесены.

— Я спущу вас вниз за руки, сэр! — крикнул он; затем сообщил что-то о дымовой трубе, которая, по всем вероятностям, также может отправиться за борт.

Джакс считал это вполне возможным и представил себе, что огонь в топках погас, судно беспомощно...

Боцман продолжал орать над самым его ухом.

— Что? Что такое? — отчаянно крикнул Джакс.

А тот повторил:

— Что бы сказала моя старуха, если б видела меня сейчас?

В проходе, куда пробилась и плескалась в темноте вода, люди лежали неподвижно, как трупы. Джакс споткнулся об одного и злобно выругал его за то, что валяется на дороге. Тогда два-три слабых голоса взволнованно спросили:

— Есть надежда, сэр?

— Что с вами, дурачье? — грубо сказал он.

Он чувствовал, что готов броситься на пол подле них и больше не двигаться. Но они как будто ободрились. Услужливо повторяя: «Осторожнее! Не забудьте — здесь крышка лаза, сэр!» — они спустили его в угольную яму. Боцман прыгнул вслед за ними и, едва поднявшись на ноги, произнес:

— Она бы сказала: «Поделом тебе, старый дуралей! Зачем совался в море?»

У боцмана были кое-какие средства, и он любил частенько упоминать об этом. Его жена — толстая женщина — и две взрослые дочери держали зеленую лавку в Лондоне в Ист-Энде.

В темноте Джакс, нетвердо держась на ногах, прислушивался к частым гулким ударам. Заглушенный визг раздавался как будто у самого уха, а сверху давил на эти близкие звуки более громкий рев шторма. Голова у него кружилась. И ему также в этой угольной яме качка показалась чем-то новым и грозным, подрывающим его мужество, как будто он впервые находился на море.

Он почти готов был выбраться отсюда, но слова капитана Мак-Вира делали отступление невозможным. Ему был дан приказ — пойти и посмотреть. Хотел бы он знать, кому это нужно! Взбешенный, он говорил себе, что, конечно, пойдет и посмотрит. Но боцман, неуклюже шатаясь, предостерегал, чтобы он осторожно открывал дверь: там идет отчаянная драка. Джакс, словно испытывая невыносимую физическую боль, раздраженно осведомился, какого черта они там дерутся.

— Доллары! Доллары, сэр!.. Все их гнилые сундуки разбились. Проклятые деньги рассыпались по всему полу, а они ловят их, катаются кубарем, дерутся и кусаются. Суший ад!

Джакс рванул дверь. Коротышка-боцман выглядывал из-под его руки.

Одна из ламп погасла, быть может — разбилась. Злые гортанные крики вырвались навстречу и какое-то странное хрипение — напряженное

дыхание всех этих людей. Что-то сильно ударило о борт судна; вода с оглушительным шумом обрушилась сверху, и в красноватой полутьме, где воздух был спертый, Джакс увидел голову, бившуюся об пол, увидел две задранные толстые ноги, обхватившие чье-то голое тело, показалось и исчезло желтое лицо с дико выпученными глазами. Пустой сундук с грохотом перекашивался с боку на бок; какой-то человек, подпрыгнув, упал головой вниз, словно его лягнули сзади; а дальше, в полутьме, неслись другие люди, как груда камней, скатывающихся по склону. Трап, ведущий к люку, был унизан кули, копошившимися, как пчелы на ветке. Они висели на ступеньках волнующейся гроздью, яростно колотя кулаками снизу по задраенному люку, а сверху в промежутках между их воплями доносился яростный рев волн. Судно накренилось сильнее, и они стали падать; сначала упал один, потом двое, наконец, с воем сорвались и все остальные.

Джакс был ошеломлен. Боцман с грубоватой заботливостью умолял его:

— Не входите туда, сэр.

Казалось, здесь все извивалось, каталось и корчилось, а когда судно взлетело на гребень вала, Джаксу почудилось, что эти люди всей своей массой налетят на него. Он отступил назад, захлопнул дверь и дрожащими руками задвинул болт...

Как только ушел помощник, капитан Мак-Вир, оставшийся один на мостике, шатаясь под напором ветра, боком добрался до рулевой рубки. Дверь рубки открывалась наружу, и чтобы проникнуть туда, ему пришлось вступить в борьбу с ветром; когда же наконец он ухитрился войти, дверь моментально с треском захлопнулась, словно капитан Мак-Вир пулей прошел сквозь дерево. Он остановился, держась за ручку.

Рулевая машина пропускала пары, и в тесном помещении стекло нактоуза поблескивало мерцающим овалом в редком белом тумане. Ветер выл, гудел, свистел, порывисто сотрясал двери и ставни, злобно обдавая их брызгами. Две бухты лотлиня и маленький брезентовый мешок, подвешенные на длинном талрепе, раскачивались и снова как бы прилипали к переборке. Деревянная решетка под ногами почти плавала в воде; с каждым ударом волны вода яростно пробивалась во все щели двери. Рулевой снял фуражку, куртку и остался в одном полосатом бумажном тельнике, открытом на груди; он стоял, прислонившись спиной к кожуху рулевой передачи. Маленький медный штурвал в его руках казался блестящей хрупкой игрушкой. Жилы на шее его вытянулись и напряглись; в ямке у горла виднелось темное пятно; лицо было неподвижно, осунувшееся, как у мертвеца.

Капитан Мак-Вир вытер глаза. Волна, едва не смывшая его за борт, унесла, к величайшей его досаде, зюйдвестку с его лысой головы. Пушистые белокурые волосы, мокрые и потемневшие, походили на моток бумажных ниток, фестономы облепивших голый череп. Его лицо, блестящее от соленой воды, побагровело от ветра и колючих брызг. У него был такой вид, словно он только что отошел, обливаясь потом, от раскаленной печи.

— Вы здесь? — пробормотал он.

Второй помощник незадолго до этого пробрался в рулевую рубку. Он забился в угол, согнув колени и сжимая кулаками виски; эта поза свидетельствовала о его бешенстве, отчаянии, покорности и какой-то сосредоточенной мстительности. Он сказал горестно и вызывающе:

— А я сейчас свободен от вахты!

Рулевая машина стучала, останавливалась, снова стучала. У штурвального лицо было голодное, глаза вытаращены, как будто картушка компаса за стеклом нактоуза казалась ему куском мяса. Одному богу известно, сколько времени простоял он здесь у штурвала, словно забытый своими товарищами. Склянок не отбивали; позабыли и о смене; заведенного судового порядка и в помине не было; и все-таки он пытался держать курс на северо-северо-восток. Откуда он мог знать, цел ли руль? Быть может, руль снесен, огонь в топках погас, машины поломаны и судно готово опрокинуться, как труп. Он боялся, как бы ему не сбиться с толку и не потерять направления, ибо картушка компаса раскачивалась, вертелась и иногда, казалось, совершала полный оборот. Рулевой страдал от душевного напряжения. Он очень боялся, как бы не снесло рулевую рубку. Водяные горы непрестанно на нее обрушивались. Когда судно ныряло в бездну, уголки его рта подергивались.

Капитан Мак-Вир посмотрел на часы в рулевой рубке. Они были привинчены к переборке: на белом циферблате черные стрелки, казалось, стояли совершенно неподвижно. Было половина второго утра.

— Близок день, — пробормотал он.

Второй помощник расслышал эти слова и поднял голову: у него было лицо человека, горюющего на развалинах.

— Вы не увидите рассвета! — воскликнул он; руки его и колени заметно дрожали. — Нет, клянусь небом! Не увидите!

Он снова сжал голову кулаками.

Тело рулевого слегка пошевелинулось, но голова оставалась неподвижной, словно каменная голова, насаженная на колонну. Судно накренилось так сильно, что капитан Мак-Вир еле устоял на ногах;

раскачиваясь, чтобы не упасть, он сурово сказал:

— Не обращайтесь внимания на слова этого парня.

Затем, неуволнимо изменив тон, он очень серьезно прибавил:

— Он не на вахте...

Матрос ничего не ответил.

Ураган ревел, потрясая маленькую рубку, казавшуюся непроницаемой для воздуха. Огонь в нактоузе все время трепетал.

— Тебя не сменили, — продолжал капитан Мак-Вир, не поднимая глаз. — Все-таки я хочу, чтобы ты стоял у штурвала, пока хватит сил. Ты приноровился к ходу. Если на твое место встанет другой, может случиться беда. Это не годится. Не детская игра. А у матросов, должно быть, хватает работы внизу... Как ты думаешь, сможешь выдержать?

Рулевая машина отрывисто звякнула и тут же остановилась, окутавшись паром, как залитый костер; а неподвижный человек с остановившимся взглядом страстно проговорил, словно вся жизнь его сосредоточилась в губах:

— Ей-богу, сэр, я могу стоять у штурвала хоть вечность, если никто не будет со мной говорить.

— О да! Хорошо!

Капитан впервые поднял глаза на этого человека: Хэкет.

И, казалось, он тотчас же перестал об этом думать. Наклонившись к рупору в машинное отделение, он крикнул в него, а затем опустил голову. Мистер Раут снизу ответил, и капитан приблизил к рупору губы.

Вокруг редела буря, а капитан прикладывал к рупору попеременно то губы, то ухо. Снизу поднимался к нему голос механика; он говорил резко, словно оторвался от горячей работы: один из кочегаров вышел из строя, остальные сплеховали; второй механик и старший кочегар поддерживали огонь под котлами; третий механик стоял у штурвалов ручного управления машиной.

— Каково там наверху?

— Довольно скверно. Почти все зависит от вас, — сказал капитан Мак-Вир. — Заходил ли туда помощник?.. Нет? Ну, так он скоро придет. Пусть мистер Раут скажет ему, чтобы он подошел к рупору... к рупору, выходящему на капитанский мостик, так как он, капитан, сейчас снова туда выйдет. Китайцы подняли возню. Дрались как будто. Он никоим образом не может допустить драку...

Мистер Раут отошел, а капитан Мак-Вир, прижимавший ухо к рупору, чувствовал пульсацию машин, словно биение сердца судна. Голос мистера Раута что-то отчетливо выкрикивал там, внизу. Судно зарылось носом, и со

свистящим шумом пульсация машин приостановилась. Лицо капитана Мак-Вира оставалось бесстрастным, глаза рассеянно уставились на скорченную фигуру второго помощника. Снова раздался из глубины голос мистера Раута, и пульсирующие удары возобновились — сначала медленно, затем все ускоряясь.

Мистер Раут вернулся к рупору.

— Не имеет значения, что они там делают, — быстро сказал он и раздраженно прибавил: — Судно ныряет так, словно и не собирается вынырнуть.

— Ужасная волна! — крикнул в ответ капитан.

— Не дайте мне загнать судно ко дну, — рявкнул в рупор Соломон Раут.

— Темень и дождь! Впереди ничего не видно! — кричал капитан. — Нужно... не... останавливаться, сохранить ход... чтобы можно было... управлять... а там увидим, — отдельно выговорил он.

— Я делаю все, что можно.

— Нас здесь... здорово... швыряет, — коротко проговорил голос капитана. — Все-таки справляемся недурно. Конечно, если рулевую рубку снесет...

Мистер Раут, наклонивший ухо к рупору, ворчливо пробормотал что-то сквозь зубы.

Но твердый голос сверху бодро спросил:

— Что, Джакса еще нет?

Затем, после короткой выжидательной паузы, прибавил:

— Хочу, чтобы он здесь помог. Пусть поскорей покончит с этим делом и поднимется сюда, наверх, в случае, если что-нибудь... Смотреть за судном. Я совсем один. Второй помощник для нас потерян...

— Что? — крикнул мистер Раут в машинное отделение; затем заорал в рупор: — Смыт за борт? — и сейчас же прижался к рупору ухом.

— Потерял рассудок от страха, — продолжал деловым тоном голос сверху. — Чертовски не вовремя.

Мистер Раут, прислушиваясь, опустил голову, вытаращил глаза. Сверху донеслось к нему отрывистое восклицание и какой-то шум, напоминающий драку. Он напрягал слух; все это время Биль, третий механик, стоял с поднятыми руками, держа между ладонями обод маленького черного колеса, выступающего сбоку большой медной трубы. Казалось, он взвешивал его над своей головой, примериваясь к какой-то игре.

Чтобы удержаться на ногах, он прижимался плечом к белой переборке.

Одно колено было согнуто, заткнутая за пояс тряпка свешивалась на бедро. Его гладкие щеки разгорелись и были запачканы сажей; угольная пыль на веках, словно подведенных черным карандашом, подчеркивала блеск белков, придавая юношескому лицу что-то женственное, экзотическое и чарующее. Когда судно ныряло, он, поспешно перебирая руками, туго завинчивал маленькое колесо.

— С ума сошел! — раздался вдруг в рупор голос капитана. — Набросился на меня... Только что. Пришлось сбить его с ног... Вот сию минуту. Вы слышали, мистер Раут?

— Ах, черт! — пробормотал мистер Раут. — Осторожно, Биль!

Его крик прозвучал в железных стенах машинного отделения как предупреждающий трубный сигнал. Покатые стены были окрашены белой краской и в тусклом свете палубного иллюминатора уходили вверх; все высокое помещение напоминало внутренность какого-то монумента, разделенного на этажи железными решетками. Свет мерцал на различных уровнях, а посредине, между станинами работающих машин, под неподвижными вздутиями цилиндров, сгустился мрак. В спертom теплом воздухе бешено резонировали все шумы урагана. Пахло горячим металлом и маслом; в воздухе висела легкая дымка пара. Удары волн, казалось, проходили из конца в конец, потрясая все помещение.

Отблески, словно длинные бледные языки пламени, дрожали на полированном металле. Снизу из-под настила поднимались, блестя медью и сталью, огромные вращающиеся мотыли и снова опускались; шатуны, похожие на руки и ноги огромного скелета, казалось, сталкивали их вниз и снова вытягивали с неумолимой точностью; а внизу, в полутьме, другие шатуны и штоки размеренно качались взад и вперед; кивали крейцкопфы; металлические диски терлись друг о друга медленно и нежно, в смешении теней и отблесков.

Иногда все эти мощные и точные движения вдруг замедлялись, словно то были функции живого организма, внезапно пораженного гибельной слабостью; и тогда длинное лицо мистера Раута желтело, а глаза казались темнее. Он вел эту битву, обутый в пару кожаных туфель. Короткая лоснящаяся куртка едва доходила ему до бедер, узкие рукава не закрывали белых кистей рук; казалось, в этот критический момент он вырос, руки вытянулись, бледность усилилась и глаза запали.

Он двигался с неутомимой энергией, лазил наверх, исчезал где-то внизу; а когда стоял неподвижно, держась за поручни перед пусковым механизмом, то все время глядел направо, на манометр, на водомер, прибитые к белой стене и освещенные раскачивающейся лампой. Раструбы

двух рупоров нелепо зияли у его локтя, а циферблат машинного телеграфа походил на часы большого диаметра, с короткими словами команд вместо цифр. Буквы, резко черневшие вокруг оси индикатора, группировались в подчеркнуто символические восклицания: *«Вперед! Задний ход! Тихий! Приготовиться! Стоп!»* — а жирная стрелка указывала вниз, на *«Полный ход»*, — и эти слова, таким образом выделенные, притягивали глаз, подобно тому как пронзительный крик привлекает внимание.

Громоздкий цилиндр низкого давления в деревянном футляре величественно поглядывал сверху, испуская слабый свист при каждом толчке; за исключением этого тихого свиста стальные члены машины работали быстро или медленно, с немой и точной плавностью. И все это — и белые переборки, и стальные машины, и листы настила под ногами Соломона Раута, и железные решетки над его головой, тени и отсветы — все это непрерывно и дружно поднималось и опускалось под суровыми ударами волн о борт судна. Высокое сооружение, гулко отзываясь на могучий голос ветра, раскачивалось вверху, как дерево, и наклонялось то в одну, то в другую сторону под чудовищным натиском.

— Вам нужно спешить наверх! — крикнул мистер Раут, как только увидел Джакса в дверях кочегарки.

Глаза Джакса блуждали, как у пьяного, лицо опухло, словно он слишком долго спал. Ему пришлось совершить трудный путь, и он проделал этот путь с невероятной быстротой, так как его возбуждение отразилось и на движениях всего тела. Стремглав выскочив из угольной ямы, он споткнулся в темном проходе о кучку недоумевающих людей; когда он наступил на них, со всех сторон послышался испуганный шепот: «Как наверху, сэр?» Он сбежал в кочегарку, второпях перескакивая через железные перекладки трапа, спустился в черный глубокий колодезь, раскачивающийся, как детские качели. Вода в междудонном пространстве гроыхала при каждом нырянии судна, а куски угля, подпрыгивая, носились из конца в конец, грохоча, как лавина камней, скатывающаяся по железному склону.

Кто-то стонал от боли; видно было, как человек ползком перелезал через чье-то распростертое тело, быть может — труп; кто-то громко ругался; отблеск пламени под каждой топочной дверцей походил на лужу крови, пылающей в бархатной черноте.

Порыв ветра ударил Джакса по затылку, а через секунду он почувствовал, как ветер струится вокруг его мокрых лодыжек. Вентиляторы жужжали; перед шестью топками две обнаженные по пояс фигуры, пошатываясь и наклоняясь, возились с двумя лопатами.

— Здорово! Вот теперь тяга так тяга! — тотчас же заревел второй механик, словно он все это время поджидал Джакса.

Старший кочегар — проворный малый с ослепительно белой кожей и крохотными рыжеватыми усиками — работал в немом исступлении. Они держали полное давление пара, и глубокий гуд — словно пустой мебельный фургон проезжал по мосту — присоединялся сдержанной басовой нотой ко всем остальным звукам.

— Все время поддувает! — продолжал орать второй механик.

Вдруг отверстие вентилятора выплюнуло на его плечо поток соленой воды с таким шумом, как будто опустошили сотню кастрюль; механик разразился ругательствами, проклиная все на свете, включая и свою собственную душу, бесновался и неистовствовал и ни на секунду не забывал своего дела. Звякнула отрывисто металлическая дверца, жгучий ослепительный блеск огня упал на его круглую голову, осветил брызжущие слюной губы и дерзкое лицо, снова звяканье, и дверца захлопнулась, словно мигнул раскаленный добела железный глаз.

— Где обретается проклятое судно? Можете вы мне сказать? Черт бы побрал мою душу! Под водой — или где? Сюда она вливается тоннами. Верно, трубы вентиляторов отправились в преисподнюю? А? А знаете вы что-нибудь или нет, такой-сякой, беспутный моряк?

Джакс на секунду был сбит с толку; судно накренилось, и это помогло Джаксу пронестись дальше; как только он очутился в машинном отделении, где было сравнительно светло и спокойно, судно глубоко погрузилось кормой в воду, и Джакс пулей полетел вниз головой на мистера Раута.

Старший механик вытянул длинную, как щупальце, руку, словно выпрямившуюся на пружине, и, поймав Джакса, удержал его и повернул к рупорам. При этом мистер Раут серьезно твердил:

— Вам нужно поспешить наверх во что бы то ни стало.

Джакс заревел в рупор:

— Вы здесь, сэр? — и стал прислушиваться.

Ничего.

Вдруг вой ветра ударил ему прямо в ухо, затем слабый голос спокойно пробился сквозь ревущий ураган:

— Вы, Джакс? Ну как?

Джакс не прочь был поговорить, но время для разговоров как будто было неподходящее. Довольно легко было дать отчет во всем. Он мог себе представить, как кули, загнанные в вонючий трюм, лежали испуганные, страдая от морской болезни, между рядами сундуков. Потом один из сундуков — а может быть, сразу несколько — сорвался во время качки и

разбил другие; расщепились стенки, крышки отскочили, и китайцы бросились подбирать свое добро. После этого всякий раз, как судно накренилось, всех их швыряло из стороны в сторону в вихре кружащихся долларов, разбитых досок, рваной одежды. Раз начав борьбу, они уже не могли остановиться. Только силой можно было их удержать. Это была катастрофа. Он сам ее видел, и это все, что он может сказать. Он предполагал, что среди них должны быть и мертвые. Остальные все еще дерутся...

Слова срывались с его губ, перескакивали друг через друга, забивая узкую трубу. Наверху их встречало молчание, словно там, на мостике, находился наедине со штормом человек, которому все понятно. А Джакс хотел, чтобы его освободили, не заставляли принимать участие в этой мучительной сцене, разыгравшейся в минуты великой опасности.

Он ждал. Машины вращались перед ним с медлительным напряжением и в момент, предшествующий бешеному прыжку, останавливались при крике мистера Раута: «Внимание, Биль!» Они застывали в разумной неподвижности, приостановленные на ходу, и тяжелый коленчатый вал прекращал свое вращение, как будто сознавая опасность и бег времени. Затем старший механик кричал: «Теперь пускай!» — раздавался свистящий звук, словно дыхание сквозь стиснутые зубы, и машины снова принимались за прерванную работу.

В их движениях были осторожная, мудрая прозорливость и осмысленная огромная сила. Да, то была их работа — это терпеливое движение обезумевшего судна среди разъяренных волн, прямо навстречу ветру. Иногда мистер Раут опускал подбородок на грудь и, сдвинув брови, погруженный в размышления, следил за машинами.

Голос, отгонявший вой урагана от уха Джакса, заговорил:

— Возьмите с собой матросов... — и неожиданно оборвался.

— Что я могу с ними сделать, сэр?

Внезапно раздался резкий, отрывистый, требовательный звон. Три пары глаз обратились к циферблату телеграфа: стрелка прыгнула от «Полный ход» к «Стоп», словно повернутая дьявольской рукой. И тогда три человека в машинном отделении почувствовали, что судно остановилось, странно осело, как будто готовясь к отчаянному прыжку.

— Остановить! — заревел мистер Раут.

Один только капитан Мак-Вир на мостике видел белую полосу пены, движущейся на такой высоте, что он не мог поверить своим глазам; но никому не суждено было знать высоту этой волны и страшную глубину пропасти, вырытой ураганом позади надвигающейся водной стены.

Она ринулась навстречу судну, и «Нянь-Шань», приостановившись, поднял нос и прыгнул. Пламя во всех лампах уменьшилось; в машинном отделении потемнело; одна лампа погасла. С раздирающим треском и яростным ревом тонны воды обрушились на палубу, как будто судно пронеслось у подножия водопада.

Там, внизу, люди, ошеломленные, посмотрели друг на друга.

— Все смыто из конца в конец! — крикнул Джакс.

Судно нырнуло вниз, в бездну, словно бросаясь за пределы вселенной. Машинное отделение угрожающе наклонилось вперед, как внутреннее

помещение башни, покачнувшейся при землетрясении. Страшный грохот падающих железных предметов донесся из топки. Судно довольно долго висело на этом жутком откосе. Биль упал на колени и пополз, точно намеревался на четвереньках вылететь из машинного отделения, а мистер Раут медленно повернул голову с остановившимися, запавшими глазами и отвисшей челюстью. Джакс закрыл глаза, и на секунду его лицо стало безнадежно спокойным и кротким, как лицо слепого.

Наконец судно медленно поднялось, шатаясь, словно ему приходилось тащить на себе гору.

Мистер Раут закрыл рот, Джакс моргнул, а маленький Биль поспешно поднялся на ноги.

— Еще одна такая волна — и судну конец! — крикнул старший механик.

Он и Джакс посмотрели друг на друга, и одна и та же мысль мелькнула у них: капитан! Должно быть, все снесено за борт: рулевая рубка смыта; судно — как бревно. Сейчас все будет кончено.

— Бегите! — хрипло крикнул мистер Раут, глядя на Джакса широко раскрытыми, испуганными глазами.

Тот ответил ему нерешительным взглядом.

Звук сигнального гонга тотчас же их успокоил. Черная стрелка перепрыгнула со «Стоп» на «Полный ход».

— Теперь пускай, Биль! — крикнул мистер Раут.

Тихо зашипел пар. Штоки поршней опускались и поднимались. Джакс приложил ухо к рупору. Голос ждал его. Он сказал:

— Подберите все деньги. Сделайте это сейчас. Вы мне нужны здесь, наверху.

Это было все.

— Сэр! — позвал Джакс.

Ответа не было.

Шатаясь, он пошел, как человек, потерпевший поражение на поле битвы. Каким-то образом он рассек себе лоб над левой бровью, рассек до кости. Об этом он и понятия не имел: волны Китайского моря — из них каждая могла сломать ему шею — прошли над его головой, очистили, промыли и просолили рану. Она не кровоточила, а только разевала красный зев; эта рана над глазом, растрепанные волосы, беспорядок в одежде придавали ему вид человека, побывавшего в кулачном бою.

— Должен идти собирать доллары, — жалобно улыбаясь, сообщил он мистеру Рауту.

— Это еще что такое? — раздраженно спросил мистер Раут. —

Собирать?... Мне нет дела!..

Потом, дрожа всем телом, он заговорил подчеркнуто отеческим тоном:

— Ради бога, убирайтесь теперь отсюда. Вы — палубная публика — сведете меня с ума! Там этот второй помощник накинулся на старика... Вы не знали? Вы, ребята, сбиваетесь с толку, потому что вам делать нечего...

При этих словах Джакс обнаружил в себе первые признаки гнева. Делать нечего? Как бы не так!.. Пылая злобой на старшего механика, он повернулся, чтобы уйти тою же дорогой, какой пришел. В кочегарке толстый машинист вспомогательной машины безмолвно, словно у него вырезали язык, возился со своей лопатой, но второй механик держал себя, как шумный неустрашимый маньяк, сохранивший способность поддерживать огонь под котлами.

— Здорово, блуждающий помощник! Эй!.. Помогите мне избавиться от этой золы! Она меня здесь совсем придушила. Черт бы ее побрал! Эй, помните устав: «Матросы и кочегары должны помогать друг другу»! Эй! Вы слышите?

Джакс бешено карабкался вверх, а механик, подняв голову, орал ему вслед:

— Говорить разучились? Чего вы суете сюда нос? Что вам нужно?..

Джакс был взбешен. К тому времени, как он вернулся к матросам в темный проход, злоба его дошла до таких пределов, что он готов был свернуть шею всякому, кто откажется идти за ним. Одна мысль об этом приводила его в отчаяние. Он отказываться не мог. И они не должны.

Стремительность, с какой он ворвался к ним, произвела на них впечатление. Их уже раньше взволновало и испугало его появление и исчезновение, его порывистые, злобные движения. Они, пожалуй, не видели его, а лишь чувствовали его присутствие, и он казался им внушительным, занятым делами, не терпящими отлагательств, — вопросом жизни и смерти. По первому же его слову они послушно полезли один за другим в угольную яму, тяжело падая вниз.

Они не уяснили себе, что нужно делать.

— Что такое? Что такое? — спрашивали они друг друга.

Боцман попробовал объяснить. Шум в трюме удивил их, а мощные удары, гулко отдающиеся в черной яме, напомнили о грозившей им опасности. Когда боцман распахнул дверь, казалось, вихрь урагана, прокравшись сквозь железные бока судна, закрутил, как пыль, все эти тела; навстречу рванулись неясный рев, замирающие вопли и топот ног, все это сливалось с грохотом моря.

Секунду они толпились в дверях и с изумлением таращили глаза.

Джакс грубо растолкал их. Он ничего не сказал, а просто ринулся вперед.

Кучка кули на трапе, пытавшаяся пробраться с опасностью для жизни через задраенный люк на затопленную палубу, сорвалась, как и в первый раз, и Джакс исчез под ними, словно застигнутый обвалом.

Боцман отчаянно заорал:

— Сюда! Помогите вытащить помощника. Его растопчут! Сюда!

Они бросились вперед, наступая на лица, на животы, на пальцы, путаясь ногами в куче тряпья, спотыкаясь о поломанные доски; но раньше чем они успели до него добраться, Джакс вынырнул, скрытый до пояса множеством цепляющихся рук.

— Оставьте меня в покое, черт бы вас побрал! Я целехонек! — взвизгнул Джакс. — Гоните их вперед! Пользуйтесь моментом, когда судно накрывается! Вперед! Гоните их к переборке. Напирайте!

Матросы заполнили кишевшее людьми межпалубное пространство. Казалось, в кипящий котел плеснули холодной воды. Смятение на секунду затихло.

Китайцы смешались в сплоченную массу, матросы, сцепившись руками и воспользовавшись креном судна, отбросили ее вперед, словно сплошную твердую глыбу. А за спинами матросов отдельные тела и маленькие группы китайцев перекатывались из стороны в сторону.

Боцман обнаружил чудовищную силу. Раскинув длинные руки и уцепившись огромными лапами за столбы, он остановил натиск семи переплетенных китайцев, катившихся, как валун. Суставы его затрещали; он сказал: «Ха!» — и китайцы разлетелись в разные стороны. Но плотник проявил больше сообразительности. Никому не сказав ни слова, он вышел в проход и принес оттуда цепи и веревку, из которых изготовлялись поручни.

Никакого сопротивления они, в сущности, не встретили. Борьба, с чего бы она ни началась, превратилась в свалку, вызванную паническим страхом. Кули бросились подбирать свои рассыпавшиеся доллары, но потом дрались только за то, чтобы устоять на ногах. Они хватали друг друга за горло, чтобы их самих не свалили с ног. Тот, кому удалось за что-нибудь ухватиться, брыкался, отбиваясь от людей, цеплявшихся за его ноги, пока набежавший вал, ударивший о судно, не швырял их всех вместе на пол.

Появление белых дьяволов вызвало ужас. Они пришли, чтобы убить? Оторванный от толпы человек словно обмякал в руках матросов. Иные, которых оттащили в сторону за ноги, лежали, как мертвецы, широко раскрыв остановившиеся глаза. То здесь, то там какой-нибудь кули падал на

колени, словно моля о пощаде; многие только из страха становились непокорными, их били крепкими кулаками по переносице, и они съеживались; пострадавшие легко уступали грубым рукам; не жалуясь, они только быстро моргали. Кровь струилась по лицам; с бритых голов была содрана кожа, виднелись ссадины, синяки, рваные раны, порезы. В них повинен был главным образом битый фарфор из сундучков. То здесь, то там китаец с обезумевшими глазами и расплетенной косой поглаживал окровавленную подошву.

Их согнали в тесные ряды, а сначала задали встряску, чтобы привести к повиновению, угостили для успокоения чувств несколькими затрепинами, подбодрили грубоватыми словами, которые звучали, как злые посулы. Они сидели рядами, жалкие, обмякшие, а плотник с двумя матросами сновал взад и вперед, натягивая и укрепляя спасательные веревки.

Боцман, обхватив рукой и ногой столб, прижимал к груди лампу, стараясь ее разжечь, и все время ворчал, как усердная горилла. Матросы то и дело наклонялись, словно подбирая колосья, и все добро было выброшено в угольную яму: одежда, разбитые доски, осколки фарфора и доллары, рассованные по карманам. То один, то другой матрос, шатаясь, тащился к дверям с охапкой всякого хлама, а страдальческие косые глаза следили за его движениями.

Когда судно ныряло, длинные ряды сидящих небожителей наклонялись вперед, а при каждом сильном крене бритые головы их стукались одна о другую. Когда на секунду замер на палубе шум стекающей воды, Джаксу, еще дрожавшему после физического напряжения, почудилось, что здесь, внизу, в этой безумной схватке, он каким-то образом поборол ветер: молчание опустилось на судно, и в этом молчании слышались оглушительные удары волн.

Межпалубное пространство было очищено от всех «обломков крушения», как говорили матросы. Они стояли, выпрямившись и покачиваясь над рядом поникших голов. То тут, то там какой-нибудь кули, всхлипывая, ловил ртом воздух. Когда падал на них свет, Джакс видел выпяченные ребра одного, желтое серьезное лицо другого, согнутые шеи; или встречал тусклый взгляд, остановившийся на его лице. Его удивило, что не оказалось трупов; но эти люди как будто находились при последнем издыхании, и он жалел их сильнее, чем если бы все они были мертвы.

Вдруг один из кули заговорил. По временам свет падал на его худое, напряженное лицо; он вскинул голову вверх, словно лающая гончая. Из угольной ямы доносились стук и звяканье рассыпавшихся долларов.

Китаец вытянул руку, зияла черная дыра рта, а непонятные гортанные с присвистом звуки странно взволновали Джакса.

Еще двое заговорили. Джаксу казалось, что они злобно угрожают; остальные зашевелились, охая и ворча. Он приказал матросам выйти немедленно из трюма. Сам он вышел последним, пятясь к двери, а ворчанье перешло в громкий ропот, и руки простирались ему вслед, словно указывая на злодея. Боцман задвинул болт и нерешительно заметил:

— Как будто ветер стих, сэр.

Матросы рады были вернуться в проход. Втайне каждый из них думал, что в последнюю минуту может выбежать на палубу, и находил в этом утешение. Есть что-то страшное в мысли о том, что придется утонуть в закрытом помещении. Теперь, управившись с китайцами, они снова вспомнили о положении судна.

Джакс, выйдя из прохода, погрузился по шею в бурлящую воду. Он добрался до мостика и тут обнаружил, что может разглядеть неясные очертания предметов, как будто зрение его неестественно обострилось. Он видел слабые контуры. Они не вызывали в памяти знакомых очертаний «Нянь-Шань»; он вспомнил нечто иное — старый оснащенный пароход, гниющий на глинистой отмели; он видел его несколько лет назад. «Нянь-Шань» походил на эту развалину.

Не было ни малейшего ветра, кроме слабого течения воздуха, вызванного нырянием судна. Дым, вылетающий из трубы, опускался на палубу, Джакс дышал им, пробираясь вперед. Он чувствовал осмысленную пульсацию машин, слышал слабые звуки, словно пережившие великий рев бури: стучали поломанные снасти, на мостике быстро перекачивался какой-то обломок. Он смутно различил коренастую фигуру своего капитана, раскачивающуюся на одном месте, как будто пригвожденную к доскам. Капитан держался за погнутые поручни. Неожданное затишье угнетающе подействовало на Джакса.

— Мы покончили с этим, сэр, — задыхаясь, выговорил он.

— Я думал, что вы справитесь, — сказал капитан Мак-Вир.

— Думали? — буркнул Джакс.

— Ветер вдруг спал, — продолжал капитан.

Джакс взорвался:

— Если вы думаете, что это было легко...

Но капитан, уцепившись за поручни, пропустил его слова мимо ушей.

— Судя по книгам, самое скверное еще впереди...

— Среди них большинство были полумертвые от страха и морской болезни, иначе ни один из нас не выбрался бы оттуда живым, — сказал

Джакс.

— Должен был поступить с ними по справедливости, — флегматично пробормотал Мак-Вир. — В книгах вы не все найдете...

— Я думаю, они набросились бы на нас, если бы я не приказал матросам поскорей убратся! — с жаром продолжал Джакс.

Раньше они надрывались от крика, но этот крик был не громче шепота: теперь же, в неподвижном воздухе, голоса их звучали очень громко и отчетливо. Им казалось, что они разговаривают в темной и гулкой пещере.

Через рваное отверстие в куполе облаков свет звезд падал в черное море, вздымающееся и опускающееся. Иногда верхушка водяного конуса рушилась на судно, смешиваясь с крутящейся пеной на затопленной палубе, а «Нянь-Шань» тяжело переваливался на дне круглой цистерны из облаков. Это кольцо густых паров, бешено вращающееся вокруг спокойного центра, окружало судно, подобно неподвижной сплошной стене, пугающей своим зловещим видом. В этом кольце море, казалось, сотрясалось изнутри, вздымалось остроконечными валами, которые насккивали друг на друга и тяжело ударяли о борта судна; и тихий стонущий звук, бесконечная жалоба взбешенного шторма, слышался за пределами этого грозно притихшего круга. Капитан Мак-Вир молчал, и чуткое ухо Джакса уловило слабый протяжный рев какого-то огромного невидимого вала, набегающего под покровом густой тьмы, зловеще ограничивающей его кругозор.

— Конечно, — начал он злобно, — они подумали, что мы пользуемся случаем их ограбить. Ну еще бы! Вы сказали — соберите деньги. Легче сказать, чем сделать. Откуда они могли знать, что мы замыслиаем? Мы вошли, ворвались — прямо в самую гущу их. Пришлось брать их натиском.

— Раз дело сделано... — пробормотал капитан, не пытаясь взглянуть на Джакса. — Я должен был поступить по справедливости.

— Нам еще придется чертовски расплачиваться, — сказал Джакс, чувствуя себя глубоко обиженным. — Дайте им только оправиться, а тогда увидите. Они вцепятся нам в горло. Не забывайте, сэр, что теперь мы не на британском судне. Им это хорошо известно. Сиамский флаг.

— Тем не менее мы находимся на борту, — заметил капитан Мак-Вир.

— Опасность еще не миновала, — пророчески изрек Джакс, покачнувшись и хватаясь за поручни. — Судно разбито, — прибавил он слабым голосом.

— Опасность еще не миновала, — вполголоса подтвердил капитан Мак-Вир. — Присмотрите минутку за судном.

— Вы уходите с мостика, сэр? — быстро спросил Джакс, словно

шторм, несомненно, должен был атаковать его, едва он останется один на мостике.

Он следил, как судно, избитое и одинокое, тяжело пробиравлось среди диких декораций — черных водяных гор, освещенных блеском далеких миров. Оно двигалось медленно, выдыхая в самое сердце урагана избыток своей силы — белое облако пара — с глухим вибрирующим звуком; казалось, будто живое существо, стремясь возобновить поединок, посылало вызывающий трубный сигнал. Внезапно он смолк. В неподвижном воздухе поднялся стон. Над головой Джакса несколько звезд бросали лучи в колодезь черных паров. Чернильный край облачного диска, хмурясь, навис над судном, пробирающимся под клочком сияющего неба. И звезды пристально глядели на судно, словно в последний раз, и их блестящая гроздь казалась диадемой на хмурым челе.

Капитан Мак-Вир отправился в штурманскую рубку. Света там не было, но он почувствовал беспорядок в комнате, где привык жить. Его кресло было опрокинуто. Книги рассыпались по полу; под ноги попал кусок стекла. Он ощупью полез за спичками и нашел коробку на полке с высокой закраиной. Зажег спичку и, прищурив глаза, поднес огонек к барометру, все время кивавшему своей блестящей верхушкой из стекла и металла.

Барометр стоял низко, невероятно низко, так низко, что капитан Мак-Вир заворчал. Спичка потухла, и толстыми окоченевшими пальцами он поспешно достал другую.

Снова маленький огонек вспыхнул перед кивающей верхушкой барометра. Глаза капитана Мак-Вира сузились, внимательно вглядываясь в прибор, словно ожидая неуловимого сигнала. Физиономия его была серьезна; он походил на обутого в сапоги безобразного язычника, курящего фимиам перед капищем своего идола. Ошибки не было. Никогда, во всю свою жизнь, он не видел, чтобы барометр стоял так низко.

Капитан Мак-Вир тихонько свистнул. Он погрузился в размышления; огонек съезжился в синюю искру, обжег его пальцы и погас. Может быть, барометр испортился!

Над диваном был привинчен anerоид. Он повернулся к нему и снова зажег спичку: белый диск другого прибора многозначительно глянул на него с переборки, с видом, не допускающим возражений, словно равнодушные материи сделало непогрешимой мудрость людей. Теперь сомнениям не было места. Капитан Мак-Вир недовольно фыркнул и бросил спичку.

Значит худшее еще впереди, и если верить книгам, то это худшее

окажется очень скверным. Испытания последних шести часов расширили его представление о том, какова может быть непогода. «Будет что-то ужасное», — мысленно произнес он. Зажигая спичку, он глядел только на барометр, но тем не менее увидел, что его графин и два стакана вылетели из своих подставок. Казалось, благодаря этому он глубже уяснил себе, какую качку вынесло судно. «Я бы этому не поверил», — подумал он. И письменный стол его был очищен: линейки, карандаши, чернильница — все вещи, имевшие свое определенное и надежное место, скатились, как будто чья-то злобная рука хватала их одну за другой и швыряла на мокрый пол. Ураган проник в его аккуратно прибранное жилище. Раньше этого никогда не случалось, и, несмотря на все свое хладнокровие, он почувствовал страх. А худшее еще впереди! Он был рад, что вовремя обнаружил беспорядки в межпалубном пространстве. Если судну все-таки суждено затонуть, оно пойдет ко дну, но на нем не будет людей, сражающихся между собой зубами и когтями. Это было бы отвратительно! И в этом чувстве капитана Мак-Вира было что-то человеческое и смутное понимание того, чему надлежит быть.

Эти мимолетные мысли были, однако, по существу своему тяжеловесны и медлительны, соответственно характеру этого человека. Он вытянул руку, чтобы положить коробку спичек в угол на полку. Там всегда лежали спички — по его приказанию. Это было давным-давно внушено стюарду: «Коробка — вот здесь, видите? Не в глубине... Чтобы я мог достать рукой. Может спешно понадобится свет. На борту судна нельзя предугадать, что тебе может понадобиться. Вы это запомните».

И, конечно, сам он никогда не забывал класть коробку на прежнее место. Так поступил он и сейчас, но не успел отнять руку, как ему пришло в голову, что, быть может, не представится больше случай воспользоваться этой коробкой. Очень отчетливая мысль остановила его, и на бесконечно малую долю секунды его пальцы снова сжали коробку, как будто она являлась символом тех маленьких привычек, какие приковывают нас к утомительному колесу жизни. Наконец он выпустил ее из рук и, усевшись на диван, стал прислушиваться, не поднимается ли ветер.

Нет еще. Он слышал только шум воды, тяжелый плеск, глухие удары волн, со всех сторон беспорядочно осаждающих судно. Оно никогда не освободится от воды, заливающей палубу.

Но спокойствие в воздухе казалось напряженным и ненадежным, словно над головой капитана Мак-Вира висел на тонком волоске меч. И во время этой зловещей паузы шторм проник сквозь броню этого человека и разомкнул его уста. Один в непроглядно черной каюте, он заговорил, как

бы обращаясь к другому существу, пробудившемуся в его груди.

— Я бы не хотел потерять судно, — сказал он вполголоса.

Он сидел, никем не видимый, отделенный от моря, от судна, изолированный, как бы оторванный от течения своей собственной жизни, где, конечно, не было места такой прихоти, как разговор с самим собой. Ладони его лежали на коленях, он пригнул короткую шею. Он тяжело дышал, поддаваясь странной усталости: он не подозревал, что эта усталость являлась результатом сильного душевного напряжения.

Со своего диванчика он мог дотянуться до дверцы умывального шкафа. Там должно быть полотенце. Да, хорошо... Он вынул его, обтер лицо и начал тереть мокрую голову. Он энергично вытирался в темноте; потом застыл, неподвижный, с полотенцем на коленях. На секунду спустилась глубокая тишина; никто не заподозрил бы, что в этой каюте сидит человек. Затем послышался шепот:

— Оно еще может выпутаться...

Когда капитан Мак-Вир порывисто поднялся, словно вдруг поняв, что отсутствовал слишком долго, и вышел на палубу, затишье продолжалось уже более пятнадцати минут — даже на него оно подействовало удручающе. Джакс, неподвижно стоявший на переднем конце мостика, сразу заговорил. Его голос, тусклый и напряженный, словно он говорил сквозь стиснутые зубы, растекался в темноте, снова сгустившейся над морем.

— Я сменил рулевого. Хэкет начал жаловаться, что ему пришел конец. Он улегся там, у рулевых приводов, и похож: на покойника. Сначала я никого не мог вытащить снизу, чтобы сменить беднягу. Я всегда говорил, что от боцмана никакого толку нет. Думал, мне придется идти самому и притащить за шиворот одного из них.

— А... Хорошо, — пробормотал капитан; он стоял, настороженный, подле Джакса.

— Второй помощник тоже там, в рулевой рубке. Держится за голову. Он разбился, сэр?

— Нет, рехнулся, — кратко сказал капитан Мак-Вир.

— А похоже, будто он ударился.

— Мне пришлось дать ему пинка, — объяснил капитан.

Джакс нетерпеливо вздохнул.

— Это налетит внезапно, — сказал капитан Мак-Вир, — вон оттуда, я думаю. Хотя все это одному богу известно. Книги годятся лишь на то, чтобы забивать вам голову и действовать на нервы. Будет скверно, вот и все. Если бы нам только удалось вовремя повернуть судно навстречу...

Прошла минута. Несколько звезд быстро мигнули и скрылись.

— А они там в безопасности? — неожиданно заговорил капитан, как будто молчание стало невыносимым.

— Вы говорите об этих кули, сэр? Я протянул там поперек веревку.

— Да? Хорошо придумано, мистер Джакс.

— Я... я не знал, что... вас интересует... — сказал Джакс; крен судна прерывал его речь, как будто кто-то дергал его, пока он говорил, — как я... справился с ними. Мы это сделали. А в конце концов, может быть, все это ни к чему.

— Я должен был поступить с ними по справедливости. Пусть у них будет столько же шансов, сколько у нас, черт возьми! Судно еще не затонуло. И без того скверно сидеть запертыми внизу во время шторма...

— Я тоже так думал, когда вы приказали мне, сэр, — мрачно сказал Джакс.

— И вдобавок они были бы искалечены! — продолжал с жаром капитан Мак-Вир. — Я не мог допустить этого на моем судне, даже если бы знал, что оно и пяти минут не продержится. Не мог допустить, мистер Джакс!

Глухой шум, словно крик, прокатившийся в скалистом ущелье, приблизился к судну и снова отступил. Последняя звезда, вспыхнув, увеличилась, как бы превращаясь в огненный туман, из которого образовалась; она боролась с глубокой, необъятной чернотой, нависшей над судном... и погасла.

— Сейчас начнется, — пробормотал капитан Мак-Вир. — Мистер Джакс!

— Здесь, сэр!

Они оба с трудом могли разглядеть друг друга.

— Судно должно пройти сквозь это и выйти с другой стороны. Просто и ясно. Сейчас не время заниматься стратегией штормов капитана Уилсона.

— Да, сэр!

— Его снова в течение нескольких часов будет заливать и трепать, бормотал капитан. — Что еще с палубы может снести вода?.. Разве что вас или меня...

— Обоих, сэр, — задыхаясь, прошептал Джакс.

— Вы всегда торопитесь навстречу беде, Джакс, — попрекнул капитан Мак-Вир. — Хотя, конечно, второй помощник никуда не годится. Слышите, мистер Джакс? Вы останетесь один, если...

Капитан Мак-Вир оборвал фразу, а Джакс, озираясь по сторонам, молчал.

— Не давайте сбить себя с толку, — торопливо продолжал капитан. — Ведите судно навстречу. Пусть говорят все, что им угодно, но самые высокие волны идут по ветру. Навстречу, всегда навстречу, — вот единственный способ пробиться! Вы — молодой моряк. Ведите его навстречу. Вот все, что должен знать каждый моряк. Не теряйте хладнокровия.

— Да, сэр, — с замирающим сердцем прошептал Джакс.

В течение следующих нескольких секунд капитан говорил в рупор с машинным отделением и получил ответ.

Джакс почему-то почувствовал прилив уверенности, словно к нему донеслось теплое дуновение и придало ему сил встретить любую опасность. Отдаленный ропот, шедший из тьмы, коснулся его слуха. Джакс, полный неожиданной веры в себя, отметил его спокойно, как встречает человек, облаченный в надежную кольчугу, острие меча.

Судно упорно пробиралось среди черных холмов воды, расплачиваясь за жизнь этой жестокой качкой. Из недр его вырвался гул; белые клочья пара вылетели в ночь; а мысль Джакса кружилась, как птица, в машинном отделении, где мистер Раут, надежный парень, стоял наготове. Когда гул замер, ему показалось, что смолкли все звуки, спустилась мертвая тишина, и голос капитана Мак-Вира заставил его вздрогнуть.

— Что такое? Ветерок? — голос звучал громче, чем Джакс когда-либо слышал. — Это хорошо. Оно может еще выбраться.

Рев ветра приближался. Сначала можно было различить сонную жалобную песню, а вдали нарастал и ширился многоголосый вопль. Слышался бой многих барабанов, в нем звучала злобная вызывающая нота и что-то похожее на гимн марширующих толп.

Джакс уже не мог отчетливо видеть своего капитана. Тьма буквально громоздилась на судно. Он только угадывал его движения, заметил расставленные локти, вскинутую голову.

Капитан Мак-Вир пытался с непривычной торопливостью застегнуть верхнюю пуговицу своего непромокаемого пальто. Ураган, имеющий власть приводить в бешенство моря, топить суда, с корнем вырывать деревья, рушить крепкие стены и даже птиц прибивать к земле, настиг и этого молчаливого человека и ухитрился вырвать у него несколько слов. Раньше чем ветер с новой яростью устремился на судно, капитан Мак-Вир заявил раздраженным тоном:

— Мне бы не хотелось его потерять!

От этой неприятности он был избавлен.

VI

В яркий солнечный день «Нянь-Шань» вошел в Фучжоу; легкий бриз относил далеко вперед дым из трубы. Его прибытие было тотчас же замечено на берегу:

— Смотрите! Видите этот пароход? Что это такое? Под сиамским флагом, кажется? Вы только посмотрите на него!

Действительно, пароход, казалось, был использован как плавучая мишень для батарей крейсера. Град мелкокалиберных снарядов не мог бы сильнее разбить, изодрать и опустошить его надводную часть; он казался изношенным и усталым, как будто побывал на краю света. И в самом деле, несмотря на короткий рейс, судно пришло издалека: поистине оно видело берега той великой страны, откуда не возвращается ни один корабль, чтобы предать земле свой экипаж. Оно было инкрустировано серой солью до самых клотов мачт и верхушки трубы, словно (как заявил один веселый моряк) «экипаж выудил его откуда-то со дна моря и привел сюда, чтобы получить вознаграждение». И, в восторге от своей шутки, он предложил за судно «в том виде, как оно есть» пять фунтов.

«Нянь-Шань» и часа не простоял в гавани, как из сампана вышел на набережную Иностранной концессии тощий человек с покрасневшим кончиком носа; лицо его было искажено злобной гримасой; он повернулся и погрозил кулаком в сторону судна.

Рослый человек, с ногами слишком тонкими для его круглого живота и с водянистыми глазами, подходя к нему, заметил:

— Только что с парохода? Быстро сработано.

На тонкогрудом был запачканный костюм из синей фланели и пара грязных ботинок для игры в крокет; грязно-серые усы свисали над губой, а между полями и тульей его шляпы в двух местах проглядывал дневной свет.

— А, здорово! Что вы тут делаете? — спросил бывший второй помощник с «Нянь-Шаня», торопливо пожимая руку.

— Подыскиваю работу... Мне намекнули, чтобы я уходил, — объявил человек в рваной шляпе, апатично засопев.

Второй помощник снова погрозил кулаком в сторону «Нянь-Шаня».

— Этот парень, вон там, не может командовать и шаландой, — объявил он, дрожа от злобы.

Его собеседник равнодушно поглядывал по сторонам.

— Вот как!

Но тут он заметил на набережной тяжелый морской сундук, завернутый в парусину и перевязанный новой манильской веревкой. Он поглядел на него с пробудившимся интересом.

— Я мог бы устроить скандал, не будь этого проклятого сиамского флага. Не к кому пойти, а то бы я ему показал! Негодяй! Объявил своему старшему механику, — тоже мошенник первостатейный, — что я струсил. Самые невежественные дураки, какие когда-либо плавали по морю! Нет! Вы не можете себе представить...

— Деньги свои получили? — внезапно осведомился его потрепанный собеседник.

— Да. Рассчитался со мной на борту! — бесновался второй помощник. — «Можете, — говорит, — позавтракать на суше».

— Подлый хорек! — туманно высказал свое мнение рослый человек, проводя языком по губам. — Что вы скажете насчет того, чтобы выпить?

— Он меня ударил, — прошипел второй помощник.

— Что вы говорите?! Ударил? — сочувственно засуетился человек в синем костюме. — Здесь невозможно разговаривать. Я хочу расспросить подробно. Ударил, а?.. Наймите какого-нибудь парня, пусть тащит ваш сундук. Я знаю спокойное местечко, где есть пиво в бутылках...

Мистер Джакс, изучавший в бинокль берег, сообщил затем старшему механику, что «наш второй помощник не замедлил найти себе друга. Парень ужасно смахивает на бродягу. Я видел, как они вместе ушли с набережной».

На судне производили необходимый ремонт, но стук и удары молотка не мешали капитану Мак-Виру. Он писал письмо в аккуратно прибранной штурманской рубке, и в этом письме стюард нашел столь интересные местечки, что дважды едва не попался. Но миссис Мак-Вир в гостиной сорокафунтового дома подавила зевотку — должно быть, из уважения к себе самой, так как она была одна в комнате.

Она откинулась на спинку стоявшей у изразцового камина позолоченной кушетки с обитой плюшем подножкой. Каминная доска была украшена японскими веерами, а за решеткой пылали угли. Она лениво пробежала письмо, выхватывая то тут, то там отдельные фразы. Не ее вина, что эти письма были так прозаичны, так удивительно неинтересны — от «дорогая жена» в начале и до «твой любящий супруг» в конце. Не могла же она в самом деле интересоваться всеми морскими делами? Конечно, она была рада услышать о нем, но никогда не задавала себе вопроса, почему именно.

«...Их называют тайфунами. Помощнику как будто это не понравилось... Нет в книгах... Не мог допустить, чтобы это продолжалось...»

Бумага громко зашелестела... «...затишье, продолжавшееся около двадцати минут», — рассеянно читала она. Затем ей попалась фраза в начале следующей страницы: «...увидеть еще раз тебя и детей...» Она сделала нетерпеливое движение. Вечно он думает о том, чтобы вернуться домой. Никогда еще он не получал такого хорошего жалованья. В чем дело?

Ей не пришло в голову посмотреть предыдущую страницу. Она нашла бы там объяснение; между четырьмя и шестью полуночи 25 декабря капитан Мак-Вир думал, что судно его не продержится и часа в такой шторм и ему не суждено больше увидеть жену и детей. Этого никто не узнал, — его письма всегда так быстро терялись, — никто, кроме стюарда. На стюарда же это открытие произвело сильное впечатление. Такое сильное, что он попробовал поделиться своим открытием с коком, торжественно заявив, что «все мы едва выпутались. Сам старик чертовски мало надеялся на наше спасение».

— Откуда ты знаешь? — презрительно спросил кок, старый солдат. — Уж не он ли тебе сказал?

— Пожалуй, что он мне намекнул, — дерзко выпалил стюард.

— Проваливай! В следующий раз он сообщит мне, — ухмыльнулся старик кок.

Миссис Мак-Вир поспешно пробежала страницы: «...Поступить справедливо... Жалкие создания... Только у троих сломаны ноги, а один... Подумал, что лучше не разрешать... Надеюсь, поступил справедливо...»

Она опустила письмо. Нет, больше не было ни одного намека на возвращение домой. Должно быть, хотел лишь высказать благочестивое пожелание. Миссис Мак-Вир успокоилась. Скромно, украдкой тикали черные мраморные часы, оцененные местными ювелирами в три фунта восемнадцать шиллингов и шесть пенсов.

Дверь распахнулась, и в комнату влетела девочка — в том возрасте, когда коротенькая юбка не скрывает длинных ног. Бесцветные, довольно жидкие волосы рассыпались у нее по плечам. Увидев мать, она остановилась и с любопытством впиалась своими светлыми глазами в письмо.

— От отца, — прошептала миссис Мак-Вир. — Куда ты дела свою ленту?

Девочка подняла руки к голове и надулась.

— Он здоров, — томно продолжала Мак-Вир. — По крайней мере я

так думаю. Об этом он никогда не пишет.

Она усмехнулась.

Девочка слушала с рассеянным, равнодушным видом, а миссис Мак-Вир смотрела на нее с гордостью и любовью.

— Ступай надень шляпу, — сказала она, помолчав. — Я иду за покупками. У Линома распродажа.

— Ах, как чудно! — воскликнула девчонка неожиданно серьезным вибрирующим голосом и вприпрыжку выбежала из комнаты.

Был теплый день, небо было серо, а тротуары сухи.

Перед мануфактурным магазином миссис Мак-Вир любезно улыбнулась грузной женщине в черной мантилье, черном янтарном ожерелье; в ее волосах, над желтым немолодым лицом, цвели искусственные цветы. Обе защебетали, обмениваясь приветствиями и восклицаниями, с такой быстротой, словно мостовая готова была разверзнуться и поглотить их раньше, чем они успеют выразить друг другу свою радость.

За их спиной вращались высокие стеклянные двери. Пройти было невозможно, и мужчины, отойдя в сторону, терпеливо ждали, а Лидия была поглощена тем, что просовывала конец своего зонта между каменными плитами. Миссис Мак-Вир говорила быстро:

— Очень вам благодарна. Он еще не возвращается. Конечно, грустно, что он не с нами. Но какое утешение знать, что он чувствует себя хорошо! — Миссис Мак-Вир перевела дыхание. — Климат очень ему подходит! — радостно прибавила она, как будто бедняга Мак-Вир плавал в китайских морях для поправления своего здоровья.

Старший механик также не собирался домой. Мистер Раут слишком хорошо знал цену своему месту.

— Соломон говорит, что чудесам никогда не бывает конца! — весело крикнула миссис Раут старой леди, сидевшей в своем кресле у камина.

Мать мистера Раута слегка пошевелинулась; ее сморщенные руки в черных митенках покоились на коленях.

Глаза жены механика жадно пробежали письмо.

— Соломон говорит, что капитан его судна — глуповатый человек, вы помните, мама? — сделал что-то умное.

— Да, милая, — покорно сказала старуха; ее голова с серебряными волосами была опущена; она казалась невозмутимо спокойной, как очень старые люди, которые как будто следят за последними вспышками жизни. — Кажется, помню.

Соломон Раут, Старый Сол, Отец Сол, старший механик, «Раут хороший парень» — мистер Раут, снисходительный друг Джакса, был младшим из всех ее многочисленных детей, к тому времени умерших. И лучше всего она помнила его десятилетним мальчиком, задолго до того, как он отправился на север работать где-то механиком. С тех пор она так редко его видела и прожила столько долгих лет, что ей приходилось теперь возвращаться в далекое прошлое, чтобы разглядеть сына сквозь дымку времени. Иногда ей казалось, что ее невестка говорит о каком-то постороннем человеке.

Миссис Раут-младшая была разочарована.

— Гм... Гм... — Она перевернула страницу. — Какая досада! Он не объясняет, что это такое. Говорит, что мне не понять, как это умно. Ну подумайте! Что бы это могло быть? Как ему не стыдно не сказать нам!

Она продолжала читать без дальнейших замечаний, а потом стала глядеть в камин. Старший механик написал о тайфуне всего два-три слова, но что-то побудило его сообщить жизнерадостной женщине, что он чувствует все усиливающуюся потребность в ее обществе. «Не будь матери, за которой нужно ухаживать, я сегодня же выслал бы тебе денег на дорогу. Ты могла бы поселиться здесь в маленьком домике. А я время от времени навещал бы тебя. Ведь мы не молодеем...»

— Он здоров, мама, — вздохнула, приходя в себя, миссис Раут.

— Он всегда был крепким, здоровым мальчиком, — спокойно отозвалась старуха.

Но мистер Джакс дал отчет действительно очень полный и живой. Его друг, плававший в Атлантическом океане, поделился полученными им сведениями с другими помощниками на своем пароходе:

— Один приятель описывает необычайный случай, происшедший на борту его судна во время тайфуна. Помните, мы читали об этом тайфуне в газетах два месяца назад. Любопытная вещь! Да вот посмотрите сами, что он пишет. Я вам покажу его письмо.

Там были фразы, рассчитанные на то, чтобы свидетельствовать о необузданной смелости и решимости. Джакс не лукавил: в момент написания письма он чувствовал именно так. Мрачными красками изобразил он сцену в межпалубном пространстве:

«...мне пришло в голову, что несчастные китайцы не могли знать, грабители мы или нет. Не очень-то легко отнять деньги у китайца, если он сильнее тебя. Правда, чтобы идти на грабеж в такую бурю, нам следовало быть отчаянными людьми, но что знали о нас эти бедняки? И вот, не тратя

времени на размышления, я поторопился увести своих ребят. Свое дело мы сделали — на этом настаивал наш старик. Мы убрались восвояси, не потрудившись разузнать, как они себя чувствуют. Я уверен, что если бы они не были так ужасно избиты и запуганы — все до единого не могли стоять на ногах, — нас разорвали бы в клочья. Ох, дело было жаркое, уж: поверьте мне, а вы можете мотаться из края в край по своему пруду^[5] до конца веков, прежде чем свалится на вас такая работа».

Далее он делал несколько профессиональных замечаний о повреждениях, причиненных судну, а затем продолжал:

«Когда шторм миновал, положение чертовски обострилось. Нам было отнюдь не легче оттого, что недавно мы перешли под сиамский флаг, хотя шкипер никакой разницы уловить не может, „раз мы находимся на борту“. Есть чувства, которых этот человек понять не в силах, — и конец делу. С таким же успехом вы это можете растолковать столбу. Кроме того, судно, плавающее в китайских морях, чертовски одиноко, если у него нет консула, нет где-нибудь своей канонерки или какой-либо корпорации, куда в случае беды можно обратиться.

Я был того мнения, что нужно держать китайцев под замком еще пятнадцать часов или около того: нам до Фучжоу оставалось часов пятнадцать пути. Там мы, вероятно, нашли бы какое-нибудь военное судно и под защитой его орудий чувствовали бы себя в безопасности. Конечно, капитан любого военного судна — английского, французского или голландского — помог бы справиться с дракой на борту. Мы могли отделаться от китайцев вместе с их деньгами позднее, сдав их мандарину, или тао-таи, или... как там они называют этих парней в темных очках, — парней, которых таскают в портшезах.

Старик почему-то не мог это уразуметь. Он не хотел поднимать шум. А раз он вбил себе в голову эту мысль — и паровой лебедкой ее не вытянешь. Ему хотелось поменьше шуму и в интересах судна, и в интересах судовладельцев, и в „интересах всех заинтересованных лиц“, сказал он, пристально глядя на меня. Я разозлился. Конечно, такого дела не скроешь; но сундуки были укреплены как следует и выдержали бы любую бурю, а на нас обрушился поистине адский шторм, о котором ты даже представления иметь не можешь.

Между тем я едва держался на ногах. Все мы почти тридцать часов не знали ни минуты отдыха, а тут этот старик сидит и трет себе подбородок, трет макушку и так озабочен, что даже высокие сапоги позабыл стянуть.

„Надеюсь, сэр, — говорю я, — вы их не выпустите на палубу, пока мы так или иначе не подготовимся к встрече“.

Заметьте, я не очень-то был уверен, что мы справимся с этими несчастными, если они вздумают напасть. Возня с грузом китайцев — дело нешуточное. К тому же я чертовски устал.

„Вот если бы вы мне разрешили, — сказал я, — швырнуть им вниз все эти доллары, и пусть они дерутся между собой, а мы пока отдохнем“.

„Чепуху вы говорите, Джакс! — говорит он и медленно поднимает глаза, а от этого вам почему-то становится совсем скверно. — Мы должны придумать выход, чтобы поступить справедливо по отношению ко всем“.

Работы у меня было по горло, как ты легко можешь себе представить, поэтому я отдал распоряжения матросам, а сам решил немножко отдохнуть. Я не проспал и десяти минут в своей койке, как в каюту врывается стюард и начинает меня дергать за ногу.

„Ради бога, мистер Джакс, идите скорей! Идите на палубу, сэр! Да идите же!“

Парень совсем сбил меня с толку. Я не знал, что случилось: опять ураган — или что? Но никакого ветра я не слышал.

„Капитан их выпустил! Ох, он их выпустил! Бегите на палубу, сэр, и спасайте нас! Старший механик только что побежал вниз, за своим револьвером...“

Вот что я понял из слов этого дурака, хотя, к слову сказать. Отец Раут клянется и божится, что пошел вниз всего-навсего за чистым носовым платком. Как бы там ни было, а я в одну секунду натянул штаны и вылетел на палубу, на корму.

На мостике действительно слышался шум. Четверо матросов с боцманом работали на корме. Я передал им ружья — на каждом судне, плавающем у берегов Китая, имеются ружья — и повел на мостик. По дороге налетел на старину Раута; он сосал незажженную сигару, и вид у него был удивленный.

„Бежим!“ — крикнул я ему.

Мы влетели, все семеро, в штурманскую рубку. Там уже все было кончено. Старик по-прежнему был в морских сапогах, закрывающих ему бедра, и в рубахе, — видно, вспотел от своих размышлений. Франтоватый клерк фирмы Бен-Хин стоял подле него, грязный, как трубочист; лицо у него все еще было зеленое. Я сразу понял, что сейчас мне влетит.

„Что это за идиотские штуки, мистер Джакс?“ — спрашивает старик самым своим сердитым тоном.

По правде сказать, у меня язык отнялся.

„Ради бога, мистер Джакс, — говорит он, — отберите у людей ружья. Кто-нибудь непременно себя изувечит, если вы этого не сделаете. Черт

возьми, на этом судне хуже, чем в сумасшедшем доме! А теперь слушайте внимательно. Я хочу, чтобы вы помогли здесь мне и китайцу от Бен-Хина пересчитать эти деньги. Может быть, и вы не откажетесь помочь, мистер Раут, раз уж вы здесь? Чем больше нас будет, тем лучше“.

Все это он успел обдумать, пока я спал. Будь мы английским судном или отвози мы наших кули в какой-нибудь английский порт, вроде, например, Гонконга, — тогда конца бы не было расследованиям, неприятностям, искам о возмещении убытков и так далее. Но эти китайцы знают своих чиновников лучше, чем мы.

Люки были уже открыты, и все они вылезли на палубу — после целых суток, проведенных внизу. Становилось как-то не по себе при виде этих исхудалых, несчастных физиономий. Бедняги глядели на небо, на море, на судно, словно думали, что все это давным-давно разлетелось вдребезги. Да и неудивительно! Они перенесли столько, что белый человек испустил бы дух... Был там один парень, из наиболее пострадавших, которому едва не вышибли глаз. Глаз вылезал у него из орбиты, и был величиной с половину куриного яйца. Белый провалялся бы после такой штуки месяц на спине, а этот парень расталкивал людей и разговаривал с соседями, как ни в чем не бывало. Они здорово галдели, а всякий раз, как старик высовывал на мостик свою лысую голову, они замолкали и глазели на него снизу.

Видимо, старик, поразмыслив, заставил этого парня от Бен-Хин спуститься вниз и разъяснить им, каким образом они могут получить свои деньги. Потом он мне все объяснил: так как все кули работали в одном и том же месте и в одно и то же время, он решил, что самым справедливым делом будет разделить между ними поровну все деньги, какие мы подобрали. Доллары одного ничем не отличаются от долларов другого, — сказал он мне, — и если допрашивать каждого, сколько денег он принес с собой на борт, может случиться, что они солгут, и тогда он ничего не добьется.

Он мог бы передать деньги какому-нибудь китайскому чиновнику, которого удалось бы откопать в Фучжоу, но он сказал, что с таким же успехом может положить эти деньги сразу себе в карман, — все равно кули их не увидят. Полагаю, они думали то же самое.

Мы закончили раздачу денег до темноты. Это было любопытное зрелище: на море — волнение, судно — развалина, и китайцы, один за другим, шатаясь, поднимаются на мостик, чтобы получить свою долю; а старик, все еще в сапогах и в рубаше, обливаясь потом, раздает деньги, стоя в дверях штурманской рубки, и время от времени накидывается на меня или на старину Раута, если ему что-нибудь приходилось не по вкусу. Долю

тех, кто был изувечен, он отнес сам к люку № 2. Оставалось еще три доллара — их отдали трем наиболее пострадавшим кули — по доллару каждому. Затем мы вытащили на палубу кучу мокрых лохмотьев, какие-то обломки и прочий хлам и предоставили им самим разыскивать владельцев.

Конечно, это был наилучший способ не поднимать шума и удовлетворить всех заинтересованных лиц. А каково твое мнение, избалованный щеголь с почтового парохода? Старший механик говорит, что несомненно — это был единственный выход. Шкипер сказал мне как-то: „Есть вещи, которых вы не найдете в книгах“. Если принять во внимание его ограниченность, — думаю, он прекрасно выпутался из этого дела».

Фрейя Семи Островов

Однажды - и с того дня прошло уже много лет - я получил длинное, многословное письмо от одного из моих старых приятелей и товарищей по бродяжничеству в восточных морях. Он все еще был там - уже женатый и не первой молодости. Я представил его себе располневшим и втянувшимся в семейную жизнь; короче, укрощенным судьбой, общей для всех, за исключением тех любимцев богов, что умирают в молодые годы. Письмо было написано по типу писем "помните ли вы?.." - грустное письмо, обращенное к прошлому. Между прочим, он писал: "Наверно, вы помните старого Нельсона..."

Помню ли я старика Нельсона? Конечно. И начать с того, что его имя было не Нельсон. Англичане с Архипелага звали его Нельсоном, - полагаю, так им было удобнее, а он никогда не протестовал. Это было бы пустым педантством. Настоящая же его фамилия была - Нильсен. Он уехал на Восток до появления телеграфного кабеля, служил в английских фирмах, женился на англичанке, в течение многих лет был одним из нас: долгие годы вел торговлю и во всех направлениях избороздил восточный архипелаг - вдоль и поперек, по диагонали и перпендикулярно, кругами, полукругами, зигзагами и восьмерками. Не было ни одного уголка, ни одного закоулка в этих тропических морях, куда бы не проник с самыми миролюбивыми намерениями предприимчивый старый Нельсон (или Нильсен). Если начертить его пути, они покроют, как паутиной, карту Архипелага - всю, за исключением Филиппин. Сюда он никогда не приближался; его удерживал какой-то непонятный страх перед испанцами, точнее - перед испанскими властями. Трудно сказать, чего он опасался. Быть может, в былые годы он читал рассказы об инквизиции.

Он вообще боялся тех, кого называл "властями"; к англичанам он относился с доверием и уважением, но две другие народности, правящие в этой части света, вызывали у него неприязнь и страх. Голландцы устрашали его меньше, чем испанцы, но он относился к ним с еще большим недоверием: в высшей степени недоверчиво. Голландцы, по его мнению, способны были "сыграть скверную штуку с человеком", имевшим несчастье им не понравиться. У них были свои законы и правила, но они не имели понятия о надлежащем их применении. Жалко было видеть, с какой тревожной настороженностью обращался он с тем или иным официальным лицом, но не забывайте, что этот же самый человек бесстрашно слонялся

по деревне каннибалов в Южной Гвинее (заметьте, что он всю жизнь был человеком далеко не худым и, смею сказать, аппетитным кусочком), ведя какой-нибудь меновой торг в расчете на барыш, едва ли превышающий пятьдесят фунтов.

Помню ли я старого Нельсона? Еще бы! Правда, ни один из моего поколения не знал Нельсона в дни его расцвета. В наше время он уже "удалился от дел". Он купил, а быть может, арендовал у султана часть маленького островка из небольшой группы, называемой "Семь Островов", немного к северу от Банки. Полагаю, это была законная сделка, но я нисколько не сомневаюсь, что, будь он англичанином, голландцы нашли бы основание выкурить его без всяких церемоний. В данном случае настоящая его фамилия сослужила ему верную службу. Голландцы оставили его в покое, как непритязательного датчанина, чье поведение вполне корректно. Вложив все свои деньги в обработку земли, он, естественно, старался не вызывать даже тени недоразумения и, руководствуясь именно этими благоразумными соображениями, не слишком благосклонно взирал на Джеспера Эллена. Но об этом позже. Да! Все мы хорошо помним большой гостеприимный бенгало, воздвигнутый на склоне острова; помним старика Нельсона - его тучную фигуру, облаченную всегда в белую рубашку и брюки (у него укоренилась привычка при всяком удобном случае снимать свой альпаговый пиджак); его круглые голубые глаза, растрепанные песочно-белые усы, торчащие во все стороны, как иглы рассерженного дикобраза, его манеру неожиданно садиться и обмахиваться шляпой. Но не имеет смысла скрывать тот факт, что лучше всего мы помним его дочь, которая в то время приехала на остров, поселилась с ним и стала как бы владычицей островов.

Фрейя Нельсон (или Нильсен) была одной из тех девушек, какие не забываются. У нее был идеальный овал лица; в этой очаровательной рамке гармоничное расположение всех черт и яркий румянец производили впечатление здоровья, силы и, если можно так выразиться, бессознательной самоуверенности - восхитительной капризной решимости. Я не хочу сравнивать ее глаза с фиалками - они были лучистее и не такие темные. Разрез глаз был широкий, и она всегда смотрела на вас открыто и прямо. Я никогда не видел этих длинных темных ресниц опущенными, - полагаю, их видел Джеспер Эллен как особа привилегированная, - но я не сомневаюсь, что это должно было производить странное, чарующее впечатление. Она могла - Джеспер рассказывал мне об этом однажды с трогательным идиотским торжеством сидеть на своих волосах. Да, это возможно, вполне возможно.

Мне не суждено было взирать на эти чудеса; я довольствовался тем, что любовался ее изящной прической, которая была ей очень к лицу, подчеркивая красивую форму головы.

В полумраке - когда жалюзи на западной веранде бывали опущены, или в тени фруктовых деревьев около дома - ее пышные блестящие волосы, казалось, излучали свой собственный золотистый свет.

Она обычно одевалась в белое и носила короткие юбки, не мешавшие при ходьбе и открывавшие ее изящные, зашнурованные коричневые ботинки. И только голубая отделка оживляла иногда ее костюм. Никакие физические усилия как будто не утомляли ее. Я видел однажды, как она вышла из лодки после долгой прогулки на солнцепеке (она гребла сама): дыхание ее было по-прежнему ровным, и ни один волосок не выбился из прически. Утром, когда она выходила на веранду, чтобы взглянуть на запад, в сторону Суматры, она казалась такой же свежей и сияющей, как капля росы. Но капля росы испаряется, а во Фрейе не было ничего эфемерного. Я помню ее округлые сильные руки с тонкими запястьями, широкие крепкие кисти рук с суживающимися к концам пальцами.

Я не знаю, действительно ли она родилась на море, но мне известно, что до двенадцати лет она плавала со своими родителями на различных судах. После того как старик Нельсон потерял жену, перед ним встал серьезный вопрос - что делать с девочкой. Одна добрая леди из Сингапура, тронутая его немой горем и затруднительным положением, предложила взять на себя заботу о Фрейе. Это соглашение длилось шесть лет, а тем временем старик Нельсон (или Нильсен) "удалился от дел" и устроился на своем острове; тогда-то и было решено (так как добрая леди уезжала в Европу), что его дочь приедет к нему.

Старик заказал немедленно через своего сингапурского агента "громадный" рояль Штейна и Эбгарта. В то время я был капитаном маленького парохода, который вел торговлю с островами, и мне кое-что известно о "громадном" рояле Фрейи, так как на мою долю выпало отвезти его к ней. С трудом выгрузили мы огромный ящик на плоскую поверхность скалы среди кустарников, и во время этой морской операции едва не вышибли дно у одной из моих шлюпок. Участие принимала вся команда, включая механиков и кочегаров, и, изоцряя всю свою изобретательность, прибегнув к рычагам, канатам, валам и наклонным плоскостям из намыленных досок, трудясь на солнцепеке, подобно древним египтянам, сооружающим пирамиду, мы дотащили его до дому и водрузили на западной веранде, игравшей в бенгало роль гостиной. Затем мы осторожно отодрали доски ящика, и перед нами наконец предстало великолепное

чудовище из розового дерева. С благоговейным волнением мы бережно придвинули его к стенке и впервые за целый день вздохнули свободно. Несомненно, это был самый тяжелый предмет на всем островке со дня сотворения мира. Обилие звуков, издаваемых им в этом бенгало (игравшем роль деки), было поистине удивительно. Рояль гремел до самого моря. Джеспер Эллен говорил мне, что рано утром на палубе "Бонито" - его удивительно быстрого и красивого брига - он совершенно отчетливо слышал, как Фрейя разыгрывает гаммы. Правда, этот парень всегда бросал якорь безрассудно близко от берега, о чем я ему не раз говорил. Конечно, эти моря спокойны до однообразия, а Семь Островов - особенно тихое и безоблачное местечко. Но все же иногда полуденная буря над Банкой или даже один из тех зловещих густых шквалов от дальнего берега Суматры внезапно устраивали вылазку на острова, заволакивая их на два-три часа вихрями и синевато-черным мраком, чрезвычайно зловещим. Опущенные тростниковые жалюзи отчаянно стучали от порывов ветра, весь бенгало содрогался до основания, и тогда Фрейя садилась за рояль и в ослепительных вспышках молнии играла дикую музыку Вагнера, а вокруг обрушивались громовые удары, от которых волосы у вас вставали дыбом. В такие минуты Джеспер застывал на веранде, любуясь ее гибкой, стройной фигурой, удивительным сиянием ее белокурых волос, быстрыми пальцами на клавишах, белизной ее шеи... а там, у мыса, бриг вздымался, натягивая канаты в какой-нибудь сотне ярдов от опасных, до блеска черных скал. Ух!

И причина этого, изволите ли видеть, была одна: когда он возвращался ночью на борт и опускал голову на подушку, он чувствовал, что находится так близко от своей Фрейи, спящей в бенгало, как только возможно при данных обстоятельствах. Слыхали вы о чем-нибудь подобном? И, заметьте, этот бриг должен был стать домом - их домом - плавучим раем, который Джеспер постепенно снаряжал, как яхту, чтобы блаженно проплыть на нем всю свою жизнь вместе с Фрейей. Глупец! Но парень всегда рисковал.

Помню, однажды я наблюдал с веранды вместе с Фрейей, как бриг приближался с севера к мысу. Полагаю, Джеспер увидел девушку в свою длинную подзорную трубу. И что же он делает? Вместо того чтобы плыть милую-другую вдоль берега, а затем по всем морским правилам бросить якорь, он высматривает просвет между двумя отвратительными старыми зубчатыми рифами, внезапно поворачивает руль и стрелой пускает туда бриг. Все паруса его дрожат и трещат так, что этот треск мы могли слышать на веранде. Должен вам сказать, что я свистнул сквозь зубы, а Фрейя выругалась. Да! Она сжала свои крепкие кулаки, топнула ножкой в красивом коричневом ботинке и сказала: "Черт!" Потом, взглянув на меня,

слегка покраснела, правда, не очень сильно, сказала: "Я забыла, что вы тут", - и засмеялась. Да, конечно. Когда появлялся Джеспер, она забывала буквально всех. Встревоженный этой безумной выходкой, я не удержался, чтобы не обратиться за сочувствием к ее здравому смыслу.

- Ну, не дурак ли он! - с чувством сказал я.

- Форменный идиот, - горячо согласилась она, прямо глядя на меня своими широко раскрытыми серьезными глазами, а на щеках ее играли улыбочивые ямочки.

- И все это, - подчеркнул я, - только для того, чтобы встретиться с вами на какие-нибудь двадцать минут раньше.

Мы слышали, как опустился якорь, а затем она приняла вид очень решительный и угрожающий.

- Подождите минутку. Я проучу его.

Дав мне инструкции, она ушла в свою комнату и заперла дверь, оставив меня одного на веранде. Задолго до того, как на бриге были убраны паруса, явился Джеспер, прыгая через три ступеньки. Он забыл поздороваться и нетерпеливо поглядывал направо и налево.

- Где Фрейя? Разве ее только что здесь не было?

Когда я объяснил ему, что он будет лишен общества мисс Фрейи в течение целого часа с одной только целью "проучить его", Джеспер заявил, что, несомненно, это я ее настроил, и он боится, как бы ему еще не пришлось пристрелить меня в один прекрасный день. Она и я слишком подружились. Затем он бросился на стул и начал рассказывать мне о своем плаванье. Но забавно, что парень по-настоящему страдал. И это было заметно. Голос у него оборвался, и он сидел молча, глядя на дверь с лицом мученика. Факт... А еще забавнее было то, что меньше чем через десять минут девушка преспокойно вышла из своей комнаты. А тогда я ушел. Я отправился разыскивать старика Нельсона (или Нильсена) на задней веранде - его собственном уголке, доставшемся ему при распределении дома, - с благим намерением втянуть его в разговор, чтобы он не вздумал, чего доброго, бродить вокруг и не пролез бы, по неведению, туда, где в нем в данный момент не нуждались.

Он знал о прибытии брига, но не знал, что Джеспер уже с его дочерью. Мне кажется, он думал, что за это время не дойти до бенгало. Любой отец рассудил бы так же. Он подозревал, что Эллен влюблен в его дочь; птицы в воздухе и рыба в океане, большинство торговцев Архипелага и все жители Сингапура об этом знали. Но он неспособен был понять, до какой степени девушка им увлекалась. У него создалось представление, будто Фрейя слишком разумна, чтобы увлечься кем бы то ни было - увлечься, я хочу

сказать, до такой степени, когда никакой контроль здравого смысла уже невозможен. Нет, не это заставляло его сидеть на задней веранде и втихомолку терзаться во время визитов Джеспера. Его тревожили голландские "власти". Дело в том, что голландцы косо смотрели на Джеспера Эллена, владельца и шкипера брига "Бонито". Они считали его слишком предприимчивым в торговых делах. Не знаю, совершал ли он что-нибудь противозаконное, но, мне кажется, его кипучая энергия была неприятна этим тугодумным, медлительным людям. Как бы то ни было, по мнению старика Нельсона, капитан "Бонито" был способным моряком и славным молодым человеком, но знакомство с ним скорее нежелательно. Оно, видите ли, несколько компрометировало. С другой стороны, ему не хотелось попросту попросить Джеспера убраться восвояси. Бедняга Нельсон сам был славным парнем. Я думаю, он постеснялся бы оскорбить чувства даже какого-нибудь кудлатого каннибала, - разве что под влиянием сильного раздражения. Я говорю - чувства, но отнюдь не тело. Когда пускались в ход копыя, ножи, топоры, дубины или стрелы, старик Нельсон умел постоять за себя. Во всех остальных отношениях душа у него была робкая. Итак, он сидел с озабоченной физиономией на задней веранде и всякий раз, как до него доносились голоса его дочери и Джеспера Эллена, раздувал щеки, а затем мрачно вздыхал с видом крайне удрученного человека.

Разумеется, я высмеял его страхи, которыми он отчасти со мной поделился. Он до известной степени считался со мной и уважал мои мнения не за мои моральные качества, но за то, что я поддерживал якобы хорошие отношения с голландскими "властями". Я знал наверняка, что самое страшное его пугало, губернатор Банки - очаровательный, вспыльчивый, сердечный контр-адмирал в отставке, - был, несомненно, к нему расположен.

Эту утешительную гарантию я всегда выставлял на вид, и чело старика Нельсона (или Нильсена) обычно на секунду прояснялось; но затем он начинал покачивать головой с таким видом, словно хотел сказать: все это прекрасно, но в самой природе голландских властей скрыты такие глубины, что никто, кроме него, не может их познать. Какая нелепость!

В тот день, о каком я говорю, старик Нельсон был особенно раздражителен. Я старался занять его смешным и несколько скандальным приключением, случившимся с одним из наших общих знакомых в Сайгоне, как вдруг он неожиданно воскликнул:

- Какого черта ему здесь нужно? Зачем он сюда является?

Ясно, что он не слышал ни одного слова. Это меня разозлило, так как

анекдот действительно был хорош. Я пристально посмотрел на него.

- Ну-ну! - воскликнул я. - Неужели вам неизвестно, зачем Джеспер Эллен является сюда?

Это был первый ясный намек, какой я когда-либо делал, - намек на истинный характер отношений между Джеспером и его дочерью. Он выслушал его очень спокойно.

- О, Фрейя - девушка разумная, - рассеянно пробормотал он, а его мысленный взор был, несомненно, прикован к "властям". Нет, Фрейя не глупа. Насчет этого он не беспокоится. Он решительно ничего против не имеет. Она просто проводит с ним время; парень ее забавляет, и больше ничего.

Когда пронизательный старикан перестал бормотать, в доме воцарилась тишина. Те двое забавлялись очень тихо и, несомненно, от всей души. Какое более поглощающее и менее шумное развлечение могли они найти, чем строить планы на будущее? Сидя рядышком на веранде, они, должно быть, смотрели на бриг - третьего участника в этой увлекательной игре. Без него не было и будущего. Он был для них и счастьем, и домом, и великим свободным миром. Кто это сравнивал корабль с тюрьмой? Пусть меня с позором повесят на ноке, если это справедливо. Белые паруса этого судна были белыми крыльями пожалуй, "крылами" звучит поэтичней, - белыми крылами их парящей любви. Парящей - относится к Джесперу. Фрейя, как все женщины, крепче держалась мирских условностей.

Но Джеспер оторвался от земли с того самого дня, когда они вместе глядели на бриг и между ними простерлось молчание - то молчание, какое является единственной совершенной формой общения между существами, наделенными даром речи, - и когда он предложил ей разделить с ним обладание этим сокровищем. Конечно, он презентовал ей бриг весь, целиком. Но ведь его сердце было отдано бригу с той минуты, когда он купил его в Маниле у пожилого перуанца в скромном черном суконном костюме, загадочного и велеречивого. Быть может, тот украл его у берегов Южной Америки, откуда, по его словам, приехал на Филиппины "по семейным обстоятельствам". Это "по семейным обстоятельствам" звучит определенно хорошо. Ни один истинный кабальеро не станет продолжать расспросы после такого заявления.

А Джеспер, конечно, был настоящим кабальеро. Бриг же был весь черный, загадочный и очень грязный: потускневшая жемчужина моря, или, вернее, заброшенное произведение искусства. Да, он, несомненно, был художником, этот неведомый строитель, придавший безукоризненные очертания корпусу из самого твердого тропического дерева, скрепленного

чистейшей медью. Одному богу известно, в какой части света был построен этот бриг. Сам Джеспер не мог разузнать его историю от своего велеречивого мрачного перуанца - если парень был перуанцем, а не переодетым чертом, как шутливо утверждал Джеспер. По моему мнению, бриг был так стар, что едва ли не принадлежал последним пиратам или торговцам невольниками; а быть может, он был клиппером, а прежними хозяевами были торговцы опиумом или контрабандисты.

Как бы то ни было, но бриг был в полной исправности, как будто его только что спустили на воду; он слушался руля, словно был гичкой, ходил под парусами, как волшебное судно, и, подобно красивым женщинам, прославившимся в истории своей бурной жизнью, казалось, хранил секрет вечной молодости. Поэтому ничего неестественного не было в том, что Джеспер Эллен обращался с ним, как влюбленный. Такое обращение вернуло бригу блеск его красоты. Джеспер покрыл его несколькими слоями лучшей белой краски, так заботливо, искусно, артистически наложенной и поддерживаемой в такой чистоте его запуганным экипажем из отборных малайцев, что драгоценная эмаль, какую пользуются ювелиры для своих изделий, не могла выглядеть лучше и быть нежнее на ощупь. Узкая позолоченная кайма опоясывала его изящный корпус, и своей красотой бриг легко затмевал любую увеселительную яхту, когда-либо появлявшуюся в те дни на Востоке. Должен сказать, что я лично предпочитаю темно-малиновую кайму на белом корпусе: она выделяется рельефнее и стоит дешевле. Так я и сказал Джесперу. Не тут-то было! Он признавал только лучшее листовое золото, хотя, в сущности, никакое украшение не могло быть достаточно великолепным для будущего жилища его Фрейи.

В его сердце чувства к бригу и к девушке были неразрывно слиты: так можно сплавить в одном тигле два драгоценных металла. А пламя было горячее, могу вас уверить. Оно вызвало в нем какое-то неистовое внутреннее волнение, проявлявшееся как в поступках, так и в желаниях. Сухощавый, долговязый, с тонким лицом, волнистыми каштановыми волосами, с напряженным блеском стальных глаз и быстрыми, порывистыми движениями, он иной раз напоминал мне сверкающий отточенный меч, беспрестанно извлекаемый из ножен. И только когда он находился подле девушки, - когда он мог на нее смотреть, - эта странная напряженность сменялась серьезным преданным вниманием, с каким он следил за малейшими ее движениями и словами.

Ее хладнокровное, трезвое, добродушное самообладание, казалось, укрепляло его сердце. А может быть, на него действовало так

успокоительно очарование ее лица, ее голоса, ее взглядов? Однако приходится думать, что именно все это и воспламеняло его воображение, если истоки любви лежат в воображении. Но я не таков, чтобы исследовать глубже подобные тайны, и мне кажется, мы позабыли о бедном старике Нельсоне, восседающем на задней веранде и тревожно раздувающим щеки.

Я указал ему, что в конце концов Джеспера нельзя назвать частым посетителем. Он и его брат плавали по всем водам Архипелага. На это старичина Нельсон ответил только - и ответил с беспокойством:

- Надеюсь, Химскирк сюда не заглянет, пока здесь стоит этот бриг.

Он уже видел в Химскирке какое-то путало! В Химскирке! Право, этот человек мог вывести из терпения...

II

Ну кто, скажите пожалуйста, был этот Химскирк? Вы сразу увидите, как неразумен был этот страх перед Химскирком... Конечно, человек он был довольно зловредный. Это сразу бросалось в глаза, достаточно было послушать, как он смеется. Ничто не разоблачает яснее тайных свойств человека, чем неосторожный взрыв смеха. Но - помилуй бог! - если бы мы вздрагивали от скверного хохота, словно заяц от любого звука, нам ничего иного не оставалось бы, кроме одиночества пустыни или уединенной хижины отшельника. И даже там нам пришлось бы переносить неизбежное присутствие дьявола.

Однако дьявол - персона значительная, знавшая лучшие дни и высоко стоящая в иерархии небесного воинства. Но в иерархии земных голландцев Химскирк, чьи ранние годы вряд ли отличались особым блеском, был всего-навсего флотским офицером сорока лет от роду, без каких-либо особенных связей или способностей, какими можно похвалиться. Он командовал "Нептуном" - маленькой канонерской лодкой, патрулировавшей в водах Архипелага и следившей за торговцами. Право, не очень высокое положение. Повторяю, это был самый обыкновенный лейтенант, средних лет, числящийся за собой двадцать пять лет службы и, вероятно, в недалеком будущем собирающийся выйти в отставку. Вот и все.

Он никогда не утруждал своей головы размышлениями о том, что делается на Семи Островах, пока не услышал из разговоров в Минтоке или Палембанге о поселившейся там красивой девушке. Думаю, любопытство побудило его заглянуть на Острова, а раз увидев Фрейю, он взял себе за правило заезжать к Нельсону всякий раз, как находился на расстоянии полудня пути от Островов.

Я не хочу сказать, что Химскирк был типичным голландским флотским офицером. Я их видел в достаточном количестве, чтобы не допустить этой нелепой ошибки. У него было большое, гладко выбритое лицо с плоскими смуглыми щеками, а между ними был пухлый рот. В его черных волосах серебрились белые нити, а его неприятные глаза тоже были черные. У него была скверная привычка бросать по сторонам косые взгляды, не поворачивая головы, низко посаженной на короткой, круглой шее. Толстый круглый торс в темной форменной куртке с золотыми жгутами на плечах был водружен на паре раскоряченных толстых круглых ног в белых диагоналевых брюках. Его круглый череп под белой фуражкой

также казался необычайно толстым, но мозгов в нем было достаточно, чтобы обнаружить и злостно использовать страх бедняги Нельсона перед тем, что было облечено хотя бы лоскутком власти.

Химскирк высаживался на мысе и, прежде чем явиться в дом, молчаливо обходил всю плантацию, словно это была его собственность. На веранде он выбирал лучший стул и оставался к завтраку или к обеду, не трудясь даже подождать хотя бы намека на приглашение.

Его следовало бы выгнать уж за одно его обращение с мисс Фрейей. Будь он голым дикарем, вооруженным копьями и отравленными стрелами, старик Нельсон (или Нильсен) вышел бы на него с кулаками; но этих золотых жгутов на плечах - к тому же голландских жгутов - достаточно было, чтобы уstrasшить старика; он разрешал негодяю относиться к нему с тупым пренебрежением, пожирать глазами его дочь и опоражнивать бутылки из его маленького винного погреба.

Кое-что не ускользнуло от моего внимания, и однажды я попробовал высказаться по этому вопросу.

Жалко было видеть страх, появившийся в круглых глазах старика Нельсона. Прежде всего он заявил, что лейтенант - его добрый друг, очень славный парень. Я не спускал с него пристального взгляда, и наконец он стал заикаться и признался, что, конечно, Химскирк не производит впечатления человека жизнерадостного, но все же в глубине души...

- Я еще не встречал здесь жизнерадостных голландцев, - перебил я. - В конце концов жизнерадостность большого значения не имеет, но неужели вы не видите...

Тут Нельсон неожиданно так перепугался, что у меня не хватило духу продолжать. Конечно, я собирался ему сказать, что парень преследует его дочь. Это самое подходящее выражение. Не знаю, на что мог надеяться Химскирк или что он задумал предпринять. Быть может, он считал себя неотразимым, либо его ввели в заблуждение живые, уверенные, непринужденные манеры Фрейи. Но факт оставался фактом. Он преследовал девушку. Нельсон это не мог не видеть. Но... он предпочитал закрывать глаза. Он не желал, чтобы ему об этом говорили.

- Все, чего я хочу, - это жить в мире с голландскими властями, - с пристыженным видом пробормотал он.

Он был неисправим. Мне стало его жалко, и, думаю, мисс Фрейя тоже жалела своего отца. Она сдерживалась ради него и делала это просто, без аффектации, даже добродушно, как и все, что она делала. Задача была не из легких, так как ухаживания Химскирка носили наглый отпечаток презрения, с каким нелегко было примириться. Голландцы этой породы

бывают высокомерны с теми, кто ниже их по своему положению, а этот офицер считал старика Нельсона и Фрейю стоящими во всех отношениях ниже себя.

Не могу сказать, чтобы я жалел Фрейю. Она была не из тех, кто относится к чему бы то ни было трагически. Можно было сочувствовать ей в ее затруднениях, но она всегда казалась на высоте положения.

Своей невозмутимой ясностью она скорее вызывала восхищение. Только когда Джеспер и Химскирк бывали вместе в бенгало, как это иной раз случалось, она чувствовала напряженность положения, но и тут не всякий мог это подметить. Только мои глаза могли обнаружить легкую тень на ее сияющем лице. Однажды я не удержался, чтобы не выразить ей своего одобрения:

- Честное слово, вы удивительны.

Она слабо улыбнулась и пропустила мое замечание мимо ушей.

- Самое главное - это удержать Джеспера от неразумного поступка, сказала она, и в спокойной глубине ее честных глаз, прямо смотревших на меня, я мог заметить подлинную тревогу. - Вы мне поможете его сдержать, правда?

- Конечно, мы должны сдержать его, - заявил я, прекрасно понимая ее беспокойство. - Ведь он делается совсем сумасшедшим, если его раздражить.

- Да! - мягко согласилась она: мы с ней всегда в шутку бранили Джеспера. - Но я его немножко приручила. Теперь он совсем хороший мальчик.

- И все-таки он раздавил бы Химскирка, как черного таракана, - заметил я.

- Пожалуй! - прошептала она. - А это не годится, - добавила она поспешно. - Представьте себе, в каком положении очутился бы бедный папа. Кроме того, я думаю стать хозяйкой этого славного брига и плавать в этих морях, а не блуждать за десять тысяч миль отсюда.

- Чем скорее вы будете на борту, чтобы присматривать за шкипером и за бригом, тем лучше, - серьезно сказал я. - Они оба нуждаются в вашей поддержке. Не думаю, чтобы Джеспер протрезвился до тех пор, пока он не увезет вас с этого острова. Вы его не видите, когда он находится вдали от вас, а я вижу. Он постоянно пребывает в возбужденном состоянии, и это состояние почти пугает меня.

Тут она снова улыбнулась и снова стала серьезной. Ей не могло быть неприятно слушать о своей власти, и у нее было сознание своей ответственности. Неожиданно она ускользнула от меня, так как Химскирк,

сопровожаемый стариком Нельсоном, подошел к веранде. Едва его голова оказалась на уровне пола, как неприятные черные глаза уже начали метать взгляды во все стороны.

- Где ваша дочь, Нельсон? - спросил он таким тоном, словно был неограниченным властелином вселенной. Потом он повернулся ко мне: - Богиня улетела, а?

Бухта Нельсона - так называли мы ее обычно, - была в тот день заполнена судами. Прежде всего тут был мой пароход, затем, дальше в море - канонерка "Нептун" и наконец бриг "Бонито", по обыкновению стоявший на якоре так близко к берегу, что, казалось, человек, не лишенный ловкости и сноровки, мог перебросить шапку с веранды на его добросовестно вычищенные песком шканцы. Медь на нем блестела, как золото; его выкрашенный белой краской корпус сиял, словно атласная мантия. Полированное дерево мачт и большие реи, поставленные поперек судна, придавали ему воинственно-элегантный вид. Бриг был красив. Не удивительно, что, владея таким судном и заручившись обещанием такой девушки, как Фрейя, Джеспер постоянно находился в возбужденном состоянии - быть может, на седьмом небе, а это не вполне безопасно в нашем мире.

Я вежливо заметил Химскирку, что, имея троих гостей в доме, мисс Фрейя, несомненно, должна присмотреть за хозяйством. Конечно, я знал, что она отправилась на свидание с Джеспером на расчищенном участке у реки единственной на островке Нельсона. Командир "Нептуна" бросил на меня недоверчивый черный взгляд и стал устраиваться как дома: он опустил свое плотное цилиндрическое туловище в качалку и расстегнул мундир. Старик Нельсон с самым скромным видом уселся против него, беспокойно тараща свои круглые глаза и обмахиваясь шляпой. Чтобы протянуть время, я попробовал завести разговор; дело оказалось нелегким: мрачный влюбленный голландец все время переводил взгляд с одной двери на другую и каждое мое замечание встречал насмешкой или недовольным ворчанием.

Однако вечер прошел прекрасно. К счастью, блаженство достигает иногда такой степени, что никакое возбуждение немыслимо.

Джеспер был спокоен и сосредоточен, молчал, созерцая Фрейю. Когда мы возвращались на свои суда, я предложил взять на следующее утро его бриг на буксир. Я это сделал с целью увезти его возможно раньше. В первых холодных лучах рассвета мы прошли мимо канонерки, черной, замершей в устье стеклянной бухты; тишина на ней не нарушалась ни единым звуком. Но солнце с тропической быстротой поднялось над

горизонтом на высоту, вдвое превышающую его диаметр, прежде чем мы успели обогнуть риф и поравняться с мысом. Там, на самой высокой скале, стояла Фрейя, вся в белом, похожая в своем шлеме на статую воинственной женщины с розовым лицом; я прекрасно видел ее в бинокль. Она выразительно размахивала носовым платком, а Джеспер, взобравшись на мачту своего белого горделивого брига, в ответ замахал шляпой.

Вскоре после этого мы расстались; я отплыл к северу, а Джеспер, подгоняемый легким ветром с кормы, повернул на восток. Кажется, его путь лежал к Банджермассину и двум другим портам.

Этот мирный день был последним, когда я видел их всех собравшихся вместе; чарующе бодрая, решительная Фрейя, старик Нельсон с невинными круглыми глазами, Джеспер, пылкий, сухощавый и стройный, с узким лицом, удивительно сдержанный, ибо подле своей Фрейи он был безгранично счастлив; все трое высокие, белокурые, с голубыми глазами разнообразных оттенков, и среди них мрачный надменный черноволосый голландец, почти на целую голову ниже и настолько толще каждого из них, что казался существом, способным раздуться, - причудливым экземпляром обитателя какой-нибудь иной планеты.

Контраст бросился мне в глаза внезапно, когда мы отошли от обеденного стола и стояли на освещенной веранде. Он преследовал меня весь вечер, и я помню по сей день это впечатление чего-то забавного и в то же время зловещего.

III

Несколько недель спустя, вернувшись рано утром в Сингапур после путешествия на юг, я увидел бриг, стоящий на якоре во всем блеске и великолепии, словно его только что вынули из стеклянного ящика и бережно опустили на воду.

Он стоял в конце рейда, но я продвинулся вперед и занял свое обычное место прямо против города. Не успели мы позавтракать, как мне доложили, что лодка капитана Эллена плывет к нам.

Его нарядная гичка остановилась борт о борт с нами, в два прыжка он вбежал по парадному трапу и, пожав мне руку своими нервными пальцами, испытующе впился в меня глазами: он предполагал, что дорогой я заглянул на Семь Островов. Я полез в карман за аккуратно сложенной записочкой, которую он выхватил у меня из рук без всяких церемоний и удалился с ней на мостик, чтобы прочесть ее в одиночестве.

Через некоторое время - довольно значительное - я последовал за ним наверх и застал его шагающим взад и вперед: эмоции делали его беспокойным даже в момент самого глубокого раздумья.

Он с торжеством кивнул мне головой.

- Ну, дорогой мой, - сказал он, - теперь я буду считать дни.

Я понял, что он хотел сказать. Я знал, что молодые люди решили бежать из дому и обвенчаться без предварительных формальностей. Действительно, это было разумное решение. Старик Нельсон (или Нильсен) никогда не согласился бы мирно отдать Фрейю этому компрометирующему Джесперу. О небо! Что скажут голландские власти о таком браке! Это звучит курьезно. Но в мире нет ничего более себялюбивого и упорного, чем робкий человек, дрожащий над своим "маленьким поместьем", как называл свой дом и участок извиняющимся тоном старик Нельсон. Сердце, охваченное этим своеобразным страхом, способно сопротивляться рассудку, чувствам и насмешке. Оно кремень.

Несмотря на это, Джеспер хотел просить его согласия, а потом поступить по-своему; но Фрейя решила ничего не говорить на том основании, что "папа только доведет себя до помешательства". Он и в самом деле мог заболеть, а тогда у нее не хватило бы духу его оставить. Вот вам здравый смысл женщины и прямота женских рассуждений. А затем - мисс Фрейя могла читать "бедного дорогого папу", подобно всякой женщине, читающей мужчину, как раскрытую книгу. Если дочь уже ушла,

старик Нельсон не стал бы мучиться. Он поднял бы крик, и конца не было бы жалобам и сетованиям, но это уж другое дело. Он был бы избавлен от подлинной пытки колебания и не терзался бы противоречивыми чувствами. А так как он был слишком робок, чтобы бесноваться, то, по прошествии периода сетований, он посвятил бы себя "своему маленькому поместью" и поддержанию добрых отношений с властями.

Время исцелило бы все. Фрейя думала, что она может подождать, управляя пока своим собственным домом на великолепном бриге и человеком, который ее любил.

Это была самая подходящая жизнь для нее, научившейся ходить не на суше, а на палубе корабля. Она была дитя корабля, морская дева, если такая когда-нибудь существовала. И, конечно, она любила Джеспера и доверяла ему; но к ее радости примешивался и оттенок беспокойства. Очень красиво и романтично владеть, как своей, собственностью, прекрасно закаленным и верным мечом, но можно ли им будет отражать грубые палочные удары судьбы это другой вопрос.

Она знала, что из них двух она была более... как бы это сказать... более полновесна - не ухмыляйтесь, я говорю не об их физическом весе. Она только слегка беспокоилась, когда он уезжал, и у нее был я, который, на правах испытанного наперсника, осмеливался частенько ей нашептывать: "Чем раньше, тем лучше". Но у мисс Фрейи имелась особая жилка упрямства, и ее основание для отсрочки было характерно: "Не раньше чем мне исполнится двадцать один год; тогда люди не сочтут меня недостаточно взрослой, чтобы отвечать за свои поступки".

Чувства Джеспера были до такой степени поработаны, что он даже ни разу не возражал против такого решения. Она была великолепна - во всем, что бы ни делала или ни говорила, и... на этом он ставил точку. Думаю, он был достаточно тонок, чтобы чувствовать себя даже польщенным - иногда. А в утешение у него имелся бриг, который, казалось, был пропитан душой Фрейи, так как все, что бы он ни делал на борту, было освящено его любовью.

- Да. Скоро я начну считать дни, - повторил он. - Еще одиннадцать месяцев. За это время мне придется сделать три рейса.

- Смотрите, как бы не случилось беды, если вы будете слишком торопиться, - предостерег его я. Но он с гордым видом, смеясь, отмахнулся от моего предостережения. - Вздор! Ничего, ничего не может случиться с бригом, - воскликнул он, словно пламя его сердца могло светить в темные ночи на неведомых морях, а образ Фрейи - служить непогрешимым маяком среди скрытых мелей; как будто ветры должны были охранять его будущее,

а звезды - сражаться за него на путях своих; словно магия его страсти имела власть управлять судном на капле росы или провести его сквозь игольное ушко только потому, что этому бригу выпал великолепный жребий служить любви любви, исполненной великой прелести, любви, способной сделать все пути земные надежными, легкими и лучезарными.

- Полагаю, - сказал я, когда он высмеял мое довольно невинное замечание, - полагаю, сегодня вы отплываете.

Действительно, таковы были его планы. Он не снялся на рассвете только потому, что поджидал меня.

- И представьте себе, что случилось вчера! - продолжал он. - Мой помощник неожиданно меня оставил. Должен был уехать. За такое короткое время никого не найдешь, и я думаю взять с собой Шульца. Известного Шульца! Что же не становитесь на дыбы? Говорю вам, вчера, поздно вечером, я пошел и откопал Шульца.хлопот было без конца. "Я - ваш слуга, капитан, - говорит он своим удивительным голосом, - но с сожалением должен признаться, что мне буквально нечего надеть. Мне пришлось постепенно распродать весь свой гардероб, чтобы раздобыть немножко еды". Что за голос у этого человека. Говорят, голос может растрогать и камень! А вот люди как будто привыкли к нему. Раньше я никогда его не видел, и, честное слово, у меня слезы навернулись на глаза. Счастье, что было темно. Он спокойно сидел под деревом, в туземном поселке, тощий, как доска, а когда я пригляделся к нему, оказалось, что на нем надета всего-навсего старая бумажная фуфайка и рваная пижама. Я ему купил шесть белых костюмов и две пары парусиновых туфель. Я не могу сняться с якоря без помощника. Должен взять кого-нибудь. Сейчас я еду на берег записать его, затем возвращаюсь с ним на борт - и в путь. Ну, не сумасшедший ли я, а? Конечно, сумасшедший! Ну, валяйте! Выкладывайте начистоту. Дайте себе волю. Мне нравится, когда вы волнуетесь.

Он явно ждал, что я буду ругаться. Поэтому я с особым удовольствием преувеличил свое спокойствие.

- Самое худшее, что можно сказать против Шульца, - бесстрастно начал я, скрестив руки, - это - неприятная привычка обкрадывать кладовые каждого судна, на какое он только попадает. Это он будет делать. Вот все, что можно против него возразить. Я решительно не верю этой истории, какую рассказывает капитан Робинсон, будто Шулец сговорился в Чантабене с какими-то негодьями с китайской джонки украсть якорь с носа шхуны "Богемская девушка". Вообще история Робинсона слишком замысловата. Другой же рассказ механиков с "Нань-Шаня", заставших якобы Шульца в полночь в машинном отделении трудящимся над медными

подпорками, чтобы снести их на берег и продать, кажется мне более достоверным. За исключением этой маленькой слабости, позвольте вам сказать, что Шульц как моряк лучше многих из тех, кто за всю свою жизнь не взял в рот ни капли спиртного, быть может, в нравственном отношении он не хуже некоторых людей, нам с вами известных, кто никогда не крал ни единого пенни. Он может быть нежелательной особой на борту судна, но раз выбора у вас нет, я думаю, с ним удастся справиться. Здесь важно понять его психологию. Не давайте ему денег до тех пор, пока с ним не покончите. Ни цента, как бы он вас ни просил. Ручаюсь, что с той минуты, когда вы дадите ему деньги, он начнет красть. Не забудьте об этом.

Я наслаждался недоверчивым изумлением Джеспера.

- Черт бы его побрал! - воскликнул он. - Да зачем это ему? Не хотите ли вы подшутить надо мной, старина?

- Нет, не хочу. Вы должны понять психологию Шульца. Его нельзя назвать ни бродягой, ни попрошайкой. Не похоже, чтобы он стал шляться и разыскивать человека, который предложил бы ему стаканчик. Но, представьте себе, он сходит на берег с пятью долларами или пятьюдесятью - это все равно - в кармане... После третьего или четвертого стакана он пьянеет и становится щедрым. Он или рассыпает деньги по всему полу или распределяет между всеми присутствующими; дает каждому, кто только берет. Затем ему приходит в голову, что час ранний, а ему и его друзьям требуется до утра еще немало стаканов. И вот он беззаботно отправляется на свое судно. Ноги его и голова никогда не поддаются хмелю. Он поднимается на борт и просто хватает первый попавшийся предмет, который кажется ему подходящим, - лампу из каюты, бухту каната, мешок сухарей, бидон с маслом - и обращает его в деньги без всяких размышлений. Таков процесс, совершающийся в нем. Вам нужно только следить за ним, чтобы он не отдался слабости. Вот и все.

- К черту его психологию, - проворчал Джеспер. - Но человек с таким голосом, как у него, достоин беседовать с ангелами. Как вы думаете, он неизлечим?

- По моему мнению, он был неизлечим. Его никто не преследовал судебным порядком, но ни один человек больше его не нанимал. Я боялся - он кончит тем, что умрет в какой-нибудь дыре.

- Так... - размышлял Джеспер. - Но "Бонито" не ведет торговли с цивилизованными портами. Здесь ему будет легче не сбиться с прямого пути.

Да, правда. Бриг вел дела на берегах, не тронутых цивилизацией, с неизвестными раджами, обитающими в почти неисследованных гаванях; с

туземными поселениями, разбросанными по течению таинственных рек, мрачные, окаймленные лесом устья которых среди бледно-зеленых рифов и ослепительных отмелей катятся в пустынные проливы, где спокойная голубая вода искрится солнечным светом. Одинокий, вдали от изъезженных путей, бриг скользил, весь белый, вокруг темных, хмурых песчаных кос, выплывал, как призрак, из-за мысов, чернеющих в лунном свете, или лежал, подобно спящей морской птице, в тени безымянной горы в ожидании сигнала. В туманные ненастные дни он вдруг появлялся в Яванском море, презрительно разрезая короткие враждебные волны; или его видели далеко-далеко, маленькое блестящее белое пятнышко, скользящее вдоль пурпурной массы грозовых облаков, громождающихся на горизонте. Иногда, на редких почтовых линиях, где цивилизация соприкасается с лесными тайнами, наивные пассажиры, толпясь у поручней, кричали, с любопытством указывая на бриг: "А, вот яхта!" - а голландский капитан, бросив враждебный взгляд, пренебрежительно ворчал: "Яхта! Нет! Это всего-навсего англичанин Джеспер. Мелкий торговец..."

- Хороший моряк, вы говорите! - воскликнул Джеспер, все еще обдумывая вопрос о безнадежном Шульце с удивительно трогательным голосом.

- Первокласный. Спросите кого угодно. "Редкая находка, но невозможный человек, - заявил я.

- Ему представится случай исправиться на бриге, - со смехом сказал Джеспер. - Там, куда я на этот раз отправляюсь, у него не будет соблазна ни пьянствовать, ни воровать.

Я не настаивал на более определенных сведениях. Так как мы с ним были близки, то я был достаточно осведомлен о ходе его дел.

Когда мы неслись к берегу в его гичке, он неожиданно спросил:

- Кстати, не знаете ли вы, где Химскирк?

Я украдкой взглянул на него и успокоился. Этот вопрос он задал не как влюбленный, а как торговец. Я слышал в Палембанге, что "Нептун" несет службу около Флореи и Сумбавы, и сообщил ему об этом. Совсем в стороне от его пути. Он был доволен.

- Знаете, - продолжал он, - этот парень забавляется у берегов Борнео тем, что сбрасывает мои буи. Мне пришлось поставить несколько в устьях рек. В начале года один торговец из Целебеса, застигнутый штилем, застал его за этим делом. Он пустил свою канонерку прямо на них, разбил на куски один за другим два буя, а затем спустил лодку, чтобы вытащить третий буй. А я полгода назад возился без конца, чтобы укрепить его в

грязи, как веху. Слыхали вы о чем-нибудь более вызывающем, а?

- Я бы не стал ссориться с этим негодяем, - заметил я небрежно, но в действительности сильно встревоженный этой новостью. - Не стоит того.

- Я - ссориться! - воскликнул Джеспер. - Я не хочу ссориться. Я не трону ни один волосок на его безобразной голове. Дорогой мой, когда я думаю о дне совершеннолетия Фрейи, весь мир мне друг, включая и Химскирка. Но все-таки это дрянная, злостная забава.

Мы распрощались довольно поспешно на набережной, так как каждый из нас торопился по своим делам. Я был бы сильно подавлен, знай я тогда, что это поспешное рукопожатие и "До скорого, старина. Желаю удачи", - было нашим последним прощаньем.

Когда он вернулся в проливы, я был в плавании, и он уехал, не дождавшись моего возвращения. Он хотел сделать три рейса до дня рождения Фрейи. В бухте Нельсона я разминутся с ним всего на несколько дней.

Фрейя и я с великим удовольствием и полным одобрением беседовали об "этом безумце" и "форменном идиоте". Она вся искрилась весельем, хотя только что рассталась с Джеспером; но эта разлука должна была быть последней.

- Отправляйтесь на борт возможно скорее, мисс Фрейя, - умолял я.

Она прямо посмотрела мне в лицо, слегка покраснела и ответила с какой-то серьезной пылкостью, словно голос у нее дрогнул:

- На следующий же день.

О да! На следующий же день после того, как ей исполнится двадцать один год. Я был доволен этим намеком на глубокое чувство. Казалось, и она наконец вознегодовала на отсрочку, на которой сама настаивала. Я подумал, что на нее сильно подействовало недавнее посещение Джеспера.

- Вот и отлично, - добавил я. - Я буду значительно спокойнее, зная, что вы взялись присматривать за этим безумцем. Не теряйте ни минуты. Он, конечно, явится к сроку... если небеса не обрушатся.

- Да. Если не... - повторила она задумчивым шепотом, подняв глаза к вечернему небу, не запятнанному ни единым облачком. Некоторое время мы молча смотрели на раскинувшееся внизу море. В сумерках оно казалось таинственно спокойным, словно доверчиво приготавлилось к долгому сну в эту теплую тропическую ночь. И тишина вокруг нас, казалось, не имела границ, не имела конца.

А потом мы снова стали говорить о Джеспере в обычном нашем тоне. Мы согласились, что во многих отношениях он слишком безрассуден. К счастью, бриг был на высоте положения. Казалось, все было ему по силам.

"Настоящее сокровище", - сказала мисс Фрейя. Она и ее отец провели день на борту. Джеспер угощал их чаем. Папа брюзжал... Я отчетливо увидел под белоснежным тентом брига старика Нельсона, снедаемого все возрастающей тайной тревогой и обмахивающегося шляпой. Комедийный папаша... Я узнал о новом образчике безумия Джеспера: он был огорчен тем, что не мог приделать ко всем дверям кают ручки из массивного серебра. "Точно я ему это разрешила бы!" - с шутливым негодованием заметила мисс Фрейя. Между прочим, я узнал еще, что Шульц, морской клептоман с патетическим голосом, пока держится на своем месте с одобрения мисс Фрейи. Джеспер доверил даме сердца свое намерение выправить психологию этого парня. Да, конечно. Весь мир был его другом, ведь он дышал одним воздухом с Фрейей.

Случайно в разговоре я упомянул имя Химскирка и, к величайшему своему удивлению, испугал мисс Фрейю. Глаза ее выразили что-то похожее на страдание, и в то же время она прикусила губу, как будто сдерживая взрыв смеха. О да! Химскирк был в бенгало в одно время с Джеспером, но он приехал на день позже. Уплыл он в один день с бригам, но через несколько часов после него.

- Какой помехой, должно быть, он был для вас двоих, - сочувственно сказал я.

Она взглянула на меня как-то испуганно и весело и вдруг разразилась звонким смехом:

- Ха-ха-ха!

Я от всей души присоединился к ней, но мой смех звучал не так очаровательно.

- Ха-ха-ха!.. Ну, не смешон ли он? Ха-ха-ха!

Мне представились бессмысленно свирепые круглые глаза старика Нельсона и его заискивающее обращение с лейтенантом, и это вызвало новый приступ смеха.

- Он выглядит, - еле выговорил я, - он выглядит - ха-ха-ха! - среди вас троих... как несчастный черный таракан. Ха-ха-ха!

Она снова звонко расхохоталась, убежала в свою комнату и захлопнула за собой дверь, оставив меня в глубоком изумлении. Я сразу перестал смеяться.

- Над чем смеялись? - раздался голос старика Нельсона со ступенек веранды.

Он поднялся наверх, уселся и раздул щеки с невыразимо глупым видом. Но мне уж не хотелось больше смеяться. "И над чем, черт возьми, мы так неудержимо смеялись?" - спрашивал я себя. Я вдруг почувствовал

уныние.

Ах, да! Первой засмеялась Фрейя. "Девушка переутомлена", - подумал я. И, право, это было не удивительно.

Я не ответил на вопрос старика Нельсона, но он был слишком расстроен визитом Джеспера, чтобы думать о чем-нибудь постороннем. Он даже спросил меня, не возьмусь ли я намекнуть Джесперу, что здесь, на Семи Островах, в нем не нуждаются. Я заявил, что не вижу необходимости. Основываясь на некоторых обстоятельствах, недавно дошедших до моего сведения, я смею думать - в недалеком будущем Джеспер Эллен не станет его тревожить.

Он серьезно воскликнул: "Слава богу!" - так что я опять чуть не расхохотался, однако при этом он не просил. По-видимому, Химскирк приложил на этот раз все усилия к тому, чтобы быть неприятным. Лейтенант сильно испугал старика Нельсона, выразив мрачное удивление, что правительство разрешило белому человеку поселиться в этих местах.

- Это противоречит нашей политике, - заметил он. Затем лейтенант обвинил старика в том, что он, собственно, не лучше англичанина, и даже старался затеять с ним ссору из-за его незнания голландского языка.

- Я слишком стар, чтобы изучать его теперь, сказал я ему, - грустно вздохнул старик Нельсон (или Нильсен). - А он говорит, что мне уже давным-давно следовало выучить голландский язык. Я поселился на жительство в голландских колониях. Мое незнание голландского языка, говорит он, возмутительно. Он так свирепо со мной обращался, словно я - какой-нибудь китаец.

Ясно, что его терзали умышленно. Он не упомянул о том, сколько бутылок своего лучшего кларета он выставил на алтарь примирения. Должно быть, возлияния были обильные. Но старик Нельсон (или Нильсен) по натуре своей гостеприимен. Против этого он ничего не имел; а я жалел только о том, что эта добродетель обратилась на лейтенанта - командира "Нептуна". Я горел желанием сообщить ему, что, по всем вероятностям, он будет избавлен также и от посещений Химскирка. Я этого не сделал только из боязни (нелепой, пожалуй) вызвать у него какие-либо подозрения. Как будто они могли возникнуть у этого простодушного комедийного отца!

Довольно странно, что последнее слово на тему о Химскирке было сказано Фрейей и именно в таком смысле. За обедом лейтенант упорно не сходил с языка старика Нельсона. Наконец я проворчал чуть слышно: "Черт бы побрал лейтенанта!" Я видел, что девушка также начала приходить в отчаяние.

- И он был совсем нездоров - правда, Фрейя? - причитал старик Нельсон. - Может быть, оттого-то он и был таким сварливым, а, Фрейя? Он выглядел очень скверно, когда оставил нас так внезапно. Должно быть, и печень у него не в порядке.

- Ну в конце концов он поправится, - нетерпеливо сказала Фрейя. - И брось ты о нем беспокоиться, папа. Очень возможно, что ты не скоро его увидишь.

Взгляд, каким она ответила на мою сдержанную улыбку, был невеселый. За последние два часа глаза ее как будто ввалились, лицо побледнело. Мы слишком много смеялись. Она переутомлена! Взволнована приближением решительного момента. Искренняя, смелая, самоуверенная, она, тем не менее, должна была, приняв решение, чувствовать боль и угрызения совести. Та сила любви, которая привела ее к этому решению, должна была, с другой стороны, вызвать в ней сильное напряжение, не лишенное, быть может, и легких угрызений совести. Она была честна... а здесь, напротив нее, за столом, сидел бедный старик Нельсон (или Нильсен) и смотрел на нее круглыми глазами, такой забавный в своей ярости, что мог растрогать самое беззаботное сердце.

Он рано удалился в свою комнату, чтобы убаюкать себя перед сном просмотром счетных книг.

Мы вдвоем еще около часу оставались на веранде, вяло обмениваясь пустыми фразами, словно мы были душевно истощены нашим длинным дневным разговором на единственную важную тему. И, однако, было что-то, о чем она могла сказать другу. Но не сказала. Мы расстались молча. Быть может, она не доверяла моему мужскому здравому смыслу... О Фрейя!

Спускаясь по крутой тропинке к пристани, я встретил в тени валунов и кустарника закутанную женскую фигуру. Сначала она меня испугала, неожиданно появившись на тропинке из-за скалы. Но через секунду мне пришло в голову, что это только горничная Фрейи, полукровка - наполовину малайка, наполовину португалка. Около дома часто мелькало ее оливковое лицо и ослепительно белые зубы. Иногда я следил за ней издали, когда она сидела вблизи дома в тени фруктовых деревьев, расчесывая и заплетая в косы свои длинные волосы цвета воронова крыла. Казалось, это было ее главное занятие в свободные часы. Мы часто обменивались кивками и улыбками, а иногда и несколькими словами. Она была хорошеньким созданием. А однажды я одобрительно наблюдал, как она делает забавные, выразительные гримасы за спиной Химскирка. Я знал от Джеспера, что она посвящена в тайну - подобно субретке в комедиях. Она должна была сопровождать Фрейю на ее необычном пути к браку и

счастью "до конца жизни". Но зачем она бродит близ бухты ночью - если не по своим собственным любовным делам, спрашивал я себя. Но насколько я знал, никого подходящего для нее не было на всей группе Семи Островов. Вдруг мне пришло в голову, что она подстерегала здесь меня.

Она колебалась с минуту, закутанная с головы до ног, темная и застенчивая. Я подошел к ней, а что я чувствовал - до этого никому нет дела.

- Что такое? - спросил я очень тихо.

- Никто не знает, что я здесь, - прошептала она.

- И никто нас не видит, - шепнул я в ответ.

До меня донесся шепот:

- Я так испугалась.

Вдруг с еще освещенной веранды, на высоте сорока футов над нашими головами, раздался звонкий повелительный голос Фрейи, заставивший нас вздрогнуть:

- Антония!

С приглушенным возгласом робеющая девушка исчезла с тропинки. В ближних кустах зашуршало, потом наступила тишина. Я ждал в недоумении. Огни на веранде погасли. Подождав еще немного, я спустился вниз, к лодке, недоумевая больше чем когда-либо.

Мне особенно запомнились все подробности этого визита - последнего моего визита в бенгало Нельсона. Прибыв в Проливы, я нашел телеграмму, которая заставила меня немедленно бросить службу и вернуться домой. Мне пришлось отчаянно повозиться, чтобы захватить почтовое судно, отправляющееся на следующий день, но я нашел время набросать две коротенькие записки: одну Фрейе, другую Джесперу. Позднее я написал длинное письмо, на этот раз одному Эллену. Ответа я не получил. Тогда я отыскал его брата, вернее - единокровного брата, лондонского адвоката, бледного спокойного маленького человечка, задумчиво поглядывавшего на меня поверх очков.

Джеспер у отца был единственным ребенком от второго брака, который не встретил одобрения со стороны первой, уже взрослой семьи.

- Вы не слыхали о нем целые века! - повторил я со скрытой досадой. Осмелюсь спросить, что вы подразумеваете в данном случае под "веками"?

- А то, что мне нет дела, услышу я о нем когда-нибудь или нет, - заявил маленький адвокат, сразу делаясь неприятным.

Я не мог бранить Джеспера за то, что он не тратил времени на переписку с таким возмутительным родственником. Но почему он не написал мне - в конце концов приличному другу, старающемуся даже

извинить его молчание забывчивостью, естественной в состоянии беспредельного блаженства? Я снисходительно ждал, но так ничего и не получил. И Восток, казалось, выпал из моей жизни без всякого отзвука, как камень, падающий в загадочную глубину бездонного колодца.

IV

Полагаю, мотивы, заслуживающие одобрения, являются достаточным оправданием почти любого поступка. Что может быть более похвальным в абстракции, чем решение девушки не тревожить "бедного папу" и ее стремление во что бы то ни стало удержать своего избранника от опрометчивого поступка, который может поставить под угрозу их счастье? Нельзя представить себе ничего более неясного и осторожного. Следует также принять во внимание самоуверенный характер девушки и нежелание, свойственное всем женщинам, - я говорю о женщинах рассудительных, поднимать шум вокруг подобных вопросов.

Как уже было сказано выше, Химскирк явился в бухту Нельсона спустя некоторое время после приезда Джеспера. При виде брига, стоящего на якоре перед самым бенгалом, он почувствовал сильное раздражение. Он не помчался на берег, едва якорь коснулся дна, как обычно делал Джеспер. Вместо этого он замешкался на шканцах, ворча себе под нос; затем сердитым голосом приказал спустить лодку. Существование Фрейи, приводившее Джеспера в состояние блаженного парения над землей, для Химскирка было поводом к тайным терзаниям и долгому мрачному раздумью.

Проплывая мимо брига, он грубо окликнул его и спросил, на борту ли капитан. Шульц, красивый и изящный в своем безукоризненно белом костюме, перегнулся через гакаборт, найдя этот вопрос забавным. Он юмористически посмотрел на лодку Химскирка и ответил с любезными интонациями своим прекрасным голосом:

- Капитан Эллен наверху в доме, сэр.

Но выражение его лица сразу изменилось, когда в ответ на это сообщение Химскирк свирепо зарычал:

- Чего вы, черт возьми, ухмыляетесь?

Шульц смотрел ему вслед: Химскирк высадился на берег и, вместо того чтобы идти к дому, пошел по другой тропинке в глубь острова.

Терзаемый страстью голландец нашел старика Нельсона (или Нильсена) у его сушилен, где тот наблюдал за сбором табака. Табак у него был великолепного качества, хотя сбор невелик. Старик наслаждался от всей души, но Химскирк скоро положил конец этому невинному развлечению. Он уселся рядом со стариком и, заведя разговор, который, как ему было известно, лучше всего достигал цели, быстро вогнал его в пот и

довел до состояния скрытого волнения. Это был ужасный разговор о "властях", а старик Нельсон старался защищаться. Если он и имел дело с английскими купцами, то только потому, что ему приходится как-нибудь распределять свою продукцию. Он говорил самым заискивающим тоном, и казалось - именно это и распалило Химскирка, который начал сопеть, и гнев его все возрастал.

- А этот Эллен хуже их всех, - рычал он. - Ваш близкий друг, а? Вы привлекли сюда целую кучу этих англичан. Не следовало разрешать вам здесь селиться! Не следовало. Что он сейчас здесь делает?

Старик Нельсон (или Нильсен), сильно волнуясь, объявил, что Джеспер не принадлежит к числу его близких друзей. Он вовсе ему не друг. Он - Нельсон - купил у него три тонны рису для своих рабочих. Разве это доказательство дружбы? Наконец Химскирк выпалил то, что его грызло:

- Да! Продает три тонны рису и флиртует три дня с вашей дочерью. Я вам говорю, как друг, Нельсон: так не годится. Вас здесь только терпят.

Старик Нельсон был застигнут врасплох, но оправился довольно быстро. Не годится! Разумеется! Конечно, так не годится! Последний человек в мире! Но его дочь равнодушна к этому парню и слишком рассудительна, чтобы в кого-нибудь влюбиться. Он очень серьезно старался внушить Химскирку свою собственную уверенность в полной безопасности. А лейтенант, бросая по сторонам недоверчивые взгляды, все же склонен был ему верить.

- Много вы знаете, - проворчал он, однако.

- Но я знаю, - настаивал старик Нельсон с тем большим упорством, что хотел заглушить сомнения, возникшие в его собственном мозгу. - Моя собственная дочь! В моем собственном доме, и чтобы я ничего не знал! Да что вы! Славная была бы штука, лейтенант.

- Кажется, они недурно развлекаются, - хмуро заметил Химскирк. Вероятно, они и сейчас вместе, - прибавил он, ощущая острую боль, изменившую его насмешливую улыбку - таковой он считал ее сам - в странную гримасу.

Измученный Нельсон замахал на него руками. В глубине души он был задет этой настойчивостью, а нелепость ее даже начала его раздражать.

- Вздор! Вздор! Вот что я вам скажу, лейтенант: ступайте вы в дом и выпейте перед обедом каплю джину. Вызовите Фрейю. Я должен последить, чтобы последний табак был убран к ночи, но я скоро подойду.

Химскирк не остался нечувствительным к этому предложению. Оно отвечало его тайному желанию, но думал он не о спиртном. Старик Нельсон заботливо крикнул вслед удаляющейся широкой спине, чтобы он

устраивался со всеми удобствами - на веранде стоит ящик с манийскими сигарами.

Старик Нельсон имел в виду западную веранду, ту, которая служила гостиной бенгало и была снабжена жалюзи из индийского тростника самого лучшего качества. Восточная веранда - его собственное убежище, где он предавался тревожным размышлениям и раздуванию щек, - была завешена плотными шторами из парусины, Северная веранда, собственно говоря, вовсе была не верандой - она больше походила на длинный балкон. Она не сообщалась с двумя другими верандами, и попасть на нее можно было только через коридор внутри дома. Такое расположение делало ее самым подходящим местом для тихих девичьих размышлений, а также для бесед, как будто и бессмысленных, но, протекая между молодым человеком и девушкой, они наполняются глубоким, невыразимым смыслом.

Эта северная веранда была обвита ползучими растениями. Комната Фрейи выходила на нее, и девушка устроила здесь свой будуар с помощью нескольких тростниковых стульев и такого же дивана. На этом диване она и Джеспер сидели рядом так близко, как только возможно в этом несовершенном мире, где одно тело не может находиться одновременно в двух местах, а два тела не могут быть в одном месте в одно и то же время. Так просидели они целый день, и я не говорю, что их беседа была лишена смысла. К ее любви примешивалось легкое, вполне понятное беспокойство, - как бы он в своем приподнятом настроении не разбился о какую-нибудь неудачу, - и Фрейя, конечно, говорила с ним очень рассудительно. Он, нервный и резкий вдали от нее, казался совершенно подчиненным ей благодаря великому чуду быть осязаемо любимым. Когда он родился, отец его был стар; рано потеряв свою мать, он совсем молодым был отправлен в море, чтобы не быть помехой, и в своей жизни мало видел нежности.

На этой уединенной, обвитой листвой веранде в этот вечерний час он наклонился и, овладев руками Фрейи, целовал их - то одну, то другую, а она улыбалась и смотрела вниз, на его опущенную голову, сочувственно и одобрительно. В этот самый момент Химскирк приблизился к дому с севера.

С этой стороны на страже стояла Антония. Но она сторожила не очень-то хорошо. Солнце садилось, - она знала, что ее молодая хозяйка и капитан "Бонито" скоро должны расстаться. С цветком в волосах она бродила взад и вперед по сумеречной роще и напевала вполголоса, как вдруг, на расстоянии фута от нее из-за дерева показался лейтенант. Как испуганная лань, она отскочила в сторону, но Химскирк, ясно поняв, что она тут делает, бросился к ней и, схватив ее за локоть, своей толстой рукой зажал ей рот.

- Если ты вздумаешь поднять крик, я тебе шею сверну!

Это образное выражение в достаточной мере устрасило девушку. Химскирк ясно видел на веранде золотистую голову Фрейи и рядом, очень близко от нее, другую голову. Он потащил за собой окольным путем девушку, не пытавшуюся сопротивляться, и злобно толкнул ее по направлению к группе бамбуковых хижин, где жили слуги.

Она очень походила на верную камеристку из итальянской комедии, но в данный момент, онемев от ужаса, стрелой понеслась от этого толстого, коротенького черноглазого человека с пальцами, сжимавшими, как тиски. Дрожа всем телом, страшно испуганная, но уже готовая смеяться, она издали видела, как он вошел в дом с заднего хода.

Внутри бенгало был разделен двумя коридорами, пересекающимися посередине. Дойдя до этого места, Химскирк слегка повернул голову налево и получил доказательство "развлечения", столь противоречащее уверениям старика Нельсона, что он пошатнулся и кровь бросилась ему в голову. Две белые фигуры, отчетливо выделяющиеся против света, стояли в позе, не вызывающей сомнения. Руки Фрейи обвились вокруг шеи Джеспера, а голова ее прижималась к его щеке. Химскирк пошел дальше, давясь проклятиями, внезапно подступившими к самому горлу. Очутившись на западной веранде, он, как слепой, наткнулся на один стул, а затем упал на другой, словно земля заколебалась у него под ногами. Он слишком долго потворствовал привычке считать мысленно Фрейю своей собственностью.

"Так вот как ты занимаешь своих гостей, - ты..." - думал он, до такой степени возмущенный, что даже не мог найти достаточно унижительного эпитета.

Фрейя пошевелинулась и откинула голову назад.

- Кто-то вошел, - шепнула она.

Джеспер, прижимавший ее к своей груди и смотревший вниз на ее лицо, спокойно ответил:

- Твой отец.

Фрейя попробовала освободиться, но у нее решительно не хватило духу оттолкнуть его.

- Мне кажется, это Химскирк, - шепнула она ему.

Он, в тихом упоении погружаясь в ее глаза, при звуке этого имени слабо улыбнулся.

- Этот осел всегда сбрасывает мои буи в устье реки, - прошептал он. Ни с какой иной стороны он Химскирком не интересовался; но Фрейя задавала себе вопрос, видел ли их лейтенант...

- Пусти меня, дитя, - потребовала она шепотом, не допускающим

возражений.

Джеспер немедленно повиновался и, отступив назад, стал созерцать ее лицо под другим углом.

- Я должна пойти посмотреть, - с беспокойством сказала она себе.

Она поспешно приказала ему подождать минутку после того, как она уйдет, а затем проскользнуть на заднюю веранду и там спокойно покурить, прежде чем снова появиться на глаза.

- Не оставайся поздно сегодня вечером, - был ее последний совет перед тем, как уйти.

Легкими быстрыми шагами Фрейя вышла на западную веранду. На ходу она ухитрилась задернуть занавески в конце коридора, чтобы скрыть отступление Джеспера из будуара. Едва она появилась в дверях, как Химскирк вскочил, словно собираясь броситься на нее. Она остановилась, а он отвесил ей преувеличенно низкий поклон.

Это рассердило Фрейю.

- Ах, это вы, мистер Химскирк. Как поживаете?

Она говорила своим обычным тоном. Он не мог ясно разглядеть ее лица в сумеречном свете глубокой веранды. Не доверяя своему голосу, он не решался заговорить: негодование, вызванное тем, что он видел, было слишком велико. А когда она спокойно прибавила: "Папа скоро должен вернуться" - он, молча, про себя, обозвал ее ужасными именами, прежде чем смог пошевелить искривленными губами.

- Я уже видел вашего отца. Мы с ним побеседовали в сушильне. Он мне рассказал кое-что очень интересное. Да, очень...

Фрейя села. Она думала: "Он нас видел, сомнения быть не может". Ей не было стыдно. Она боялась только какого-нибудь глупого или неловкого осложнения. Но она не имела понятия, до какой степени Химскирк (мысленно) считал ее особой своей собственностью. Она постаралась завязать разговор.

- Кажется, вы приехали сейчас из Палембанга?

- А? Что? Ах да! Я приехал из Палембанга. Ха-ха-ха! Вы знаете, что сказал ваш отец? Он боится, что вы здесь очень скучаете.

- И, кажется, вы собираетесь крейсировать в Молукке, - продолжала Фрейя, желавшая, по возможности, сообщить Джесперу кое-какие полезные сведения. В то же время она всегда радовалась, зная, что эти двое, уехав с островов, отделены друг от друга сотнями миль.

Глядя на смутно выделяющуюся в сумерках фигуру девушки, Химскирк сердито проворчал:

- Да. Молукка. Ваш отец думает, что здесь для вас слишком спокойно.

А я вот что скажу вам, мисс Фрейя: нет такого спокойного места на земле, где бы женщина не сумела найти случай кого-нибудь одурачить.

"Я не должна допускать, чтобы он рассердил меня", - подумала она. В эту минуту тамильский мальчик, слуга Нельсона, принес лампы. Она сейчас же обратилась к нему с многословными указаниями, куда поставить лампы, попросила принести поднос с джином и горькой настойкой и прислать в дом Антонию.

- Я вас оставлю на минуту, мистер Химскирк, - сказала она.

И она пошла в свою комнату переодеться в другое платье. Она очень торопилась, так как хотела вернуться на веранду раньше, чем встретятся ее отец и лейтенант. Она полагалась на себя, надеясь, что ей удастся в этот вечер наладить отношения между ними двумя. Но Антония, все еще испуганная и настроенная истерически, показала синяк на руке, и Фрейя пришла в негодование.

- Он прыгнул на меня из кустарника, как тигр, - сказала девушка, нервно смеясь, глаза у нее были испуганные.

"Животное, - подумала Фрейя. - Значит, он намеревался за нами шпионить". Она была взбешена, но воспоминание о толстом голландце в белых брюках, широких в бедрах и узких у лодыжек, с черной головой быка, смотрящем на нее при свете ламп, было так отталкивающе комично, что она не удержалась от насмешливой гримасы. Затем ее охватило беспокойство. Нелепости этих троих людей тревожили ее: горячность Джеспера, опасения ее отца, увлечение Химскирка. К первым двум она относилась с большой нежностью и твердо решила пустить в ход всю свою женскую дипломатичность. "Со всем этим, - сказала она себе, - будет покончено в самом непродолжительном времени".

На веранде Химскирк, развалившись на стуле, вытянув ноги и положив белую фуражку на живот, привел себя в состояние дикого исступления, совершенно непонятного такой девушке, как Фрейя. Подбородок его покоился на груди, глаза тупо уставились на ботинки. Фрейя посмотрела на него из-за занавески. Он не шевелился. Он был смешон. Но эта абсолютная неподвижность производила впечатление. Она пошла назад по коридору к восточной веранде, где Джеспер спокойно сидел в потемках, исполняя, как пай-мальчик, то, что ему было приказано.

- Пест, - тихонько свистнула она. В одну секунду он очутился подле нее.

- Да. В чем дело? - прошептал он.

- Там этот таракан, - с замешательством шепнула она. Находясь под впечатлением зловещей неподвижности Химскирка, она почти готова была

сказать Джесперу, что тот их видел. Но она отнюдь не была уверена, что Химскирк сообщит ее отцу... во всяком случае, не сегодня. Она быстро приняла решение: ради безопасности следует как можно скорее спровадить Джеспера.

- Что он делает? - спокойно вполголоса спросил Джеспер.

- Ничего! Ничего. Он сидит там ужасно сердитый. Но ты знаешь, как он всегда расстраивает папу.

- Твой отец очень неразумен, - категорически заявил Джеспер.

- Не знаю, - нерешительно сказала она. Страх старика Нельсона перед властями отразился на девушке, так как ей приходилось ежедневно с ним считаться. - Не знаю. Папа боится, как бы ему не пришлось нищенствовать, как он выражается, на старости лет. Слушай, дитя, лучше ты уезжай завтра пораньше...

Джеспер надеялся провести еще один день с Фрейей, - спокойный, счастливый день, сидеть рядом с девушкой и смотреть на свой бриг в предвкушении блаженного будущего. Его молчание красноречиво свидетельствовало о разочаровании, и Фрейя понимала его прекрасно. Она тоже была разочарована. Но ей полагалось быть рассудительной.

- У нас не будет ни одной спокойной минуты, пока этот таракан бродит вокруг дома, - торопливо доказывала она. - Какой смысл тебе оставаться? А он не уедет, пока бриг здесь. Ты же знаешь, что он не уедет.

- На него следовало бы донести за бродяжничество, - прошептал Джеспер с досадливым смешком.

- Ты должен сняться с якоря на рассвете, - чуть слышно приказала Фрейя.

Он удержал ее по методу возлюбленных. Она укоряла его, но не сопротивлялась: ей тяжело было его отталкивать. Обнимая ее, он шептал ей на ухо:

- В следующий раз, когда мы встретимся, я буду держать тебя вот так там, на борту. Ты и я, на бриге... весь мир, вся жизнь... - А потом он вспыхнул: - Удивляюсь, как я могу ждать! Я чувствую, что должен увезти тебя сейчас, сию минуту. Я мог бы убежать, неся тебя на руках, вниз по тропинке... не оступаясь... не касаясь земли...

Она не шевелилась. Она прислушивалась к страсти, дрожавшей в его голосе. Она говорила себе, что если она чуть слышно скажет "да", шепотом даст согласие, он это сделает. Он способен был это сделать - не касаясь земли. Она закрыла глаза и улыбнулась в темноте, с приятным головокружением отдаваясь на миг обнимавшим ее рукам. Но раньше чем он успел поддаться искушению и крепче сжать ее в объятии, она

выскользнула из его рук и отступила на шаг назад, вполне владея собой.

Такой была стойкая Фрейя. Она была растрогана глубоким вздохом, вырвавшимся у Джеспера, который не пошевелился.

- Ты безумный ребенок, - с дрожью в голосе сказала она. Потом сразу переменила тон: - Никто не может меня унести. Даже ты. Я не из тех девушек, которых уносят. - Его белая фигура как будто съежилась перед силой этого утверждения, и она смягчилась: - Разве не довольно с тебя сознания, что ты... что ты меня увлек? - прибавила она ласково.

Он прошептал нежные слова, а она продолжала:

- Я тебе обещала... я сказала, что приду... и я приду по своей собственной свободной воле. Ты будешь ждать меня на борту. Я поднимусь на борт одна, подойду к тебе и скажу: "Я здесь, дитя!" А потом... а потом пусть меня унесут. Но не человек унесет меня, а бриг, твой бриг... наш бриг. Я люблю его!

Она услышала нечленораздельный звук, похожий на стон, исторгнутый восторгом или болью, и ускользнула с веранды. Там, на другой веранде, сидел другой человек, - этот мрачный, зловещий голландец, который мог натравить ее отца на Джеспера, довести их до ссоры, оскорблений, а быть может, и драки. Какое ужасное положение! Но даже оставляя в стороне эту страшную возможность, она содрогалась при мысли, что ей придется прожить еще три месяца с расстроенным, измученным, сердитым, нелепым человеком. А когда настанет день, тот день и час, - что сделает она, если отец попытается силой ее задержать? В конце концов ведь это было возможно. В состоянии ли она будет бороться с ним? Но чего она боялась вполне реально - это сетований и жалоб. Сможет ли она им противостоять? Какое это будет уродливое, возмутительное, нелепое положение!

"Но это не случится. Он ничего не скажет", - думала она, поспешно выходя на западную веранду. Видя, что Химскирк не пошевелился, она села на стул у двери и стала смотреть на него. Оскорбленный лейтенант не изменил своей позы, только фуражка упала с его живота и лежала на полу. Его густые черные брови были сдвинуты, он искоса поглядывал на нее уголком глаза. И эти косые взгляды, крючковатый нос и вся его громоздкая, неуклюжая фигура, развалившаяся на стуле, показались Фрейе до того комическими, что, несмотря на все свое беспокойство, она невольно улыбнулась. Она сделала все возможное, чтобы придать этой улыбке оттенок примирительной. Ей не хотелось зря раздражать Химскирка.

А лейтенант, заметив эту улыбку, смягчился. Ему никогда не приходило в голову, что его внешность флотского офицера в мундире могла

показаться смешной девушке без всякого положения - дочери старика Нельсона. Воспоминание о ее руках, обвившихся вокруг шеи Джеспера, все еще раздражало и возбуждало его. "Плутовка! - думал он. - Улыбаешься, а? Так вот как ты развлекаешься! Ловко одурачила своего отца, а? Ну, хорошо, посмотрим..." - Он не изменил своей позы, но на его сжатых губах появилась улыбка, мрачная, не предвещающая добра, а глаза снова обратились к созерцанию ботинок.

Фрейю бросило в жар от негодования. Она сидела ослепительно красивая при свете ламп, положив на колени свои сильные изящные руки...

"Отвратительное существо", - думала она. Внезапно ее лицо вспыхнуло от гнева.

- Вы до смерти напугали мою горничную, - громко сказала она. - Что это на вас нашло?

Он так погрузился в мысли о ней, что звук ее голоса, произнесшего эти неожиданные слова, заставил его вздрогнуть. Он поднял голову с таким недоумевающим видом, что Фрейя нетерпеливо продолжала:

- Я говорю об Антонии. Вы ушибли ей руку. Для чего вы это сделали?

- Вы хотите со мной ссориться? - хрипло спросил он с удивлением. Он моргал, как сова. Он был смешон. Фрейя, как все женщины, остро улавливала в наружности все смешное.

- Пожалуй, нет, - не думаю, чтобы я хотела ссориться.

Она не могла удержаться. Она рассмеялась звонким нервным смехом, ж которому неожиданно присоединился грубый смех Химскирка:

- Ха-ха-ха!

В коридоре слышались голоса и шаги, и на веранду вышел Джеспер со стариком Нельсоном. Старик одобрительно посмотрел на свою дочь; он любил, чтобы у лейтенанта поддерживали хорошее настроение. И он тоже стал хохотать за компанию.

- Теперь, лейтенант, пообедаем, - сказал он, весело потирая руки.

Джеспер подошел к перилам. Небо было усыпано звездами, и в синей бархатной ночи бухта - там, внизу, - затянулась густой чернотой, в которой красноватым светом мерцали, словно подвешенные искры, огни брига и канонерки.

"В следующий раз, когда там, внизу, замерцают эти огни, я буду ждать ее на шканцах. Она придет и скажет: "Я здесь", - думал Джеспер, и сердце его расширилось в груди от наплыва счастья, и крик едва не сорвался с уст.

Ветра не было. Внизу ни один лист не шелестел, и даже море казалось тихой молчаливой тенью. Далеко в безоблачном небе бледная молния, зарница тропиков, трепетно загорелась среди низких звезд короткими,

слабыми, загадочно последовательными вспышками, похожими на непонятные сигналы с какой-то далекой планеты.

Обед прошел мирно. Фрейя сидела против своего отца, спокойная, но бледная. Химскирк умышленно разговаривал только со стариком Нельсоном. Джеспер вел себя примерно. Он не давал воли глазам, греясь в ощущении близости Фрейи, как люди греются под лучами солнца, не глядя на небо. Вскоре после обеда, помня полученные им инструкции, он объявил, что ему пора возвращаться на борт своего корабля.

Химскирк не поднял головы. Удобно расположившись в качалке и попыхивая манильской сигарой, он имел такой вид, словно мрачно готовился к какому-то отвратительному взрыву. Так по крайней мере казалось Фрейе. Старик Нельсон сейчас же сказал:

- Я пройду с вами к морю.

Он завел профессиональный разговор об опасностях новогвинейского берега и хотел поделиться с Джеспером воспоминаниями о своем пребывании "в тех краях". Джеспер был таким хорошим слушателем! Фрейя собралась было идти с ними, но ее отец нахмурился, покачал головой и многозначительно кивнул в сторону неподвижного Химскирка. Тот сидел с полужакрытыми глазами и, выпятив губы, выпускал кольца дыма. Нельзя оставлять лейтенанта одного. Пожалуй, еще обидится.

Фрейя повиновалась этим знакам.

"Быть может, будет лучше, если я останусь", - подумала она. Женщины обычно не склонны критиковать свое поведение, а еще того менее склонны его осуждать. Мужчины, с их нелепыми чисто мужскими странностями, большей частью бывают ответственны за женское поведение. Но, глядя на Химскирка, Фрейя чувствовала сожаление и даже раскаяние. Его толстое туловище, развалившееся на стуле, казалось, было переполнено пищей, хотя в действительности он ел мало. Зато он очень много выпил. Мясистые мочки его больших ушей с глубоко загнутыми краями были малинового цвета. Они ярко пламенели по соседству с плоскими желтыми щеками. Долгое время он не поднимал своих тяжелых коричневых век. Унизительно было находиться во власти такого существа, и Фрейя, - а в конце концов она всегда была честна с собой - с сожалением подумала: "Ах, если б я была откровенна с папой с самого начала! Но тогда какую невозможную жизнь он мне устроил бы". Да. Мужчины были нелепы во многих отношениях: любящие, как Джеспер, непрактичные, как ее отец, отвратительные, как это уродливое существо, отдыхающее на стуле. Можно ли с ним договориться? Быть может, нет необходимости? "Ох, не могу я с ним говорить", - подумала она.

А когда Химскирк, все еще не глядя на нее, начал решительно раздавливать свою недокурную манильскую сигару на кофейном подносе, она встревожилась, скользнула к роялю, поспешно его открыла и ударила по клавишам, прежде чем уселась.

В одну секунду веранда и весь деревянный бенгало, возведенный на сваях, наполнились оглушительным шумом. Но сквозь шум она слышала, чувствовала на полу тяжелые, нетвердые шаги лейтенанта, ходившего за ее спиной. Он не был по-настоящему пьян, но опьянение было все же достаточно для того, чтобы мысли, мелькавшие в его возбужденном мозгу, показались ему вполне резонными и даже остроумными, - очаровательно, безоговорочно остроумными. Фрейя, чувствуя, что он остановился за ее спиной, продолжала играть, не поворачивая головы. Она с воодушевлением, с блеском играла какую-то бурную музыкальную пьесу, но когда раздался его голос, похолодела с ног до головы. На нее подействовал голос - не слова. Наглая фамильярность тона испугала ее до такой степени, что сначала она не могла разобрать ни слова. И говорил он хрипло.

- Я подозревал... Конечно, кое-что я подозревал о ваших делишках. Я не ребенок. Но подозревать или видеть своими глазами... понимаете, видеть... это огромная разница. Такие вещи... Поймите! Ведь человек не из камня сделан. А если мужчина томится по девушке так, как я по вас томился, мисс Фрейя... и во сне и наяву, тогда конечно... Но я - светский человек. Здесь вам должно быть скучно... послушайте, не прекратите ли вы эту проклятую игру?..

Она расслышала только эту последнюю фразу. Она отрицательно покачала головой и в отчаянии нажала педаль, но ей не удавалось звуками рояля заглушить его громкий голос.

- Я удивлен только, что вы выбрали... Английский торговый шкипер, простой парень. Жалкая чернь, наводнившая эти острова. У меня была бы короткая расправа с такой дрянью! А ведь у вас здесь есть добрый друг, джентльмен, готовый молиться на вас у ваших ног... ваших красивых ног... офицер, человек из хорошей семьи... Странно, не так ли? Но что тут такого! Ведь вы достаточно хороши и для принца.

Фрейя не поворачивала головы. Ее лицо окаменело от ужаса и негодования. Эта сцена выходила за пределы того, что она считала возможным. Вскочить и убежать... но это было не в ее характере. Вдобавок ей казалось, что случится что-то ужасное, если она пошевелится. Скоро вернется ее отец, и тогда тот должен будет уйти. Лучше всего не обращать внимания... не обращать внимания. Она продолжала играть громко и

отчетливо, словно была одна, словно Химскирка не существует. Это рассердило его.

- Послушайте! Вы можете обманывать своего отца, - гневно крикнул он, но меня вам не одурачить! Прекратите этот адский шум... Фрейя... Эй, вы! Скандинавская богиня любви! Остановитесь! Вы слышите? Да, вы - богиня любви. Но языческие боги - это только замаскированные черти, и вы - такая же... скрытый чертенок. Перестаньте играть, говорю вам, или я подниму вас с этого табурета!

Стоя за ее спиной, он пожирал ее глазами, - с золотой короны ее неподвижно застывшей головы до каблучков ее ботинок, - охватывал взглядом ее красивые плечи, линии стройной фигуры, слегка раскачивающейся перед клавиатурой. На ней было светлое платье с короткими рукавами, обшитыми кружевом у локтей. Атласная лента стягивала ее талию. Охваченный неудержимой, безрассудной надеждой, он стиснул обеими руками эту талию... и тогда раздражающая музыка наконец оборвалась. Но как ни быстро отскочила она, чтобы избавиться от этого прикосновения (круглый табурет с грохотом полетел), губы Химскирка, нацелившиеся на ее шею, вцепились в жадный громкий поцелуй чуть пониже ее уха. Некоторое время царило глубокое молчание. Затем он неловко засмеялся.

Он был отчасти сбит с толку ее бледным неподвижным лицом, ее большими светлыми фиолетовыми глазами, остановившимися на нем. Она не произнесла ни слова. Она стояла против него, опираясь вытянутой рукой об угол рояля. Другая рука с машинальной настойчивостью терла то место, которого коснулись его губы.

- В чем дело? - обиженно сказал он. - Испугал вас? Послушайте: нам с вами не нужно этой ерунды. Ведь вы же не хотите сказать, что вас так испугал один поцелуй... Мне лучше знать... Я не намерен остаться ни с чем.

Он с таким напряжением смотрел в ее лицо, что уже не мог видеть его ясно. Все вокруг него затянулось, дымкой. Он забыл о перевернутом табурете, ударился о него ногой, и, слегка наклонившись, начал вкрадчивым голосом:

- Право же, со мной можно недурно позабавиться. Попробуйте для начала несколько поцелуев...

Больше он не сказал ни слова, потому что голова его испытала ужасное сотрясение, сопровождаемое оглушительным звуком. Фрейя с такой силой размахнулась своей круглой крепкой рукой, что от прикосновения ее открытой ладони к его плоской щеке он повернулся полукругом. Испустив слабый хриплый крик, лейтенант схватился обеими

руками за левую щеку, внезапно принявшую темный, кирпично-красный оттенок. Фрейя выпрямилась, ее фиолетовые глаза потемнели, ладонь еще зудела от удара, сдержанная решительная улыбка открыла блестящие белые зубы. Внизу, на тропинке, раздались тяжелые быстрые шаги ее отца. Воинственное выражение исчезло с лица Фрейи, уступив место искреннему огорчению. Ей было жаль отца. Она быстро наклонилась и подняла табурет, словно хотела замести следы... Но что толку? Она заняла прежнее место, легко опустив руку на рояль, прежде чем старик Нельсон поднялся по лестнице.

Бедный отец! Как он будет потрясен! Как рассержен! А потом сколько будет страхов, какое горе! Почему она не была откровенной с ним с самого начала? Его круглые, наивные, изумленные глаза заставили ее сжаться. Но он не смотрел на нее. Его взгляд был устремлен на Химскирка, который, стоя к нему спиной и все еще держась руками за щеку, сквозь зубы шипел проклятия, мрачно глядя на нее (она видела его в профиль) уголком черного злого глаза.

- Что случилось? - спросил старик Нельсон в полном недоумении.

Она не ответила ему. Она думала о Джеспере, стоявшем на палубе брига и глядевшем на освещенный бенгало, - и ей было страшно. Счастье, что хоть один из них был на борту. Она желала только одного - чтобы он был за сотни миль. И все же она не была уверена, что действительно этого хочет.

Если бы таинственная сила побудила Джеспера появиться в этот момент на веранде, она развеяла бы по ветру свое упорство, свою решимость, свое самообладание и бросилась бы в его объятия.

- Что такое? Что такое? - настаивал ничего не подозревающий Нельсон, начиная волноваться. - Только сию минуту ты играла какую-то пьесу, и...

Фрейя была не в силах говорить, предчувствуя то, что должно произойти, - черный, злой сверкающий глаз ее загипнотизировал. Она только слегка кивнула головой в сторону лейтенанта, словно хотела сказать: "Вот, посмотри на него!"

- Ну да! - воскликнул старик Нельсон. - Вижу. Что такое...

Между тем он осторожно приблизился к Химскирку.

Тот, стоя на одном месте, топал ногами и выпускал бессвязные проклятия. Позорный удар, разрушенные планы, комизм неизбежного скандала и невозможность отомстить - бесили его до такой степени, что он готов был буквально взвыть от ярости.

- О-о-о! - вопил он, тяжело шагая по веранде, словно хотел продавить

ногой пол.

- А что с его лицом? - спросил ошеломленный старик Нельсон. Внезапно истина открылась - осенила его наивную голову. - Боже мой! - воскликнул он, поняв, в чем дело. - Живей неси бренди, Фрейя... Так вы этим страдаете, лейтенант? Ужасно, а? Знаю, знаю! Сам, бывало, на стенку лез... И маленькую бутылочку с опиумом из ящика с лекарствами, Фрейя. Хорошенько поищи... Разве ты не видишь, что у него болит зуб?

И действительно, какое иное объяснение могло прийти на ум простодушному старику Нельсону, видевшему, как лейтенант держится обеими руками за щеку, бросает дикие взгляды, топает ногами и мрачно раскачивается всем телом? Фрейя не шелохнулась. Она наблюдала за Химскирком, украдкой поглядывавшим на нее злобно и вопросительно. "Ага, ты хотел бы выпутаться!" - сказала она себе. Она смело смотрела на него, обдумывая, как поступить. Но соблазн покончить с этим без дальнейших треволнений одержал над ней верх. Она едва заметно кивнула в знак согласия и выскользнула с веранды.

- Живей бренди! - крикнул старик Нельсон, когда она скрылась в коридоре.

Химскирк облегчил свои чувства внезапным взрывом проклятий вслед девушке на голландском и английском языках. Он бесновался в полное свое удовольствие, бегая по веранде и отбрасывая стулья со своего пути; а Нельсон (или Нильсен), искренно сочувствуя ему при виде этих мучительных страданий, суетился, как старая курица, вокруг своего дорогого (и грозного) лейтенанта.

- Боже мой! Боже мой! Так плохо? Мне-то это хорошо известно. Я, бывало, пугал свою бедную жену. И часто это с вами случается, лейтенант?

Наткнувшийся на него Химскирк с коротким полубезумным смехом отпихнул его плечом. Хозяин пошатнулся, но принял это добродушно: человек вне себя от мучительной зубной боли, конечно, он не вполне вменяем.

- Пойдемте в мою комнату, лейтенант, - настойчиво просил он. - Прилягте на мою кровать. Мы в одну минуту найдем для вас какое-нибудь успокоительное лекарство.

Он схватил под руку бедного страдальца и нежно подтащил его к самой кровати, на которую Химскирк в приступе ярости бросился с такой силой, что отскочил от матраса на целый фут.

- Бог ты мой! - воскликнул перепуганный Нельсон и тотчас побежал поторопить с бренди и опиумом, очень рассерженный тем, что для облегчения страданий драгоценного гостя было проявлено так мало рвения. В конце

концов он сам достал эти снадобья.

Полчаса спустя, проходя по коридору, он с удивлением услышал слабые прерывающиеся звуки загадочного происхождения, - нечто среднее между смехом и рыданиями. Он нахмурился; затем направился к комнате своей дочери и постучал в дверь.

Фрейя приоткрыла дверь. Ее чудные белокурые волосы обрамляли бледное лицо и волнами спускались вниз по темно-синему халату.

В комнате был полумрак. Антония, съезжившись в углу, раскачивалась взад и вперед, испуская слабые стоны. Старик Нельсон плохо разбирался в различных видах женского смеха, но все же он был уверен, что тут смеялись.

- Какая бесчувственность, какая бесчувственность! - сказал он с большим неудовольствием. - Ну что смешного в человеке, который мучится от боли? Я думал, что женщина... молодая девушка...

- Он был такой смешной, - прошептала Фрейя. Глаза у нее странно блестели в полумраке коридора. - А потом, ты знаешь, он мне не нравится, нерешительно прибавила она.

- Смешной? - повторил старик Нельсон, изумленный этим проявлением бесчувственности у столь молодой особы. - Он тебе не нравится? И ты хочешь сказать - потому только, что он тебе не нравится... Да ведь это попросту жестоко! Разве ты не знаешь, что это - самая ужасная боль, какая только есть на свете? Например, известно, что собаки от нее бесились...

- Уж он-то действительно совсем взбесился, - с трудом выговорила Фрейя, как будто боролась с каким-то скрытым чувством.

Но отец ее уже оседлал своего конька.

- И ты знаешь, каков он. Он все подмечает. Он такой парень, что может обидеться из-за любого пустяка... настоящий голландец... а я хочу поддерживать с ним дружеские отношения. Дело обстоит так, моя девочка: если этот наш раджа выкинет какую-нибудь нелепую штуку, - а ты знаешь, какой он упрямый, беспокойный парень, - и властям придет в голову, что я на него плохо влияю, у тебя не будет крыши над головой...

Она не очень уверенным тоном воскликнула:

- Какой вздор, отец! - и обнаружила, что он рассержен - рассержен до такой степени, что... прибег к иронии; да, старик Нельсон (или Нильсен) и ирония! Правда, только намек на нее...

- О, конечно, если у тебя имеются собственные средства... дом, плантация, о которой я ничего не знаю... - но он не мог выдержать в этом тоне. - Говорю тебе, они меня выпроводят отсюда, - внушительно

прошептал он, - и, конечно, без всякой компенсации. Я знаю этих голландцев. А лейтенант как раз такой парень, чтобы поднять бучу. У него есть доступ к влиятельным лицам. И я не хочу его оскорблять... никоим образом... ни под каким видом... Что ты сказала?

Это было только нечленораздельное восклицание. Если когда-нибудь она и склонялась к тому, чтобы рассказать ему обо всем, то сейчас совершенно отказалась от этого намерения. Это было невозможно - из уважения к его достоинству и ради спокойствия его слабого духа.

- Он и мне не очень нравится, - со вздохом признался вполголоса старик Нельсон. - Сейчас ему легче, - продолжал он, помолчав. - Я ему уступил на ночь свою кровать. Я буду спать на моей веранде, в гамаке. Да, не могу сказать, чтобы он мне нравился, но смеяться над человеком, потому что он с ума сходит от боли, - это уже слишком. Ты меня удивила, Фрейя. У него щека покраснела.

Ее плечи конвульсивно тряслись под его руками. Он поцеловал ее на ночь, коснувшись ее лба своими растрепанными жесткими усами. Она закрыла дверь и, только отойдя на середину комнаты, дала волю усталому смеху. Но это был невеселый смех.

- Покраснела! Немножко покраснела! - повторяла она про себя. - Надеюсь, что так. Немножко.

Ее ресницы были мокры. Антония, в своем углу, стонала и хихикала, и невозможно было сказать, когда она стонет и когда смеется.

Госпожа и служанка - обе были настроены несколько истерично: Фрейя, влетев в свою комнату, застала там Антонию и рассказала ей все.

- Я отомстила за тебя, моя девочка! - воскликнула она.

А потом они, смеясь, поплакали и, плача, посмеялись, прерывая себя увещаниями: "Шш... не так громко! Тише!" - с одной стороны, и восклицаниями: "Я так боюсь... Он злой человек" - с другой.

Антония очень боялась Химскирка, боялась из-за его вида: его глаз и бровей, его рта, носа, всей фигуры. Более разумного объяснения быть не могло. И она считала его злым человеком, ибо, на ее взгляд, он выглядел злым. Такое основание - очень здраво. В полумраке комнаты, освещенной одним ночником у изголовья кровати Фрейи, камеристка выползла из своего угла и съежилась у ног госпожи, умоляя шепотом:

- Здесь бриг. Капитан Эллен. Давайте убежим сейчас же... о, давайте убежим! Я так боюсь! Бежим! Бежим!

"Я? Бежать! - подумала Фрейя, не глядя на перепуганную девушку. Никогда".

Обе они - и решительная господа под сеткой от москитов и испуганная

служанка, свернувшаяся клубочком на циновке около кровати, - плохо спали в ту ночь.

А лейтенант Химскирк совсем не сомкнул глаз. Он лежал на спине, мстительно впиваясь в темноту. Дразнящие образы и унижительные воспоминания возникали в его мозгу, не давая заснуть, распаляя его гнев. Недурная история, если она станет известной. Но нельзя допустить, чтобы ее предали огласке. Придется молча проглотить оскорбление. Недурное положение. Девчонка одурачила его, завлекла, ударила по физиономии... быть может, и отец одурачил его. Нет, Нильсен - еще одна жертва этой бесстыдной девки, наглой кокетки, этой хитрой, смеющейся, целующей, лгущей...

"Нет, он обманул меня не намеренно, - думал измученный лейтенант. - Но все же мне бы хотелось ему отплатить, хотя бы за то, что он такой идиот... Ну что же... быть может, когда-нибудь..."

Пока что он принял твердое решение: он пораньше улизнет из дому. Он думал, что не сможет встретиться лицом к лицу с девушкой и не сойти с ума от бешенства.

- Проклятье! Десять тысяч чертей! Я задохнусь здесь до утра! - бормотал он про себя, лежа, вытянувшись на спине, в постели старика Нельсона и лоя ртом воздух.

Он поднялся на рассвете и осторожно приоткрыл дверь. Слабые звуки в коридоре встревожили его; спрятавшись за дверью, он увидел Фрейю, выходящую из своей комнаты. Это неожиданное зрелище совершенно лишило его сил; он не мог отойти от щели двери. Щель была совсем узкая, но отсюда виден был конец веранды. Фрейя поспешно направилась туда, чтобы увидеть бриг, огибающий мыс. На ней был темный халат; ноги были босы - она заснула только под утро и, проснувшись, стрелой бросилась на веранду, боясь опоздать. Химскирк никогда ее не видел вот такой, как сейчас - с гладко зачесанными назад волосами и тяжелой белокурой косой, спускающейся по спине, и вся она дышала юностью, стремительностью и силой. Сначала он был изумлен, а потом заскрежетал зубами. Он решительно не мог встретиться с ней. Он пробормотал проклятье и притаился за дверью.

Увидев бриг, уже снявшийся с якоря, она с тихим глубоким "а!" потянулась за длинной подзорной трубой Нельсона, лежавшей на полке высоко у стены. Широкий рукав халата откинулся назад, открывая ее белую руку до самого плеча. Химскирк схватился за ручку двери, словно хотел ее раздавить, чувствуя себя как человек, только что поднявшийся на ноги после попойки.

А Фрейя знала, что он следит за ней. Она знала. Она видела, как приоткрылась дверь, когда она вышла в коридор. С презрительной торжествующей злобой она чувствовала на себе его взгляд.

"Ты здесь, - думала она, поднимая подзорную трубу. - Хорошо, так смотри же!"

Зеленые островки казались черными тенями, пепельное море было гладко, как стекло, светлая мантия бледной зари, в которой даже бриг казался потускневшим, была окаймлена на востоке полоской света. Фрейя, разглядев на палубе Джеспера, тоже с подзорной трубой, направленной на бенгало, сейчас же положила свою трубу и подняла над головой свои красивые белые руки. Она застыла в этой позе немного восклицания, пламенно ощущая, как обожание Джеспера окутывает ее фигуру, находящуюся в фокусе подзорной трубы, и распаляемая ощущением злобной страсти - того, другого, и горячих жадных глаз, впивающихся в ее спину.

В пламенном порыве любви она поддалась капризной фантазии и подумала, с тем таинственным знанием мужской природы, какое, видимо, врожденно женщине: "Ты смотришь... ты будешь смотреть... ты должен! Ну, так ты увидишь".

Она поднесла к губам обе руки, потом простерла их вперед, посылая поцелуй через море, словно она хотела бросить с ним и свое сердце на палубу брига. Ее лицо порозовело, глаза сияли. Она страстно повторила свой жест, казалось, сотнями посылая поцелуи снова, снова и снова, а солнце, медленно поднимаясь над горизонтом, возвращало миру сияние красок: острова зазеленели, море посинело, и бриг внизу стал белым - ослепительно белым с его распростертыми крыльями, с красным флагом, трепещущим на вершине мачты, как крохотный язычок пламени. И с каждым поцелуем она шептала, все повышая голос: "Возьми еще... и еще... и еще..." - пока руки ее внезапно не опустились. Она видела, как флаг опустился в ответ, а через секунду мыс внизу скрыл от нее корпус брига. Тогда она отвернулась от перил и, медленно пройдя мимо двери в комнату отца, с опущенными ресницами, скрылась за занавеской.

Но вместо того чтобы пройти по коридору, она осталась, невидимая и неподвижная, по другую сторону занавески. Она хотела знать, что произойдет дальше. Сначала широкая веранда оставалась пустой. Потом дверь комнаты старика Нельсона внезапно распахнулась и на веранду, шатаясь, вышел Химскирк. Волосы его были взъерошены, глаза налиты кровью, небритое лицо казалось очень темным. Он дико огляделся по сторонам, увидел на столе свою фуражку, схватил ее и двинулся к лестнице,

спокойно, но странной, нетвердой поступью, словно напрягая последние силы.

Вскоре после того как его голова оказалась ниже уровня пола, из-за занавески появилась Фрейя; губы ее были сжаты, в блестящих глазах не видно было мягкости. Нельзя допустить, чтобы он улизнул как ни в чем не бывало. Нет... Нет... Она была возбуждена, охвачена дрожью, она отведала крови! Пусть он поймет, что ей известно, как он следил за ней; он должен знать, что его видели, когда он позорно улизнул. Но бежать к перилам и кричать ему вслед было бы ребячливо, грубо... недостойно. И что крикнуть? Какое слово? Какую фразу? Нет, это невозможно! Тогда что же? Она нахмурилась, придумала выход, бросилась к роялю, который всю ночь стоял открытым, и заставила чудовище из розового дерева свирепо зареветь басом. Она ударяла по клавишам, словно посылая выстрелы вслед этой раскоряченной широкой фигуре в просторных белых брюках и темной форменной куртке с золотыми погонами, а затем она пустила ему вдогонку ту же вещь, какую играла накануне вечером, - модную, страстную, насквозь пропитанную любовью пьесу, не раз игранную в грозу на Островах. С торжествующим злорадством она подчеркивала ее ритм и так была поглощена своим занятием, что даже не заметила появления отца, который, набросив поверх пижамы старое, поношенное пальто из клетчатой материи, прибежал с задней веранды осведомиться о причинах столь несвоевременной игры. Он уставился на нее.

- Что за история?... Фрейя!.. - Голос его почти потонул в звуках рояля. - Что случилось с лейтенантом? - крикнул он.

Она взглянула на него невидящими глазами, словно была поглощена музыкой.

- Ушел.

- Что-о?.. Куда?

Она слегка покачала головой и продолжала играть еще громче, чем раньше.

Наивные беспокойные глаза старика Нельсона, оторвавшись от раскрытой двери его комнаты, стали обозревать сверху донизу всю веранду, словно лейтенант был таким маленьким, что мог съежиться на полу или прилипнуть к стене. Но тут пронзительный свист, донесшийся откуда-то снизу, прорезал массу звуков, широкими вибрирующими волнами вырывающихся из рояля. Лейтенант был на берегу и свистом вызывал лодку, чтобы плыть на борт своего судна. И к тому же он, казалось, страшно спешил, так как сейчас же свистнул вторично, подождав секунду, а потом закричал протяжно и резко; жутко было слушать этот крик, как будто

он кричал, не переводя дыхания. Фрейя внезапно перестала играть.

- Возвращается на борт, - сказал старик Нельсон, встревоженный этим событием. - Что заставило его убраться так рано? Станный парень. И к тому же чертовски обидчивый. Я нисколько не буду удивлен, если это твое поведение вчера вечером так задело его самолюбие. Я обратил на тебя внимание, Фрейя. Ты чуть ли не в лицо ему смеялась, когда он так страдал от невралгии. Это не может понравиться. Он на тебя обиделся.

Руки Фрейи бессильно лежали на клавишах; она опустила свою белокурую голову, почувствовав внезапную досаду, нервную усталость, словно после тяжелого кризиса.

Старик Нельсон (или Нильсен), имевший вид очень расстроенный, обдумывал своей лысой головой хитроумные комбинации.

- Пожалуй, мне следует отправиться сегодня на борт навести справки, объявил он и засуетился. - Почему мне не дают чаю? Ты слышишь, Фрейя? Должен сказать, что ты меня удивила. Я не думал, чтобы молодая девушка могла быть такой бесчувственной. А лейтенант считает себя нашим другом! Что? Нет? Ну, так он себя называет другом, а это кое-что значит для человека в моем положении. Конечно! Да, я должен побывать у него на борту.

- Должен? - рассеянно прошептала Фрейя и мысленно прибавила: "Бедняга!"

Переходя к описанию событий, разыгравшихся в последующие семь недель, необходимо прежде всего отметить, что старику Нельсону (или Нильсену) не удалось нанести дипломатический визит. Канонерка "Нептун" его величества короля Нидерландов, под командой оскорбленного и взбешенного лейтенанта, покинула бухту в необычно ранний час. Когда отец Фрейи спустился на берег, после того как его драгоценный табак был надлежащим образом разложен на солнце для просушки, - она уже огибала мыс. Старик Нельсон много дней скорбел об этом обстоятельстве.

- Теперь я не знаю, в каком настроении он уехал, - жаловался он своей жестокосердой дочери. Он был удивлен ее жестокостью. Его почти пугало ее равнодушие.

Далее следует отметить, что канонерка "Нептун", держа курс на восток, в тот же день обогнала бриг "Бонито", захваченный штилем неподалеку от Кариматы. Нос брига был также обращен к востоку. Его капитан, Джеспер Эллен, сознательно отдаваясь нежным мечтам о своей Фрейе, даже не встал на корме, чтобы взглянуть на "Нептуна", который прошел так близко, что дым, вырвавшийся из его короткой черной трубы, закружился среди мачт "Бонито", затемнив на секунду залитую солнцем белизну его парусов, посвященных служению любви. Джеспер даже не повернул головы. Но Химскирк, стоя на мостике, долго и серьезно смотрел издали на бриг, крепко сжимая медные поручни, а когда оба судна поравнялись, он потерял всякую уверенность в себе и, удалившись в каюту, с треском задвинул дверь. Там, нахмурившись, скривив рот, он погрузился в злобные размышления и неподвижно просидел несколько часов - своеобразный Прометей, скованный одним упорным, страстным желанием, а внутренности его раздирались когтями и клювом унижительной страсти.

Эту породу птиц отогнать не так легко, как цыпленка. Одурачен, обманут, завлечен, оскорблен, осмеян... клюв и когти! Зловещая птица! Лейтенант не намерен был стать мишенью насмешек всего Архипелага: он - флотский офицер - получил пощечину от девушки! Могло ли быть, чтобы она действительно любила этого мерзкого торговца? Он старался не думать, но в своем уединении не мог отделаться от впечатлений более нестерпимых, чем мысли. Он видел ее - яркое видение, четкое во всех деталях, пластическое, окрашенное, освещенное, - он видел, как она повисла на шее этого парня. И он закрыл глаза, но сейчас же убедился, что

это его не спасет. Потом рядом раздались громкие звуки рояля; он зажал уши пальцами, но без всякого результата. Этого нельзя было вынести... во всяком случае, в одиночестве. Он выскочил из каюты и стал довольно несвязно говорить с вахтенным офицером на мостике, под насмешливый аккомпанемент призрачного рояля.

Наконец остается упомянуть о том, что лейтенант Химскирк, вместо того чтобы продолжать свой путь к Тернату, где его ждали, свернул в сторону и заехал в Макассар, где его прибытия не ждал никто. Очутившись там, он дал какие-то объяснения и сделал какое-то предложение губернатору - или другому должностному лицу - и получил разрешение поступить так, как он считал в данном случае нужным. В результате "Нептун", "окончательно отказавшись от Терната, поплыл на север, придерживаясь гористого берега Целебеса, затем пересек широкие проливы и бросил якорь у низменного берега, неисследованного и немного, поросшего девственными лесами, в водах, фосфоресцирующих ночью, темно-синих днем, с мерцающими зелеными пятнами над подводными рифами. В течение многих дней можно было видеть, как "Нептун" плавно движется взад и вперед вдоль сумрачного берега или стоит на страже близ серебристых устьев широких рукавов, а огромное светлое небо над ним ни разу не потускнело, не затянулось дымкой. Оно потоками заливало землю вечным солнечным сиянием тропиков - тем солнечным сиянием, какое в своем ненарушимом великолепии подавляет душу невыразимой меланхолией, более неотвязной, более тягостной, более глубокой; чем серая тоска северных туманов.

Торговый бриг "Бонито" появился, скользя вдоль темного, одетого лесом мыса, в серебристом устье большой реки. Дыхание воздуха, даровавшего ему способность двигаться, не могло бы поколебать пламя факела. Он выплыл на открытое место из-за покрывала замершей листвы, загадочно молчаливый, призрачно-белый и торжественно скрытый в своем незаметном продвижении; а Джеспер, опершись локтем на снасти и опустив голову на руку, думал о Фрейе. Все в мире напоминало ему о ней. Красота любимой женщины живет в красотах природы. Волнистые очертания холмов, изгибы берега, свободный извив реки - менее гармоничны, чем мягкие линии ее тела, а когда она двигается, легко скользя, грация ее движения вызывает мысль о власти тайных сил, какие управляют чарующими обликами видимого мира.

Мужчины - во власти вещей, и Джеспер был в их власти: он любил свое судно - дом его грез. Он наделил его частицей души Фрейи. Палуба была подножием их любви. Обладание бригом смирало его страсть

ласкающей уверенностью в счастье, уже завоеванном.

Показалась полная луна, ясная и невозмутимая, плывя в воздухе, таком же спокойном и прозрачном, как глаза Фрейи. На бриге не слышно было ни звука.

"Здесь она будет стоять подле меня в такие вечера", - в упоении думал он.

И как раз в этот момент, в этом спокойствии и тишине, под милостивым взглядом полной луны, благосклонной к влюбленным, на море, не тронутом рябью, под небом, не запятнанным ни единым облаком, - словно природа в насмешку приняла свой самый кроткий облик, - канонерка "Нептун", отделившись от темного берега, под сенью которого она стояла, скрытая от всех взглядов, - вынырнула наперерез торговому бригу "Бонито", направляющемуся к морю.

Как только канонерка появилась из своей засады, Шульц, с чарующим голосом, обнаружил признаки странного волнения. С той минуты, как они оставили малайский город в верхнем течении реки, он бродил с угрюмым лицом, исполняя свои обязанности, как человек, угнетенный какой-то навязчивой мыслью. Джеспер обратил на это внимание, но помощник, отвернувшись, словно ему не хотелось, чтобы на него смотрели, стыдливо пробормотал что-то о головной боли и о приступе лихорадки. И должно быть, сильно его трепало, когда он, следуя за своим капитаном, вслух выражал свое недоумение: "Что нужно от нас этому парню?.." Обнаженный человек, стоя на ледяном ветру и стараясь не дрожать, не мог бы говорить более хриплым и нетвердым голосом. Но, должно быть, это была лихорадка - приступ озноба.

- Просто он хочет напакостить, - с невозмутимым добродушием сказал Джеспер. - Он и раньше пытался это проделывать. Во всяком случае, скоро мы узнаем.

И действительно, вскоре оба судна остановились друг против друга, на расстоянии оклика. Бриг с его красивыми белыми парусами в лунном свете казался призрачным, воздушным. Канонерка, короткая и широкая, с толстыми темными мачтами, обнаженными, как мертвые деревья, поднимающимися к светлому небу этой лучезарной ночи, бросала тяжелую тень на полосу воды между двумя кораблями.

Фрейя преследовала их обоих, как вездесущий дух, словно она была единственной женщиной во вселенной. Джеспер помнил ее настойчивые советы быть осторожным и осмотрительным во всех своих поступках и словах, когда он будет вдали от нее. При этой совершенно непредвиденной встрече он почувствовал на своем ухе самое дыхание этих поспешных

увещаний, обычных в последний момент их расставания, услышал последний полушутливый шепот: "Помни, дитя, я бы никогда тебе не простила!.." - сопровождаемый легким пожатием руки, на что он ответил спокойной, уверенной улыбкой. Химскирка Фрейя также преследовала, но по-иному. Шепота он не слышал; перед ним возникали видения. Он видел, как девушка повисла на шее низкого бродяги того самого бродяги, который только что ответил на его оклик. Он видел, как она крадется босиком по веранде, с большими светлыми, широко раскрытыми горящими глазами, чтобы взглянуть на бриг - на этот бриг. Если бы она кричала, сердилась, бранила его!.. Но она просто восторжествовала над ним. Это было все. Завлечен (в этом он был твердо уверен), одурачен, обманут, оскорблен, побит, осмеян... Клюв и когти! Два человека, которых так различно преследовала Фрейя Семи Островов, не могли равняться силой.

В напряженной тишине, похожей на сон, спустившейся на оба судна, в мире, который и сам казался только неясным сном, шлюпка с яванскими матросами пересекла темную полосу воды и подплыла к бригу. Унтер-офицер, белый - быть может, канонир, - поднялся на борт. Это был приземистый человек с круглым брюшком и астматическим голосом. Его неподвижное жирное лицо казалось безжизненным в лунном свете; он шел, растопырив толстые руки, словно был чем-то набит. Его маленькие хитрые глазки блестели, как кусочки слюды. Ломаным английским языком он передал Джесперу приказание явиться на борт "Нептуна".

Джеспер не ждал ничего столь необычайного, но после краткого раздумья решил не проявлять ни досады, ни даже удивления. На реке, откуда он прибыл, было беспокойно в течение нескольких лет, и он знал, что на его поездки туда смотрят с некоторым подозрением. Но его не беспокоило неудовольствие властей, столь устрашавшее старика Нельсона. Он приготовился покинуть бриг, а Шульц последовал за ним к поручням с таким видом, словно хотел что-то сказать, но в конце концов промолчал. Подойдя к борту, Джеспер заметил его помертвевшее лицо. Глаза человека, нашедшего на бриге спасение от последствий своей оригинальной психологии, смотрели на него с немой мольбой.

- В чем дело? - спросил Джеспер.

- Хотел бы я знать, чем это кончится, - сказал тот голосом, в свое время очаровавшим даже положительную Фрейю. Но куда девался теперь его чарующий тембр? Эти слова прозвучали, как карканье ворона.

- Вы больны, - решительно сказал Джеспер.

- Лучше б я умер! - последовал неожиданный ответ, вырвавшийся у Шульца под влиянием какой-то таинственной тревоги.

Джеспер пристально посмотрел на него, но не было времени расследовать эту болезненную вспышку лихорадящего человека. По-видимому, он все-таки не бредил, и в данный момент приходилось этим довольствоваться. Шульц метнулся вперед.

- Этот парень что-то замышляет! - в отчаянии воскликнул он. - Он хочет вам повредить, капитан Эллен. Я это чувствую, и я...

Он задохнулся от непонятного волнения.

- Хорошо, Шульц. Я не подам ему повода, - оборвал его Джеспер и прыгнул в шлюпку.

На борту "Нептуна" Химскирк стоял, широко расставив ноги, в потоке лунного света, и его чернильно-черная тень падала прямо на шканцы. При появлении Джеспера он не сделал ни одного движения, но почувствовал, как в груди поднялось что-то напоминающее напор морской волны. Джеспер молча остановился перед ним и ждал.

Очутившись лицом к лицу в непосредственной близости, они сразу впали в тон своих случайных разговоров в бенгало старика Нельсона. Они игнорировали существование друг друга: Химскирк - угрюмо, Джеспер - с полным спокойствием и равнодушием.

- Что происходит на этой реке, откуда вы только что прибыли? - тотчас же спросил лейтенант.

- Я ничего не знаю о беспорядках, если вы это имеете в виду, - ответил Джеспер. - Я выгрузил там рис, за который ничего не получил в обмен, и ушел дальше. Сейчас там нет никакой торговли, но они умерли бы с голоду через неделю, если бы я не завернул туда.

- Вмешательство! Английское вмешательство! А предположим, что эти негодяи ничего иного не заслуживают, как подохнуть с голоду, а?

- Вы знаете, там есть женщины и дети, - тем же ровным голосом заметил Джеспер.

- О да! Когда англичанин говорит о женщинах и детях, можете быть уверены, что тут дело нечисто. Ваше поведение будет расследовано.

Они говорили поочередно. Казалось, это были бесплотные духи - одни голоса в воздухе; они смотрели друг на друга, как на пустое место, или, в лучшем случае, с тем вниманием, какое уделяют неодушевленному предмету не больше... Но затем наступило молчание. Химскирк неожиданно подумал: "Она расскажет ему все. Она расскажет ему, когда, смеясь, повиснет у него на шее". И бешеное желание уничтожить Джеспера тут же, на месте, чуть не лишило его чувств. Он лишился голоса, зрения. Секунду он буквально не видел Джеспера. Но он слышал, как тот осведомился, словно обращаясь ко всей вселенной:

- Итак, я должен заключить, что бриг задержан?
- Вспышка злобного удовлетворения помогла Химскирку прийти в себя.
- Да, он задержан. Я отведу его на буксире в Макассар.
- Суд решит, законный ли это поступок, - сказал Джеспер, поняв, что дело становится серьезным, но говоря с напускным равнодушием.
- О да, суд! Конечно. А вас я оставлю здесь, на борту.

Ужас Джеспера при мысли о разлуке с его бригам проявился в том, что он застыл на месте. Но это продолжалось только один момент. Затем он повернулся и окликнул бриг. Мистер Шульц ответил:

- Да, сэр.
- Приготовьтесь принять кабельтов с канонерки. Нас отведут на буксире в Макассар.
- Бог мой! А для чего это, сэр? - донесся слабый беспокойный возглас.
- Любезность, как я полагаю, - иронически крикнул Джеспер, вполне владея собой. - Нас мог застигнуть здесь штиль... на несколько дней. И гостеприимство. Мне предложено остаться здесь - на борту.

Ответом на это сообщение было громкое, отчаянное восклицание.

Джеспер с беспокойством подумал: "Эх, у парня нервы совсем расходились", - и с какой-то новой смутной тревогой пристально поглядел на бриг. Мысль, что он разлучен с ним - первый раз с тех пор, как они встретились, - потрясла его напускную беспечность, потрясла его мужество до самых оснований, - а эти основания были заложены очень глубоко. Все это время ни Химскирк, ни даже его чернильная тень не шевелились.

- Я думаю послать команду шлюпки и офицера на борт вашего судна, сказал он в пространство.

Джеспер, оторвавшись от созерцания брига, повернулся и бесстрастно, почти без всякого выражения в голосе заявил протест против всей этой процедуры. А думал он о задержке. Он считал дни. В сущности, Макассар был ему по пути, и если бриг поведут на буксире, он даже сэкономит время. С другой стороны, не удастся избежать досадных формальностей. Но все это было слишком нелепо. "Таракан взбесился, - думал он. - Меня немедленно освободят. А если нет, то Месману придется за меня поручиться". (Месман был голландский купец, с которым Джеспер вел дела, - важная особа в Макассаре.)

- Вы протестуете? Гм! - пробормотал Химскирк и еще некоторое время оставался неподвижным, широко расставив ноги и опустив голову, словно изучая свою собственную забавную расщепленную тень. Затем он дал знак шарообразному канониру, державшемуся поблизости и застывшему, как скверно набитое чучело жирного человека, с безжизненным лицом и

блестящими глазами. Тот подошел ближе и остановился.

- Вы высадите на борт брига команду шлюпки.

- Да, мин герр!

- Все это время один из ваших людей будет стоять у штурвала, продолжал Химскирк, отдавая приказание по-английски, очевидно, в назидание Джесперу. - Вы слышите?

- Да, мин герр!

- Все это время вы будете на палубе и возьмете на себя командование.

- Да, мин герр!

Джеспер почувствовал, что вместе с командованием бригом у него словно вырвали из груди сердце. Химскирк спросил, переменив тон:

- Какое оружие имеется у вас на борту?

Одно время все суда, какие вели торговлю в китайских морях, имели разрешение возить определенное количество огнестрельного оружия в целях самозащиты. Джеспер ответил:

- Восемнадцать ружей со штыками. Они находились на борту, когда я купил бриг четыре года назад. О них было заявлено.

- Где вы их держите?

- В каюте на носу. Ключ у помощника.

- Вы их возьмете, - сказал Химскирк канониру.

- Да, мин герр!

- Зачем? Что вы замышляете? - крикнул Джеспер и сейчас же прикусил губу. - Это чудовищно! - пробормотал он.

Химскирк на секунду поднял на него тяжелый, как будто страдальческий взгляд.

- Вы можете идти, - сказал он канониру.

Толстяк отдал честь и ушел.

В течение следующих тридцати часов буксировка прервалась только один раз. Бриг дал сигнал - с бака замахали флагом, и канонерка остановилась. Скверно набитое чучело унтер-офицера спустилось в шлюпку, явилось на борт "Нептуна" и поспешило прямо в каюту своего командира. Маленькие глазки его моргали, как будто он был возбужден тем, что ему предстояло сообщить. Оба некоторое время сидели, запершись в каюте, а Джеспер с гакаборта старался выяснить, не произошло ли что-нибудь необычайное на борту брига. Но, казалось, все было в порядке. Однако он решил подстеречь канонира; и хотя избегал говорить с кем бы то ни было после разговора с Химскирком, он остановил этого типа, когда тот снова вышел на палубу, и осведомился о своем помощнике.

- Он чувствовал себя неважно, когда я уходил, - объяснил он.

Жирный унтер-офицер, державшийся так, словно усилие нести перед собой огромный живот не позволяло ему сгибаться, понял его с трудом. Ни одна черточка в лице не обнаруживала ни малейшего оживления, но под конец маленькие глазки быстро заморгали.

- О да! Помощник. Да, да. Он здоров. Но, mein Gott, какой забавный человек!

Джеспер не успел получить объяснение, так как голландец поспешно спустился в шлюпку и вернулся на борт брига. Но он утешал себя мыслью, что очень скоро неприятное и довольно нелепое испытание будет окончено. Вдали уже виднелся рейд Макассара. Химскирк прошел мимо и поднялся на мостик. Впервые лейтенант взглянул на Джеспера с подчеркнутым вниманием. Он так смешно вращал глазами - Джеспер и Фрейя давно уже согласились, что лейтенант смешон, - с таким восторженным удовольствием, словно обсасывая вкусный кусочек, что Джеспер невольно улыбнулся во весь рот. А потом он снова повернулся к своему бригу.

Видеть этот бриг - его драгоценную собственность, частицу души Фрейи, единственную опору двух жизней в широком мире, незыблемую основу его страсти, дающего ему власть прижать безмятежную прелестную Фрейю к своей груди и увезти на край света; видеть этого красавца, достойно воплощающего его гордость и любовь, видеть его пленным на конце буксирной бечевы испытание не из приятных. В этом было что-то кошмарное, как сновидение о вольной морской птице, обремененной цепями.

Но на что другое хотел бы он смотреть? Красота брига проникала в его сердце с такой силой, что он забывал о том, где находится. А кроме того, сознание своего превосходства, какое возникает в молодом человеке благодаря уверенности, что он любим, иллюзия, рожденная нежным взглядом женских глаз, будто он вознесен превыше Судьбы, помогли ему после первого потрясения выносить эту пытку с улыбкой и верой в себя. Ибо какая злая сила могла коснуться избранника Фрейи?

Было уже после полудня; солнце освещало с кормы оба судна, входившие в гавань. "Скоро конец тараканьей шутке", - думал Джеспер без всякой враждебности. Как моряку, хорошо знакомому с этой частью света, ему достаточно было одного взгляда, чтобы определить направление. "Эге, подумал он, - он идет в Спермондский пролив. Сейчас мы обогнем риф Тамисса". И снова он обратился к созерцанию брига, этой опоры его материального и духовного существования, который скоро снова будет в его руках. На море, спокойном, как мельничный пруд, тяжелая плавная рябь расходилась от носа брига, так как мощный "Нептун" буксировал с

большой скоростью, словно на пари. Голландский канонир показался на баке "Бонито", а с ним еще несколько человек. Они смотрели на берег, а Джеспер погрузился в любовный транс.

Глубокий гул парового свистка канонерки заставил его вздрогнуть от неожиданности. Медленно он огляделся. Потом с молниеносной быстротой отскочил от того места, где стоял, и бросился по палубе.

- Вы налетите на риф Тамисса! - кричал он.

Высоко на мостике Химскирк бросил тяжелый взгляд через плечо; два матроса поворачивали штурвал, и "Нептун" уже быстро отходил от края светлой воды, скрывавшей опасность. Ха! Как раз вовремя. Джеспер сейчас же отвернулся, чтобы следить за своим бригам, и, прежде чем он понял, в чем дело, - очевидно, согласно распоряжениям Химскирка, данных заранее канониру, - кабельтов был отпущен при звуке свистка. Он не успел крикнуть, не успел пошевелинуться, он видел, как бриг понесся по течению и стремительно пролетел мимо кормы канонерки. Он следил за его красивым скользящим корпусом глазами, расширенными от недоумения, дикими от ужаса. Крики на борту казались ему жутким невнятным шепотом, их заглушала кровь, стучавшая в ушах. Бриг неслся вперед с несравненной грацией и стремительностью до тех пор, пока гладкая поверхность воды перед его носом словно опустилась вниз, неожиданно, точно высосанная. Странно, трепетно задрожали верхушки мачт, бриг остановился, слегка наклонив высокие мачты, - и замер. Он спокойно лежал на рифе, а "Нептун", сделав широкий круг, полным ходом продолжал свой путь по Спермондскому проливу, направляясь к городу. Он лежал спокойно, совсем спокойно, и что-то зловещее и неестественное было в его положении. И сразу - внезапно - при солнечном свете его объяла меланхолия, та меланхолия, какая окутывает вещи, тронутые тлением; он был только пятнышком в сияющей пустоте пространства - уже покинутый, уже одинокий.

- Держи его! - заревел голос с мостика.

Стремительно, импульсивно Джеспер бросился бежать к своему бригам, как кидается вперед человек, чтобы оттащить от края пропасти живое, дышащее любимое существо.

- Держи его! Хватай! - вопил лейтенант с мостика, а Джеспер, не говоря ни слова, бешено отбивался, и только голова его возвышалась над напирающей толпой матросов "Нептуна", которые послушно набросились на него. - Держи его!.. Я не допущу, чтобы этот парень сейчас утонул.

Джеспер перестал сопротивляться.

Один за другим они отпустили его; они отходили постепенно все

дальше и дальше в напряженном молчании, оставив его стоять без поддержки в широком пустом пространстве, словно давая упасть после борьбы. Он даже не покачнулся.

Полчаса спустя, когда "Нептун" стал на якорь перед городом, он все еще не сдвинулся с места, ни на волос не шевельнулся. Как только прекратилось гроыхание якорной цепи канонерки, Химскирк, тяжело ступая, спустился с мостика.

- Позовите сампан, - сказал он угрюмо, проходя мимо часового к шкафуту; затем он медленно двинулся к тому месту, где Джеспер, на которого направлены были испуганные взгляды матросов, стоял, опустив глаза, сумрачно разглядывая палубу. Химскирк подошел вплотную и, приложив пальцы к губам, задумчиво уставился на него. Вот он, счастливый бродяга, единственный человек, которому проклятая девчонка могла рассказать эту историю. Но она не покажется ему смешной. История, как лейтенант Химскирк... Нет, вряд ли он над ней посмеется. Он выглядел так, словно никогда в жизни ни над чем смеяться не будет.

Неожиданно Джеспер поднял голову. Его недоумевающие глаза встретили внимательный мрачный взгляд Химскирка.

- Наскочил на риф! - сказал он тихим удивленным голосом. - На риф! повторил он еще тише, словно прислушиваясь к зарождению какого-то жуткого и странного ощущения.

- Да, на высшей точке прилива, - вставил Химскирк с мстительной, торжествующей злобой, вспыхнувшей и угасшей. Он замолчал, как будто усталый, не спуская с Джеспера своих наглых глаз. Казалось, их затуманило, как хмурое облако, тайное разочарование, неизбежная тень всех страстей. На высшем уровне... - повторил он, снова разжигая свой гнев, и, сорвав с головы обшитую галуном фуражку, он насмешливо махнул ею в сторону шкафута. - А теперь отправляйтесь на берег и в суд, проклятый англичанин! - сказал он.

VI

Истории брига "Бонито" суждено было вызвать сенсацию в Макассаре, самом красивом и, пожалуй, самом чистеньком из всех городов на Островах. В Макассаре не часто случаются сенсационные происшествия. "Фронт"^[6] с его своеобразным населением быстро узнал о случившемся. Далеко в море видели какой-то пароход, буксирующий парусное судно, и когда этот пароход явился один, оставив судно в море, любопытство сразу распалилось. В чем дело? Видны были только его мачты с убранными парусами, неподвижно застывшие на одном месте. И вскоре по всей набережной, запруженной народом, распространился слух, что на риф Тамисса наскочило судно. Толпа правильно истолковала случившееся, но причина его находилась за пределами ее проницательности, ибо кто мог ассоциировать девушку, отделенную сотнями миль, с кораблем, засевшим на рифе Тамисса? Кто стал бы искать отдаленной связи этого события в психологии по крайней мере трех человек, хотя в эту минуту один из них, лейтенант Химскирк, пробирался сквозь толпу, чтобы дать отчет о случившемся?

Нет, умы на "фронте" не способны были к такого рода изысканиям, хотя много рук - коричневых, желтых, белых - заслоняли глаза, чтобы взглянуть на море. Молва распространилась быстро. Лавочники китайцы выходили на улицу, и не один белый торговец поднялся от своей конторки, чтобы подойти к окну. В конце концов не каждый день корабль насккивает на риф Тамисса. И мало-помалу слухи приняли более определенную форму. Английское торговое судно... задержано в море, как подозрительное, "Нептуном"... Химскирк вел его на буксире, чтобы произвести расследование, и, по странной случайности...

Позже узнали название судна. "Бонито"... что! Не может быть! Да... да... "Бонито". Смотрите! Вы видите отсюда - только две мачты. Это бриг. Вот уж не думал, чтобы этот человек когда-нибудь попался. Но и Химскирк парень расторопный. Говорят, каюта на бриге не хуже, чем на увеселительной яхте. Да и Эллен что-то вроде джентльмена. Сумасбродный парень.

Молодой человек, наслушавшись последних сообщений, вошел в шикарную контору братьев Месман на "фронте".

- О да! Несомненно, это "Бонито"! Но вы не знаете всей истории, я сам только что услышал. Этот парень года два как снабжает реку

огнестрельным оружием. От долгой безнаказанности он, видимо, так обнаглел, что на этот раз продал ружья со своего корабля. Факт! Ружей на борту не оказалось. Какова наглость! Но он не знал, что у берега стоит одно из наших военных судов. Эти англичане так нахальны! Быть может, он думал, что это сойдет ему с рук. Наш суд слишком часто оправдывает этих парней по самому ничтожному поводу. Но, во всяком случае, теперь конец знаменитому "Бонито". Я только что слышал в портовой конторе, что он наскочил на риф в разгар прилива, - а он к тому же с грузом. Думают, что никакая человеческая сила не сможет его оттуда сдвинуть. Надеюсь, что так. Это было бы прекрасным предостережением для остальных: знаменитый "Бонито", посаженный на риф.

Мистер Дж.Месман, голландец, родившийся в колониях, добрый патриархальный старик с гладко выбритым спокойным красивым лицом и седыми волосами, слегка вьющимися у воротничка, ни слова не сказал в защиту Джеспера и "Бонито". Он неожиданно поднялся с кресла. Лицо у него было заметно расстроенное. Случилось так, что однажды Джеспер отвлекся от деловых разговоров о путях и средствах торговли на островах и разоткровенничался с ним на тему о Фрейе. Славный старик, который знал прежде Нельсона и даже помнил немного Фрейю, был удивлен и заинтересован развитием этой истории.

Ну-ну-ну! Нельсон! Да, конечно! Очень честный, порядочный человек. И маленькая девочка с белокурыми волосами. О да! Я отчетливо помню. Итак, она выросла и превратилась в красивую девушку. И такая решительная, такая... - И он от всей души рассмеялся. - Помните же, капитан Эллен, когда вы благополучно убежите со своей будущей женой, непременно загляните сюда, чтобы мы могли ее здесь приветствовать. Маленькая белокурая девочка! Помню, помню.

Вот почему при первом известии о крушении на его лице отразилась тревога. Он взял свою шляпу.

- Куда вы идете, мистер Месман?

- Иду искать Эллена. Я думаю, он должен быть на берегу. Кто-нибудь о нем знает?

Никто из присутствующих не знал. И мистер Месман вышел на "фронт" навести справки.

Другая часть города, часть, прилегающая к церкви и форту, получила информацию иным путем. Прежде всего ей предстал сам Джеспер, шагавший с такой быстротой, словно за ним гнались. И действительно какой-то китаец, по-видимому лодочник, следовал за ним по пятам тем же стремительным шагом. Поравнявшись с "Апельсиновым домом", Джеспер

неожиданно повернулся и вошел, или, вернее, влетел туда, перепугав Гомеца, управляющего гостиницы. Но китаец, поднявший за дверью непристойный шум, немедленно привлек внимание Гомеца. Его жалоба заключалась в том, что белый человек, которого он доставил с канонерки на берег, не уплатил ему за проезд. Он преследовал его до гостиницы всю дорогу, требуя платы. Но белый человек не обращал ни малейшего внимания на его справедливое требование. Гомец успокоил кули, вручив ему несколько медяков, а затем пошел разыскивать Джеспера, которого знал очень хорошо.

Он нашел его неподвижно стоящим у круглого столика. В другом конце веранды сидело несколько человек; они прервали разговор и молча глядели на него. Два бильярдных игрока, с киями в руках, подошли к дверям бильярдной и тоже уставились на него.

Когда Гомец приблизился к нему, Джеспер поднял руку, указывая на свое горло. Гомец заметил, что его белый костюм запачкан, затем заглянул ему в лицо и побежал заказывать напиток. По-видимому, Джеспер его потребовал.

Немыслимо угадать, куда он хотел пойти - с какой целью - или, быть может, только воображал, что куда-то идет, - но внезапное побуждение или вид знакомого места заставил его войти в "Апельсинный дом". Он слегка опирался концами пальцев о круглый столик. На веранде находились два человека, которых он хорошо знал лично, но глаза его блуждали, как будто он искал пути к бегству, и когда взгляд его скользил по этим людям, он их не узнавал. Они, в свою очередь, смотрели на него, не веря своим глазам. Лицо его не было искажено. Нет, оно было неподвижное, застывшее. Но выражение делало его неузнаваемым. Может ли быть, что это он? - с ужасом думали они.

В голове был дикий хаос всевозможных мыслей. Совершенно отчетливых и ясных. Именно эта ясность и была так ужасна в связи с полной невозможностью остановиться на какой-нибудь одной из них. Он говорил себе, а быть может, им, этим мыслям: "Спокойней, спокойней". Перед ним появился китайчонок со стаканом на подносе. Он залпом выпил стакан и выбежал вон. С его уходом рассеялось недоумение, сковавшее зрителей. Один из них вскочил и бросился в тот конец веранды, откуда была видна почти вся дорога. В тот самый момент, когда Джеспер, выйдя из дверей "Апельсинного дома", проходил мимо него внизу, по улице, он возбужденно крикнул остальным:

- Это действительно был Эллен! Но где его бриг?

Джеспер с удивительной отчетливостью расслышал эти слова. Небеса

звенели ими, словно призывая его к ответу, ибо это были те самые слова, какие сказала бы Фрейя. Это был уничтожающий вопрос, - он пронзил его сознание, как молния. И внезапно ночь окутала хаос его мыслей. Он не замедлил шагов. Он сделал в темноте еще три шага. Потом упал.

Добряк Месман продолжал свои поиски до самого госпиталя, где и нашел его. Доктор сказал несколько слов о легком солнечном ударе. Ничего серьезного. Выйдет через три дня... Приходится согласиться, что доктор был прав. Через три дня Джеспер вышел из госпиталя; его видели в городе видели постоянно, - и это продолжалось довольно долго; так долго, что он стал чуть ли не одной из местных достопримечательностей, пока наконец не перестали обращать на него внимание; так долго, что история его блужданий по городу и по сей день вспоминается на Островах.

Разговоры на "фронте" и появление Джеспера в "Апельсиновом доме" положили начало знаменитому делу "Бонито" и дали представление о двух его аспектах - практическом и психологическом.

С одной стороны, все это дело подведомственно суду, а с другой несомненно, случай вызывал сострадание; да, это было очевидно до жути и, однако, неясно.

Вы должны понять, что дело так и осталось неясным даже для моего друга, написавшего мне письмо, о котором упоминается в самых первых строках этого рассказа. Он был одним из присутствовавших в конторе мистера Месмана и сопровождал этого джентльмена в его поисках Джеспера. В его письме описывались оба "аспекта" и несколько эпизодов, связанных с этим делом. Химскирк выражал глубочайшую радость по поводу того, что ему удалось спасти свое собственное судно. Он слишком близко подошел к рифу Тамисса: туман стлался над берегом. Он спас свое судно, а до остального ему нет дела. Показания жирного канонира сводились к тому, что в тот момент он счел наиболее целесообразным отпустить буксирный трос, но, по его признанию, он был сильно смущен внезапной опасностью.

Совершенно ясно, что он действовал на основании точных инструкций, полученных им от Химскирка. Несколько лет совместной службы на Востоке сделали его преданным оруженосцем лейтенанта. Самым любопытным в истории о задержании "Бонито" был рассказ канонира о том, как, приступив согласно полученному распоряжению, к осмотру огнестрельного оружия, он выяснил, что никаких ружей на борту нет. В каюте на носу он нашел пустые козлы для восемнадцати ружей, но ни одного ружья на всем корабле не оказалось. Помощник на этом бриге, выглядевший больным и державший себя так возбужденно, что смахивал

на сумасшедшего, старался его убедить, будто капитан Эллен ничего об этом не знает; это он, помощник, продал недавно ружья поздней ночью одному типу, проживающему в верхнем течении реки. В доказательство он извлек мешок с серебряными долларами и хотел принудить его, канонира, взять деньги. Затем, швырнув мешок на палубу, он стал колотить себя по голове кулаками, призывая на свою голову ужасные проклятия и называя себя неблагодарным негодяем, которому не место на земле.

Обо всем этом канонир немедленно доложил своему командиру.

Трудно сказать, что собирался сделать Химскирк, когда задержал "Бонито". Быть может, он хотел только причинить неприятность человеку, пользующемуся благосклонностью Фрейи. Глядя на Джеспера, он испытывал желание свалить этого человека, изведавшего ее поцелуи и объятия. Но перед ним стоял вопрос: как добиться этого, не рискуя самому? Отчет канонира придал делу серьезную окраску. Однако у Эллена были друзья, и кто мог сказать, не выпутается ли он как-нибудь из этой истории? Мысль направить бриг, столь сильно скомпрометированный, на риф, пришла ему в голову, когда он слушал в своей каюте отчет жирного канонира. Теперь было мало вероятностей вызвать порицание. А делу можно придать характер случайности.

Выйдя на палубу, он с такой алчностью посмотрел на свою ничего не подозревавшую жертву, так зловеще выпучил глаза и сморщил губы, что Джеспер не мог удержаться от улыбки. А лейтенант, расхаживая по мостику, мысленно говорил:

"Ну, подожди же! Я тебе испорчу вкус этих сладких поцелуев. Клянусь, придет время, когда имя лейтенанта Химскирка не будет вызывать улыбку на твоих губах. Теперь ты - в моих руках!"

И эта возможность отомстить представилась внезапно, без всяких предварительных размышлений, можно сказать - сама собой, словно события таинственно сгруппировались так, чтобы способствовать темному делу. Самые коварные замыслы не могли сослужить Химскирку лучшей службы. Ему дано было отведать безграничную полноту мести, - нанести смертельный удар ненависти человеку и следить, как он разгуливает с кинжалом в груди.

Ибо таково было состояние Джеспера. Он что-то делал, двигался, тощий и беспокойный, с усталыми глазами, осунувшимся лицом; движения его были резки, говорил он непрерывно странным, усталым голосом, но в глубине души он знал, что ничто и никогда не вернет ему брига, как ничто не может исцелить израненное сердце. Его душа, под влиянием Фрейи оставаясь спокойной на вершине любви, походила на неподвижную, но

слишком натянутую струну. Удар заставил ее вибрировать, и струна лопнула. Два года, в опьянении, полный уверенности, он ждал дня, который теперь уже не мог настать для человека, на всю жизнь обезоруженного потерей брига и казалось ему - недостойного любви, ибо для нее он не мог воздвигнуть пьедестала.

Каждый день он выходил из города, держась берега, и, дойдя до мыса против той части рифа, на какой лежал его бриг, пристально смотрел на любимый силуэт. Когда-то бриг был обителью ликующей надежды, а теперь склоненный, необитаемый, неподвижный - он вздымался над пустынным горизонтом как символ отчаяния.

Судовая команда покинула бриг на его же шлюпках, которые тотчас по прибытии в город были секвестрованы Управлением порта. Секвестрован был и бриг до окончания суда, но Управление не потрудились оставить на борту охрану. Да и в самом деле, что могло сдвинуть его с места? Разве что чудо; разве что глаза Джеспера, часами не отрывавшиеся от него, словно он надеялся одною лишь силой взгляда притянуть бриг к своей груди.

Вся эта история, вычитанная мною в болтливом письме моего друга, сильно меня расстроила. Но поистине ужасно было читать его рассказ о том, как помощник Шульц бродил повсюду, с отчаянным упорством утверждая, что он - и только он - продал эти ружья. "Я их украл!" - твердил он. Конечно, никто ему не верил. Не верил ему и мой друг, хотя и восхищался таким самопожертвованием. Но многие считали, что человек хватил через край, выставляя себя вором ради спасения друга. Впрочем, ложь была такой ясной, что, быть может, это и не имело значения.

Я, знакомый с психологией Шульца, знал: да, он говорит правду, - и, признаюсь, пришел в ужас. Так вот как вероломная судьба воспользовалась великодушным поступком! И я чувствовал себя так, словно и я принимал участие в этом вероломстве, раз я до известной степени поощрял Джеспера. Но ведь я же его и предостерегал...

"Парень словно помешался на этом пунктике, - писал мой друг. - С этой историей он отправился к Месману. Он рассказал, как какие-то негодяи белые, живущие среди туземцев в верховье реки, - напоили его однажды вечером джином, а затем стали насмехаться над тем, что у него никогда нет денег. Тут он заявил нам: "Я - честный человек, и вы должны мне верить" и объяснил, будто он становится вором, если опрокинет лишний стаканчик. В ту же ночь к борту подошло каноэ, и он, без малейших угрызений совести, спустил туда ружья одно за другим, получив по десяти долларов за штуку.

На следующий день он заболел от стыда и горя, но у него не хватило

мужества признаться своему благодетелю в этом проступке. Когда канонерка остановила бриг, он, предчувствуя последствия, хотел умереть - и умер бы счастливым, если бы, жертвуя своей жизнью, мог вернуть ружья. Он ничего не сказал Джесперу, надеясь, что бриг будет сейчас же освобожден. Когда же дело обернулось иначе и его капитан был задержан на борту канонерки, он, в отчаянии, готов был покончить с собой, но считал своим долгом остаться жить и открыть истину. "Я - честный человек! Я - честный человек, повторял он, и голос его вызвал у нас слезы. - Вы должны мне верить, если я вам говорю, что я - вор, низкий, подлый, хитрый вор, едва я выпью стакан-другой. Отведите меня куда-нибудь, где я могу под присягой сказать всю правду".

Когда мы, наконец, убедили его, что эта история никакой пользы Джесперу принести не может - ибо какой голландский суд, раз захватив английского торговца, удовлетворится подобным объяснением? И в самом деле - как, когда, где можно было найти доказательства этой истории? - он готов был рвать на себе волосы, но потом, успокоившись, сказал: "Ну, прощайте, джентльмены" - и вышел из комнаты такой подавленный, что, казалось, едва волочил ноги. В ту же ночь он покончил с собой в доме одного из полукровок, с которыми жил с тех пор, как высадился на берег после крушения, - перерезал себе горло".

"Это горло!" - с содроганием подумал я. Горло, которое могло рождать нежный, убедительный, мужественный, чарующий голос, возбудивший сострадание Джеспера, завоевавший симпатию Фрейи! Кто бы мог предположить такой конец для несносного, кроткого Шульца с его склонностью к воровству? Эта черта была у него прямолинейна до абсурда и даже у людей, пострадавших от нее, вызывала только усмешку и раздражение. Он был действительно несносен. На его долю должно было бы выпасть полуголодное существование, таинственная, но отнюдь не трагическая судьба бездомного скитальца с кроткими глазами, болтающегося среди туземного населения. Бывают случаи, когда ирония судьбы, какую обнаруживают иные исследователи наших жизней, носит характер жестокой и дикой шутки.

Я покачал головой над усопшим Шульцем и продолжал читать письмо моего друга. В нем говорилось далее о том, как бриг на рифе, ограбленный туземцами из прибрежных деревень, постепенно принимал плачевный вид, серый, призрачный вид развалины; а Джеспер, худея с каждым днем, похожий на тень человека, быстро проходил по набережной с горящими глазами и слабой улыбкой, застывшей на губах. Весь день он проводил на уединенной песчаной косе, жадно глядя на бриг, словно надеялся, что на

борту появится какая-нибудь фигура и с ветхой палубы подаст ему знак. Месманы заботились о нем, поскольку это было возможно. Дело "Бонито" было отправлено в Батавию, где оно, несомненно, угаснет в пыли официальных бумаг... Сердце надрывалось при чтении этого письма. Энергичный, ревностный офицер лейтенант Химскирк занял свой пост в Молукке. Неофициально ему было выражено одобрение, но его угрюмая, недовольная самоуверенная физиономия оставалась все такой же мрачной.

Затем, в конце этого обширного послания, написанного с благими намерениями и перебирающего все новости на Островах по крайней мере за последние полгода, мой друг писал: "Месяца два тому назад сюда завернул старик Нельсон, явившись на почтовом пароходе с Явы. Кажется, приехал повидаться с Месманом. Довольно загадочный визит и необычайно короткий, если принять во внимание такой долгий путь. Он пробыл всего четыре дня в "Апельсинном доме". Делать ему, видимо, было нечего, и на пароходе, отправляющемся на юг, он уехал в Проливы. Помню, одно время поговаривали, будто Эллен ухаживает за дочерью старика Нельсона. Девочку воспитывала м-с Харли, а потом она переехала к отцу на группу Семи Островов. Наверное, вы помните старого Нельсона..."

Помню ли я старого Нельсона? Еще бы!

Далее мой друг уведомлял меня, что старик Нельсон, во всяком случае, меня помнит: спустя некоторое время после своего мимолетного визита в Макаassar он написал Месманам, желая узнать мой лондонский адрес.

Что старик Нельсон (или Нильсен), основной чертой которого была полная безответственность и неспособность на что бы то ни было откликаться, пожелал кому-то написать и нашел, о чем писать, - было само по себе немалым чудом. И из всех людей он выбрал меня! С беспокойством я ждал, какое сообщение последует от этого человека, ум которого был затемнен от природы, но мое нетерпение успело иссякнуть, прежде чем я увидел нетвердый вымученный почерк старика Нельсона - старческий и детский одновременно, с маркой в пени и почтовым штемпелем Ноттинг Хилл на конверте. Прежде чем вскрыть его, я отдал дань удивлению, всплеснув руками. Так, значит, он вернулся на родину в Англию, чтобы окончательно стать Нельсоном, или же отправлялся на родину в Данию, чтобы уже навсегда стать Нильсеном. Но немыслимо было представить себе старика Нельсона (или Нильсена) вне тропиков. И все же он был здесь и просил меня зайти.

Он остановился в пансионе на одной из площадей Бэйтсуотера, где раньше жили досужие люди, теперь вынужденные зарабатывать себе на жизнь. Кто-то порекомендовал ему этот пансион. Я вышел из дому в один

из тех январских лондонских дней, в один из тех зимних дней, какие составлены из четырех дьявольских элементов - холода, сырости, грязи и слякоти; прибавьте к этому еще своеобразно клейкую атмосферу, прилипающую к самому телу, словно грязное белье. Однако, приблизившись к его жилищу, я увидел, как вспыхнуло там, вдали, за грязной вуалью из этих четырех элементов, - томительное и великолепное сияние голубого моря, и крошечные пятнышки - Семь Островов проплыли перед моими глазами, а самый маленький островок был увенчан высокой красивой крышей бенгало. Это зрительное воспоминание глубоко расстроило меня. Дрожащей рукой я постучал в дверь.

Старик Нельсон (или Нильсен) поднялся из-за стола, за которым сидел над потертым бумажником, набитым какими-то бумагами. Он снял очки, прежде чем пожать мне руку. Сначала мы оба не сказали ни слова; потом, заметив, что я нерешительно огляделся по сторонам, он пробормотал несколько слов - я уловил только "дочь" и "Гонконг", - опустил глаза и вздохнул.

Его усы, растрепанные, как и в былые времена, теперь совсем побелели. Старые щеки были округлы и тронуты румянцем; как ни странно, но что-то детское в его физиономии теперь куда больше бросалось в глаза. Он, как и его почерк, имел вид ребяческий и старческий. Больше всего выдавал его годы глупо и тревожно нахмуренный лоб и круглые невинные глаза, которые показались мне близорукими, моргающими" водянистыми; или они были полны слез?..

Неожиданно для себя я обнаружил, что старик Нельсон вполне и обо всем осведомлен. Когда прошло неловкое замешательство, он заговорил совершенно свободно; время от времени я подгонял его вопросами. Иногда он вдруг погружался в молчание, сложив руки на жилете, в позе, воскрешавшей в моей памяти восточную веранду, где он, бывало, сидел, спокойно разговаривая и раздувая щеки, - в те далекие, далекие дни. Он говорил рассудительным, слегка озабоченным тоном:

- Нет, нет. Мы много недель ни о чем не слыхали. Да и не могли, конечно, - ведь мы жили совсем в стороне. Даже почты нет на Семи Островах. Но однажды я поехал в Банку в своей большой парусной лодке, узнать, нет ли писем, и увидел голландскую газету. Но там об этом упоминалось как о простом происшествии на море: английский бриг "Бонито" сел на мель за Макаassarским рейдом. Вот и все. Я захватил с собой газету и показал ей. "Я никогда ему не прощу!" - воскликнула она совсем по-старому. "Дорогая моя, - сказал я, - ты разумная девушка. Всякий человек может потерять корабль. Но как ты себя чувствуешь?" Меня начал

беспокоить ее вид. Раньше она не позволяла мне даже заикнуться о поездке в Сингапур. Но, конечно, такая разумная девушка не станет вечно возражать против этого. "Делай, как хочешь, папа", - сказала она. Дело было нелегкое. Нужно было захватить пароход, но я перевез ее благополучно. Там, конечно, зову докторов. Лихорадка. Анемия. Уложили в постель. Две-три женщины были добры к ней. Естественно, в наших газетах скоро появилась вся история. Она прочитала ее до конца, легла на кушетке; потом протягивает мне газету, шепчет "Химскирк" - и теряет сознание.

Он долго моргал глазами; снова они были полны слез.

- На следующий день, - начал он без всякой дрожи в голосе, - ей стало лучше. У нас был длинный разговор. Она мне рассказала все.

Тут старик Нельсон, опустив глаза, передал мне, со слов Фрейи, весь эпизод с Химскирком; потом, невинно глядя на меня, отрывисто продолжал рассказ:

- "Дорогая моя, - сказал я, - в общем ты вела себя как разумная девушка". - "Я была ужасна, - крикнула она, - а он теперь терзается там". Ну, она была очень разумна и поняла, что в таком состоянии путешествовать не может. Но я поехал. Она мне велела ехать. За ней хорошо ухаживали. Анемия. Говорят, она поправлялась.

Он замолчал.

- Вы его видели? - прошептал я.

- О да, я его видел, - заговорил он снова тем же рассудительным голосом, словно обсуждал какой-нибудь вопрос. - Я его видел. Я пришел к нему. Глаза у него ввалились на дюйм, лицо - только кости, обтянутые кожей, скелет в грязном белом костюме. Вот какой у него был вид. Как могла Фрейя... Но она никогда не любила... по-настоящему. Так он и сидел тут на бревне, выброшенном на сушу, - единственное живое существо на берегу. Волосы ему остригли в госпитале, и они не отросли. Он сидел, подперев подбородок рукой, и смотрел на эту развалину, застывшую между морем и небом. Когда я к нему подошел, он только голову слегка повернул и проговорил: "Это вы, старина?" - или что-то в этом роде. Если бы вы его видели, вы бы сразу поняли: быть не может, чтобы Фрейя когда-нибудь любила этого человека. Ну-ну... Я ничего не говорю. Может быть... немножко... Она, знаете ли, была одинока. Но чтобы уехать с ним! Никогда! Безумие. Она была слишком разумна... Я начал укорять его ласково. Он поворачивается ко мне: "Писать вам! О чем? Ехать к ней! Зачем? Если бы я был мужчиной, я увез бы ее, но она сделала из меня ребенка, счастливого ребенка. Скажите ей: в тот день, когда единственная вещь, какая

принадлежала мне во всем мире, погибла на этом рифе, я понял, что не было у меня власти над Фрейей. Приехала она с вами сюда?.." - крикнул он, неожиданно сверкнув на меня своими ввалившимися глазами. Я покачал головой. "Приехала со мной? А анемия?" - "Ага! Видите? Ступайте же прочь, старина, и оставьте меня одного с этим призраком", - сказал он и кивнул головой на останки своего брига. Безумный! Стало темнеть. Мне не хотелось оставаться дольше с этим человеком в таком уединенном месте. Я не хотел ему говорить о болезни Фрейи. Анемия! К чему было говорить? Сумасшедший! Да и что за муж бы из него вышел для такой разумной девушки, как фрейя? Ведь даже свое маленькое поместье я бы не мог им оставить. Голландские власти никогда не разрешили бы англичанину поселиться там. Тогда оно еще не было продано. Мой Махмет, вы его знаете, присматривал за ним. Позже я продал его одному голландскому полукровке за десятую часть его стоимости. Но это неважно. Тогда мне было все равно. Да, я ушел от него, я уехал с обратным пароходом. Рассказал обо всем Фрейе. "Он сумасшедший, - сказал я, - и, милая моя, он любил только свой бриг". "Может быть, - говорит она, глядя прямо перед собой, глаза у нее ввалились совсем, как у него. - Может быть, это правда. Да! Я бы никогда не позволила ему подчинить меня своей воле".

Старик Нельсон замолчал. И сидел, как зачарованный, и хотя в комнате пылал камин, мне было холодно.

- Вы сами видите, - продолжал он, - что по-настоящему она его никогда не любила. Она была слишком разумна. Я увез ее в Гонконг. Перемена климата, говорили они. Ох, эти доктора! Боже мой! Зимнее время! Десять дней дождь, ветер, холодные туманы... Пневмония. Послушайте! Мы много разговаривали. Днем и по вечерам. Кто у нее еще оставался? Она, моя девочка, говорила со мной. Иногда она смеялась немножко. Смотрит на меня и смеется...

Я содрогнулся. Он поднял глаза, посмотрел на меня грустно, с детским недоумением.

- Скажет, бывало: "Право, я не хотела быть дурной дочерью, папа". А я отвечаю: "Конечно, дорогая моя. Ты не могла этого хотеть". Она полегит спокойно, а потом скажет: "Я удивляюсь..." А иногда говорит мне: "Я была настоящей трусихой". Знаете, больной человек... мало ли что придет в голову. А то еще скажет: "Я была тщеславной, упрямой, капризной. Я думала только о собственном удовольствии. Я была эгоисткой или трусихой..." Но больной человек... мало ли что он говорит. А один раз почти весь день лежала молча, а потом сказала: "Да; может быть, когда настал бы тот день, я бы не ушла. Может быть! Не знаю! - крикнула она. -

Спусти занавеску, папа. Спрячь от меня море. Оно укоряет меня за мое безумие".

Он тяжело перевел дух.

- Вы сами видите, - шепотом продолжал он. - Она была очень больна, очень больна. Пневмония. Так внезапно...

Он указал пальцем на ковер, а меня охватила мучительная жалость при мысли о бедной девушке, побежденной в борьбе с нелепостями трех мужчин и под конец усомнившейся в самой себе.

- Сами видите, - уныло начал он снова. - Она не могла по-настоящему... О вас она несколько раз говорила. Добрый друг. Разумный человек. Вот мне и хотелось самому вам рассказать, чтобы вы знали всю правду. Такой человек! Как это могло случиться? Она была одинока. И, может быть, одно время... Так, немножко. Тут никогда и мысли о любви быть не могло у моей Фрейи... такая разумная девушка...

- Слушайте - крикнул я, гневно на него наступая. - Да разве вы не понимаете, что она от этого умерла?

Он тоже встал.

- Нет! Нет! - забормотал он, словно рассерженный. - Доктора! Пневмония. Истощение организма. Воспаление... Они мне сказали: пнев...

И не договорил. Слово перешло в рыдание. Он в отчаянии всплеснул руками, с тихим, надрывающим душу стоном отрекаясь от своего жуткого заблуждения:

- А я-то считал ее такой разумной!..

notes

Примечания

1

Удачного путешествия (фр.).

Идущие насмерть приветствуют тебя (лат.).

3

Спокойствие, спокойствие (фр.).

4

По Фаренгейту.

«Прудом» — шутливо моряки, главным образом американские, называют Атлантический океан.

«Фронт» — прилегающая к гавани часть города.